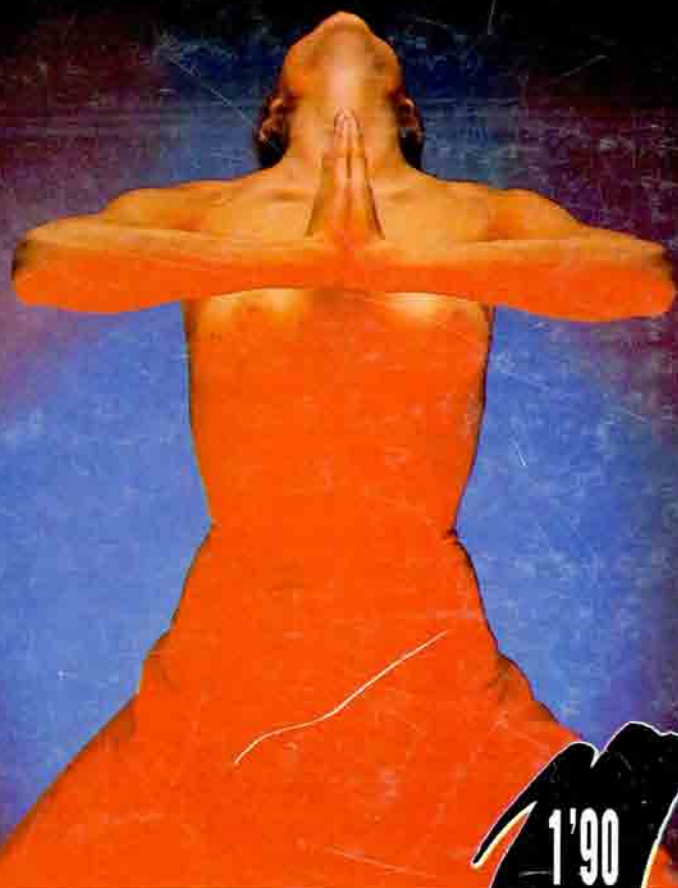


ISSN 0131-6856

# СМОНА

ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ — АБСУРД ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?



ПОЗДРАВЛЕНИЕ БОРИСА БЕККЕРА

БУАЛО-НАРСЕЖАК. ПОСЛЕДНИЙ ТРЮК КАС

1'90

КАДЕРА



**Эскиз углем**  
(ЧИТАЙТЕ СТР. 10)

# 190 СМОЛНА

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ**  
Основан в январе 1924 года.

**Главный редактор**  
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

**Редколлегия:**

БОРИС ДАНЮШЕВСКИЙ  
(заместитель главного редактора)  
АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ  
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ  
ИОСИФ ОРДЖОНИКИДЗЕ  
СЕРГЕЙ ПОПОВ  
(заместитель главного редактора)  
ЮРИЙ РАГОЗИН  
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
ЕВГЕНИЙ РЯБЧИКОВ  
ВАДИМ САЮШЕВ  
ВИТАЛИЙ СЕВАСТЬЯНОВ  
ВЛАДИСЛАВ СЕРИКОВ  
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ  
(главный художник)  
ТАМАРА ЧИЧИНА

**Оформление**

АЛЕКСАНДРА КЛИЩЕНКО  
АРШАКА ОГАНЕСЯНА  
**Технический редактор**  
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 25.12.89.  
Подписано к печати 09.01.90.  
А 00205. Формат 84 × 108½.  
Бумага офсетная.  
Усл. п. л. 13,86. Усл. кр.-отт. 15,96.  
Уч. изд. л. 23,10.  
Тираж 3 300 000 экз.  
Заказ № 1678.  
Цена 70 коп.  
101457, ГСП, Москва,  
Бумажный проезд, 14.  
212-15-07 — для справок  
212-11-27 — отдел писем  
Ордена Ленина и ордена Ок-  
тябрьской Революции типогра-  
фия имени В. И. Ленина изда-  
тельства ЦК КПСС «Правда».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ули-  
ца «Правды», 24.  
Рукописи не возвращаются. Ру-  
кописи объемом более 1 автор-  
ского листа (24 машинописные  
страницы) редакцией не рассма-  
триваются.

**1 (1503) ЯНВАРЬ**



# В НОМЕРЕ:

4-9

К ЧИТАТЕЛЯМ «СМЕНЫ»

## ПРОЗА

184

**БУАЛО-НАРСЕЖАК.** ПОСЛЕДНИЙ ТРЮК КАСКАДЕРА  
 Роман

65

**ТАТЬЯНА ГЛАДКИХ.** ЦВЕТЫ РОССИИ  
 Рассказ

86

**МАКС РЕЙНОЛДС.** ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УТОПИИ.  
 Фантастический рассказ

## ПОЭЗИЯ

48-51, 180

**ТАТЬЯНА ЛИТВИНОВА, СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ, ПАВЕЛ  
 БАУЛИН, БОРИС ВИКТОРОВ, ВЛАДИМИР ГРЕВЦЕВ,  
 ВАЛЕРИЙ КРАСКО, ВЯЧЕСЛАВ САРКИСЯН**

## ПУБЛИЦИСТИКА

31

**ЕЛЕНА БОННЭР.** ОПРОВЕРЖЕНИЕ.  
 Глава из книги «Постскриптум»

130

**МИЛОВАН ДЖИЛАС.** «РАЗГОВОРЫ СО СТАЛИНЫМ».  
 Отрывки из книги

172

**ВИКТОР АНТОНОВ.** ПО-ЛЮДСКИ...

10

**СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ, ЕВГЕНИЙ СТЕЦКО.** ЭСКИЗ УГЛЕМ

## ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

113

**«НЕ БОЮСЬ ОТСТАВКИ...»**

БЕСЕДА С СЕКРЕТАРЕМ ЦК ВЛКСМ ВЛАДИМИРОМ ЗЮКИНЫМ

20

**НУЖНЫ ЛИ УЗЫ ГИМЕНЕЯ?**

 БЕСЕДА С ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ  
 ЮРИЕМ АНТРОПОВЫМ

## НАУКА

73

**ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ.** ЗНАКИ БЕДЫ

## КУЛЬТУРА, МУЗЫКА, ИСКУССТВО

52

**АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ.** ЭПИЛОГ ИЛИ ПРОЛОГ?

На первой  
 странице  
 обложки:  
 Владимир  
 ПЧЕЛКИН.  
 Стремление  
 к тайне.  
 (Из работ,  
 экспонировавшихся  
 на Всесоюзной  
 фотовыставке).





161

**ВЛАДИМИР ТУРБИН.** ФЕТ

Силуэты

101

**НИКОЛАЙ ПАРЛАШКЕВИЧ.** РЕНЕССАНС В ГОД ЮБИЛЕЯ

127

**СЕРГЕЙ РОМЕЙКОВ.** СИНИМ ПО БЕЛОМУ

286

**АЛЕКСАНДР СИДОРОВ.** «ЗВЕЗДЫ»

288

**АНАТОМИЯ УЖАСА.** НОВОЕ ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЕ «СМЕНЫ»

78

**НЕТЕЛЕВИЗИОННОЕ ЗНАКОМСТВО.** БЕСЕДА С УРМАСОМ  
ОТТОМ

**СПОРТ**

156

**ИГОРЬ КОНОНОВ.** МЕТАМОРФОЗЫ БОРИСА БЕККЕРА

29, 85, 122

**ВАШИ ПИСЬМА**

282–285

**ШАХМАТЫ КРОССВОРДЫ**

2•90

3

- Повесть Дэвида Зельцера «The O'men» («Знамение»), опубликованная на Западе почти три десятилетия назад, имела более чем шумный успех.
- По ее мотивам был немедленно снят целый сериал художественных кинолент и видеофильмов, давших возможность познакомиться с героями, событиями и философией литературного первоисточника.
- За острым и динамичным детективным сюжетом и мастерски выписанными сценами кошмаров четко проглядывается основная мысль произведения: необходимость борьбы со злом во всех его проявлениях, дабы зло не захлестнуло мир.
- Надеемся, что повесть, написанная в жанре фантастической мистики с религиозной подоплекой, увлечет с первой же главы и понравится нашим читателям.
- В нашей стране «Знамение» публикуется впервые.

**АНОНС:**

Дорогие читатели!

Все-таки справедливо говорится, что Новый год несет с собой не только радостные праздничные хлопоты и ожидания, но и разные непредсказуемые неожиданности, а то и сюрпризы. Надеемся, именно таким сюрпризом воспримете Вы вот этот первый номер «Смены»-90. Согласитесь, неожиданно и непривычно держать в руках томик «Смены», отличающийся и форматом, и объемом от того, пусть и «тонкого», но зато красочного, богато иллюстрированного журнала, каким Вы и мы привыкли видеть его многие годы. К неожиданностям надо, конечно же, отнести и то обстоятельство, что теперь Вы будете получать журнал не два раза в месяц, а один. «Смена» стала ежемесячником.

А теперь расскажем Вам подробнее о драматизме складывавшихся вокруг журнала событий, происходивших в ноябре — декабре прошлого года, когда подписная кампания уже была завершена и стало известно, что тираж «Смены» вновь — как и в предыдущие годы — значительно увеличился: у нас прибавилось более 850 тысяч новых читателей.

Итак, узел событий, который мы до последних сил пытались развязать, «завязывался» следующим образом.

Повторяем, уже после завершения подписной кампании дирекция издательства «Правда», ссылаясь на возросший тираж, сообщила, что не сможет издавать «Смену» в том, прежнем виде, к какому мы с Вами привыкли: типограф-

Спешу поделиться с вами, дорогие работники журнала «Смена», своим возмущением по поводу решения издательства ЦК КПСС «Правда».

Своим диктатом в отношении формата и периодичности издания одного из популярнейших молодежных журналов — «Смены» издательство подтверждает мысль о наплевательском отношении чиновников к народу и убеждает нас

в действительно торможении перестроечного движения.

**КОНСТАНТИН ДЕНИСОВ,**  
26 лет,  
Ленинград

Ну что вам сказать? Конечно, новость о «перестройке» журнала не из приятных. На мой взгляд, можно было бы сократить печатание всякой многочисленной ахинеи (уже извините) и бумагу отдать «Смене», но... За вас же, дорогая «Смена»,

ская машина не обладает достаточными мощностями; как всегда, не хватает бумаги, краски и тому подобное. Короче говоря, именно вот эта «производственная необходимость», как коротко окрестила создавшуюся ситуацию дирекция издательства, и продиктовала совершенный новый облик, объем и периодичность журнала начиная с 1990 года. Технологические интересы, как видим, оказались превыше и читательских привязанностей, и творчества журналистов.

Мы, естественно, не сидели сложа руки, покорно смирившись с диктатом издательства. Обратились в самые высокие инстанции — в Идеологический отдел и Управление делами ЦК КПСС, привлекли на свою сторону коллег-журналистов «Комсомольской правды» и Центрального телевидения и, наконец, отправили в адрес ЦК ВЛКСМ, органом которого являемся, телеграмму следующего содержания:

«20 ноября издательство ЦК КПСС «Правда» проинформировало редакцию о переводе с января 1990 года журнала «Смена» на малый формат и изменении периодичности издания (раз в месяц). Речь идет о фактической ликвидации единственного молодежного иллюстрированного журнала, выпускаемого с 1924 года, и создании на его базе идентичного другим изданиям ежемесячника.

По моему мнению, решение о перепрофилировании журнала повлечет недовольство читателей, которые не были предварительно проинформированы о возможных изменениях, вызовет

я спокоен! Если вы не измените себе, то даже при менее красочном исполнении ваши читатели останутся с вами! Не вешайте нос! Лично я буду вас выписывать, даже если вы станете «черно-белыми» и подорожаете при этом в два-три раза!

**В. О. ВАСИЛЬЕВ,**  
Воркута

С большим огорчением узнали о проблемах выпуска «Смены».

Наша семья постоянно выписывает журнал с 1976 года. Читает каждый номер от корки до корки. Нам кажется, популярность «Смены» возросла не только за счет напряженной работы журналистов, которые честно пишут обо всех наших горестях и радостях, но и за счет красочного оформления. Здесь «Смена» вне конкуренции.

**Семья ГРИШИНЫХ,**  
г. Красногоровка Донецкой обл.



массовый отказ от подписки, усилит критическое отношение к редакции и ЦК ВЛКСМ, может привести к непрогнозируемым последствиям.

Это решение может быть расценено как удар по гласности, по престижу ЦК ВЛКСМ.

Понимая всю сложность ситуации, редакционный коллектив просит помощи ЦК ВЛКСМ и защиты интересов молодых читателей».

ЦК ВЛКСМ отреагировал на нашу телеграмму незамедлительно: в «Комсомолке» за 6 декабря было опубликовано постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ, в котором говорится, что «ЦК ВЛКСМ считает предложения издательства ЦК КПСС «Правда» по изменению формата и периодичности выхода журнала «Смена» неприемлемыми, так как о них своевременно не проинформированы подписчики и ЦК ВЛКСМ».

Казалось бы, позиции сторон ясны, да и самому издательству должно быть понятно, что в данном случае интересы многомиллионных читателей превыше всего. И все же «производственная необходимость» взяла верх.

Надо с удовлетворением сказать, что пока шла эта борьба — неравная и, как оказалось, бесперспективная, — мы все время ощущали Вашу поддержку — нам присылали многочисленные письма, телеграммы сочувствия, очень много было телефонных звонков от наших верных подписчиков, многолетних друзей журнала. Справедливости ради признаем, что получили много и сердитых, даже гневных писем — конечно, не в свой адрес, а по поводу ведом-

Считаю, что по остроте ставящихся проблем, талантности авторов, яркости оформления «Смена» — один из лучших журналов в СССР. Его смело можно поставить в один ряд с «Огоньком». Он не менее интересен, боевит и оригинален. В то же время по многим вопросам он занимает более реалистическую позицию.

**А. ИВАНОВ,**  
Москва

Какое варварство по отношению к журналу и подлость по отношению к миллионам читателей, да и к самой редакции «Смены»! Только у нас в Союзе в связи с увеличением тиража могут «хвататься за голову» и принимать экстренные меры. На Западе такому повороту событий только бы радовались.

ЦК ВЛКСМ! Ты где? Откликнись и спаси наш и твой журнал! Скажи свое веское слово!

ственного решения издательства «Правда», — в которых содержится угроза сдать подписку на «Смену» и получить обратно свои деньги. Конечно, мы разделяем Ваш праведный гнев и справедливое возмущение (кто же в наше время будет платить свои «кровные» за kota в мешке!) и все же обращаемся к Вам, дорогие читатели: не спешите идти на почту сдавать квитанцию о подписке на журнал — деньги, как заверило нас руководство Министерства связи СССР, Вам вернут обязательно, — прочтите вначале этот номер.

Вы держите в руках «Смену» нового образца. Как видите, ничего похожего на старую «Смену» — изменен внешний вид, совершенно непривычный объем, оформление, конечно, не столь богатое, как раньше, зато значительно прибавилось текста.

Но самое главное — и мы надеемся, что Вы, уважаемые читатели, обратите внимание на это сами, — «Смена» остается верна своим лучшим традициям и опыту, накопленному десятилетиями, не меняя курса, по которому шла, по-прежнему готова смело вмешиваться в самые злободневные сферы нашей общественно-социальной жизни. Мы намерены шире и ярче показывать новаторский опыт перестройки в стране, анализировать, как утверждается, активизируется общественное сознание, нравственный потенциал молодого поколения.

Ну, а в том, что мы, как и прежде, стараемся делать свое журналистское дело честно и с пол-

*Ведь не зря же мы платим тебе ежемесячно взносы по полтора процента. Был у нас один-единственный популярный молодежный журнал, да и тот накрылся.*

**Ю. Б. СЕРЕБРЯНИКОВА, 21 год,**  
**Т. А. МИШИНА, 22 года,**  
**Т. Ю. ЗАХАРОВА, 22 года,**  
Москва

*Мы, старые и новые читатели журнала «Смена», категорически не согласны с предсто-*

*ящим видоизменением любимого журнала. Считаем, что несвоевременное информирование подписчиков о невыходе в 1990 году «Смены» в прежнем виде — возмутительная несправедливость и полное игнорирование читательских интересов.*

**Коллектив читателей «Смены»,**  
**Калининград Московской обл. —**  
**12 подписей**

*Прочитав в «Комсомольской правде» о планах издательства*

ной отдачей, Вы можете убедиться уже по первому номеру новой «Смены». Например, Вы впервые наглядно увидите, насколько больна наша страна — на специальной карте показано около 300 ареалов острых экологических ситуаций площадью почти четыре (!) миллиона квадратных километров. С безусловным интересом Вы прочтаете страницы из не опубликованной у нас в стране книги Елены Боннэр «Пост-скрипtum», в которой она приоткрывает завесу над одним из печальных периодов горьковской ссылки академика А. Д. Сахарова.

Познакомитесь Вы и с отрывками из книги «Разговоры со Сталиным», написанной Милованом Джиласом, человеком, который был долгое время в ближайшем окружении Иосифа Броз Тито. Книга эта многократно издавалась во всем мире, но пока не известна советскому читателю. Наши журналисты проникли в душевный мир людей, образ жизни, работа и взгляды которых интересны сегодня многим читателям, — это автор сенсационных «Телевизионных знакомств» журналист Урмас Отт и лучший теннисист мира 1989 года Борис Беккер.

Несомненно, что те, кто привык к нашим традиционным рубрикам «Силуэты» и «Живопись XX века», вновь испытают волнение от встреч с высоким искусством поэзии Афанасия Фета и представителей русского Ренессанса — художников «Мира искусства».

Но самую большую радость от новой «Смены» испытают, конечно же, любители детективного

«Правда» по отношению к «Смене», почувствовали себя беспардонно обманутыми. Требуем вернуть нам стоимость подписки за 1990 год. В случае отказа намерены взыскать ее через суд.

**Сотрудники Горьковского  
отделения ВНИИР, г. Горький**

Я подписываюсь на «Смену» с 1980 года, подписалась и на 1990 год. Не только из-за содержания, но и из-за отличного, красочного оформления. А те-

перь мне объявляют, что журнал собираются лишить части привлекательности из-за вечных, надоевших проблем с бумагой и производственными мощностями.

Товарищи, меня это не касается. Я хочу, я имею право за свои деньги получить то, за что я их уплатила. Получается, что, заказав модельные туфли, я получу войлочные тапочки...

Извините, пожалуйста, за



жанра, и прежде всего те, кто собирает конволюты, — теперь мы будем стараться печатать в каждом номере детективный роман целиком. Новинка этого года — роман «Последний трюк каскадера» виртуозных мастеров психологического детектива Пьера Буало и Томаса Нарсежака. Почти камерное повествование, облеченное в оригинальную форму монолога главного героя, помогает раскрыть не столько тайну преступления, сколько природу социального явления, породившего его, поднимая тем самым детективный жанр до уровня психологического романа.

Но и это не все. Ведь «Смена» всегда давала постоянную «пищу» и любителям фантастики. Наша приверженность этому жанру остается прежней: прочитайте фантастический рассказ М. Рейнолдса «Преступление в Утопии» — и вы сами убедитесь в этом. В сатирическо-гротескной форме в нем показывается преступление, спровоцированное жестоким духом общества, где при внешнем благополучии и всеобщей кибернетизации, превращающей человека в бездумного потребителя, герой обречен на постоянную борьбу с вторжением сил, грозящих разрушить эту хрупкую видимость благополучия.

Здесь поставим точку. Что толку в столь беглом перечислении материалов номера?.. Их надо просто читать. Читать и делать выводы. Как знать, может быть, Вы, уважаемый читатель, уже сегодня будете с нетерпением ждать второй номер «Смены».

*сердитое письмо. Все это, конечно, не в адрес редакции. Просто очень обидно сознавать, что нас очередной раз надули.*

**И. ЧЕЛЫШЕВА,**  
Уфа

Узнали, что издательство «Правда» решило сделать наш любимый журнал серым. В стране нашей есть много благодетелей, стремящихся сделать нашу жизнь серой. Во мно-

гом они преуспели. Стремление к правде, красоте, независимости вызывает злобу у таких людей.

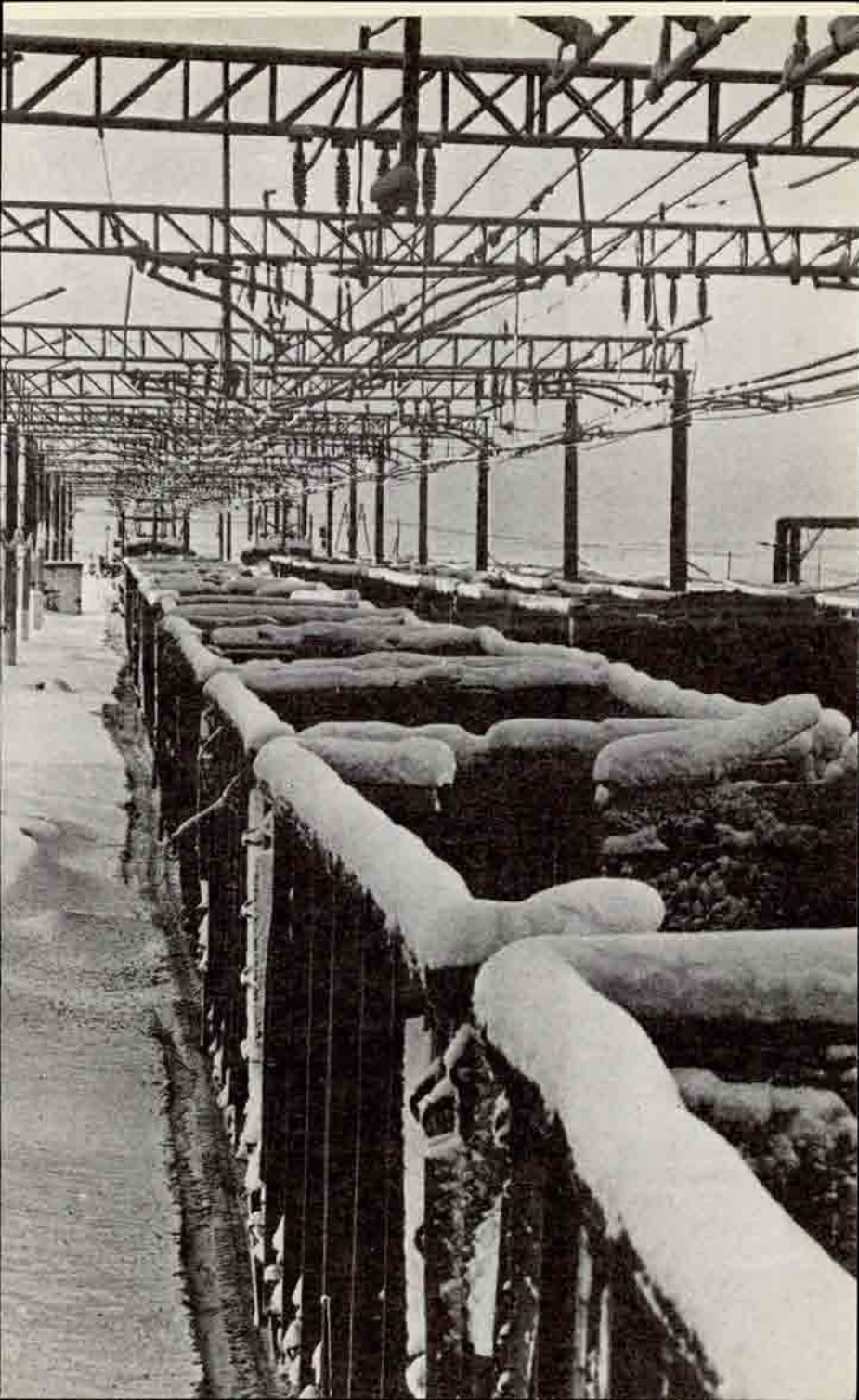
От всей души выражаем вашему журналу, вашей редколлегии нашу любовь, признательность и поддержку. Читать «Смену» будем и на серой бумаге. Но надеемся, что продлится этот период недолго.

**ЯРОСЛАВ МАГУН,**  
Москва

**СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ**Фото **ЕВГЕНИЯ СТЕЦКО**Специальные  
корреспонденты  
«Смены»

Воркута, ноябрь.  
Полярная ночь.  
Белый снег.  
Черно-белая графика.  
Бастуют шахтеры.  
Кто-то безоговорочно  
их поддерживает.  
Кто-то без обиняков  
против.  
Полутонов и тут нет...  
За несколько  
командировочных дней  
невозможно отобразить  
картину  
со всеми ее оттенками.  
Не претендую на это.  
Ограничусь эскизом...

**МАСТЕР  
СЕРГЕЙ  
ЛИТВИНОВ  
О  
СЛУЖБЕ  
КОРРЕСПОНДЕНТА  
В  
ПОЛЯРНОМ  
РЕГИОНЕ**





ДОЛОЙ СТ. 6 В КОНСТ

87654

НАШИ ЗАБАСТОВКИ



ТУЦЦ СССР!

И-СПРАВЕДЛИВЫ!









### 13 ноября 1989 года. Из 13 воркутинских шахт работает одна.

...Отшумела, отмитинговала июльская забастовка шахтеров. В Воркуте установилось двоевластие. Первая — традиционная: горком, горисполком. Вторая — городской рабочий (стачечный) комитет и стачкомы шахт. Около 180 требований только к своей администрации выдвинули в июле шахтеры «Воргашорской». Стачком помогал их выполнять. И к ноябрю претензий к администрации не осталось: более 120 удовлетворены, остальные были, как говорится, в стадии выполнения. Например, шахта стала платить горнякам за проезд от дома на работу. Предприятие начало выкупать квартиры, передавать их рабочим. Отменили постоянно действующую комиссию, которая в любом несчастном случае обвиняла, как правило, пострадавшего шахтера.

Закрыли великолепную, красным деревом отделанную баню, где отдыхали директор и особо высокие гости...

Многие из тех, кто показал себя вожаком рабочих во время июльской забастовки, вошли в традиционные структуры власти — профкомы, советы трудовых коллективов, парткомы. Ну, а некоторые отказывались: одно дело — вести за собой в стихийной митинговой обстановке, другое — согласиться

на тяжкую повседневную работу. Но СТК, профсоюзы, парткомы обновились на всех шахтах.

А городской стачком? Он пришел помогать воркутинцам. Именно сюда пошли с жалобами люди. И они немедленно, без волокиты получали помощь. А едва ли не каждый номер газеты «Заплярье» приносил очередную «бомбу», заложенную стачкомом. Вот рабочие обнаруживают на складе 1000 флаконов шампуня, 100 коробок французской пудры, около 700 пачек крема... На складе говорят: «А дефицит не берут в магазинах»... Продавцы, в свою очередь,жимают плечами: «А нам его не дают». На самом же деле товары эти на прилавки попросту не попадают... Кому проданы импортные гарнитуры? Согласно ходатайству председателя горисполкома, ветеранам и передовикам. Но в их число почему-то не попали рабочие. Зато среди «передовиков» оказались начальник орс, директора двух шахт и механического завода, начальник управления материально-технического снабжения объединения «Воркутауголь», директор фабрики индпошива, товаровед, зампред горисполкома...

Потом обнаруживают, что среди «остронуждающихся» и получивших прекрасные квартиры — заместитель заведующего орготделом, заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и заведующий отделом культуры горисполкома. Газета «Красное знамя» писала, что первый секретарь горкома партии Валерий Павлович Сердюков, имея квартиру в 43 квадратных метра, переехал в жилище на двадцать «квадратов» больше...

**14 ноября.** Городской стачечный комитет находится в доме неподалеку от площади, некогда но-

сившей имя Сталина. В пространстве — рядом. А во времени? После войны, в начале пятидесятых, здесь расстреляли забастовавших заключенных — шахтеров. Через сорок лет бастующие шахтеры — самая что ни на есть городская власть.

Но не все так однозначно. Читаю телеграммы, приходящие в стачком:

«Разведке с оторванной ногой выполнил задание ради Родины, вас, ваших детей. Вы вырываете у меня изо рта кусок хлеба, у малооплачиваемых моих детей, подрываете Родину. Мерзавцы, подавите куском хлеба моих детей. Инвалид войны Круглов».

«От всей души поддерживаю существо ваших требований. За этими требованиями — демократическое будущее нашего народа. Правда, правота — за вами! Создавайте, опирайтесь на свои профсоюзы. Вы уже победили одним фактом своего выступления. Искренне с вами. Народный депутат СССР Власов Юрий Петрович».

«...Остановка коксохима парализует комбинат не на неделю-две, а на месяцы. Вы, может, и начнете работать, но наша технология не восстановится. Если учесть, что 300-тысячный город обогревается теплом комбината, то люди не простят вам экспериментов... Одумайтесь, образуйте ваших лидеров и их окружение. Гоните слетевшихся к вам провокаторов! = От имени коллектива генеральный директор Липухин, секретарь парткома Сафронов, председатель СТК Бобров, г. Череповец».

Стачком принимает решение: разрешить шахте «Комсомольская» отгрузить 14 тысяч тонн угля в Череповец на отопление города...

Почему снова забастовали воркутинские шахтеры? Директор

шахты «Юр-Шор» Виталий Лях говорил мне:

— Представь: июль, бастуют Кузбасс, Донбасс, Воркута... Надо срочно тушить пожар. Правительство принимает постановление, которое в отведенные сроки заведомо невыполнимо. Это «программа построения коммунизма в отдельно взятой отрасли»... И еще: уверен, если бы в октябре перед горняками выступил Предсовмина и прямо сказал, что выполнение некоторых требований придется отложить на более поздний срок, призвал бы к спокойствию — второй забастовки удалось бы избежать...

О методах диалога с правительством свидетельствуют две истории. По постановлению воркутинцам были выделены дополнительные фонды меховых изделий. Руководители горисполкома специально ездили в связи с этим в Совет Министров РСФСР и республиканский Минторг. Обращались в эти инстанции письменно и по телетайпу... На четвертое по счету обращение горисполкома из Москвы наконец-то откликнулись: «Минторг РСФСР выделил дополнительно в четвертом квартале ... меховых изделий на 150 тыс. рублей». (Или 300 шуб — на 200-тысячную-то Воркуту! Гора родила мышь!) Первый зампред горисполкома В. Кокшаров огорчительно комментирует: «Эта телеграмма поступила в горисполком 25 октября, а поручение Совмина РСФСР, как видно из текста, было подписано еще 4 октября. Очень жаль, что для сообщения о принятых мерах понадобилось 20 дней!».

Вторая история похожа. По постановлению одной из шахт должны были выделить три пассажирских вагона (для перевозки людей на работу). Срок истек, вагоны не поступили. Выждав двенадцать



дней, горняки пригрозили всеобщей забастовкой. Вагоны тут же нашлись...

В октябре стало понятно: ряд других пунктов правительственного постановления № 608 не выполняются в полном объеме. Шахтеры шлют телеграмму за телеграммой в Москву. Глухое молчание. В столицу едет представитель забастовочного комитета — того гонят из кабинетов... Уже 4 октября на конференции городского и шахтных рабочих комитетов решали: бастовать или не бастовать. Горняки сохраняли спокойствие еще почти месяц...

Ей-богу, создается впечатление, что кое-кто из управленцев если и впрямую не заинтересован в дестабилизации обстановки в стране, то косвенно своим бездействием, «апофизмом» успешно ей содействует. Не случайно городской стачком направил товарищу Рыжкову телеграмму: «Просим Вас сообщить Вашим заместителям товарищам Воронину и Рябеву, что Воркутинский городской рабочий (стаечный) комитет принимает их в свои почетные члены, так как их вклад в возникновение забастовок в ноябре 1989 года просто неоценим».

**15 ноября.** Мы с фотокором едем на «Воргашорскую». Шахтеры без работы уже двадцать дней. Появились новые экономические требования... и политические. Одни можно обсуждать серьезно: избрание Председателя Верховного Совета СССР прямым тайным голосованием, исключение из Конституции статьи о руководящей роли партии. Другие, извините, просто не к месту: например — давать на сессиях Верховного Совета и Съезде слово **всем** депутатам, кто ни пожелает...

Есть и еще причины, почему шахтеры пошли на ноябрьскую забастовку: бастовать, известно, лег-

че, чем работать. После июльской стачки дисциплина среди горняков расшаталась. Об этом с тревогой говорили мне директора шахт. Думал, что со мной не согласятся рабочие, но председатель стачкома шахты «Юр-Шор» Николай Юшков сказал: «Конечно, ты прав!» — и другие рабочие его поддержали...

Еще одно объяснение: рабочие так долго были «винтиками», на худой конец «фактором», что теперь опьянены причастностью к политической жизни. Шутка ли! Академик Сахаров нанимал адвоката для защиты забастовки в Верховном суде РСФСР! Американский профсоюз АФТ-КПП выразил солидарность с бастующими! Каждый день брала интервью у городского стачкома радиостанция «Свобода»!.. Есть от чего голове закружиться...

Вообще слово «забастовка» стало произноситься с легкостью необыкновенной. Я как-то обмолвился в городском стачечном комитете, что репортаж, написанный в ноябре, никак не может увидеть свет в «Смене» раньше января — не позволяет технологический процесс. «Что же вы не бастуете?» — удивились здесь.

...Ни одного дня не бастовала шахта «Заполярная», хотя работающие здесь горняки и поддерживали все требования бастующих. «Почему?» — спрашиваю у председателя СТК шахты, члена стачечного комитета Анатолия Корнейко.

— Мы сами выбрали директора. Как мы можем его подвести?

Доверие к руководителям — вот что могло удержать шахтеров. Но... Десять шахт из тринадцати высказали недоверие генеральному директору объединения «Воркутауголь» Анатолию Владимировичу Орешкину. Он тем не менее упорно исполнял должность. Хотелось спросить у самого Орешки-

на: почему? Но генеральный от встречи уклонился...

А вот что написала городская газета об одном из митингов: «Когда первый секретарь горкома В. Сердюков вышел на сцену и взял микрофон, его не захотели слушать, люди поворачивались и уходили из зала...»

**16 ноября.** Верховный суд Коми АССР рассматривает иски объединения «Воркутауголь» и администрации восьми шахт к стачечным комитетам предприятий о признании забастовок незаконными. Председательствующий спрашивал: «Тайное голосование о забастовке проводилось? Нет. Администрация предупреждалась заранее? Нет. Примирительная комиссия создавалась? Нет...» Доводы защиты: рабочие выдвигали требования не к администрации, а к правительству; забастовка не началась, а возобновилась — в расчет не принимались. Иски удовлетворены.

...Беседу с Владимиром Гавриловичем Гобрусевым (он после июльской забастовки был председателем городского стачечного комитета, а в октябре избран секретарем территориального комитета профсоюза).

— Рабочее движение хорошо чем? Оно выдвигает новых людей в существующие структуры власти и заставляет эти старые структуры реально работать на народ...

Гобрусев — как раз один из тех, кого рабочее движение подняло и включило в старую систему власти. Говорил я с ним в больнице — сдало сердце, сказалося напряжение лета...

**17 ноября.** Идет совещание шахтеров у Николая Ивановича Рыжкова. Его результатов с напряженным вниманием ждут на шахтах...

**P. S.**

**Ситуация в Воркуте меняется стремительно.**

**Пока писал этот репортаж, шахты —**

**одна за другой —**

**начинали работу.**

**Это сегодня.**

**А завтра?**

**Вполне вероятно,**

**что в январе, когда**

**материал будет**

**опубликован,**

**все закрытые шахты**

**войдут в рабочий ритм.**

**Но забудутся ли**

**жаркий июль**

**и холодный ноябрь**

**прошлого года?**

**Эскиз углем — резкий,**

**без полутонов —**

**стал частью**

**общей картины**

**жизни страны.**

**Его не стереть,**

**не затушевать.**

**Какой будет картина**

**грядущего дня,**

**какие краски,**

**оттенки возобладают,**

**зависит**

**в одинаковой мере**

**от правительства**

**и от всех нас.**

**От того, научимся ли**

**слышать**

**и понимать друг друга...**

- ☞ ПО КОЛИЧЕСТВУ РАЗВОДОВ  
СССР НА ВТОРОМ МЕСТЕ  
В МИРЕ ПОСЛЕ США.
- ☞ ОСНОВНАЯ ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА —  
СЕМЬЯ — ПОД УГРОЗОЙ.
- ☞ КАК СПАСТИ ЕЕ?

# НУЖНЫ ЛИ УЗЫ ГИМЕНЕЯ?

О кризисе брака  
и перспективах семьи  
беседуют  
доктор медицинских наук,  
профессор

**ЮРИЙ АНТРОПОВ**  
и специальный  
корреспондент «Смены»  
**ЮРИЙ РОСЛЫЙ.**

— Юрий Андреевич, насколько я знаю, наша страна, будучи лидером по числу расторгаемых браков, в общем-то недалеко оторвалась от «конкурентов».

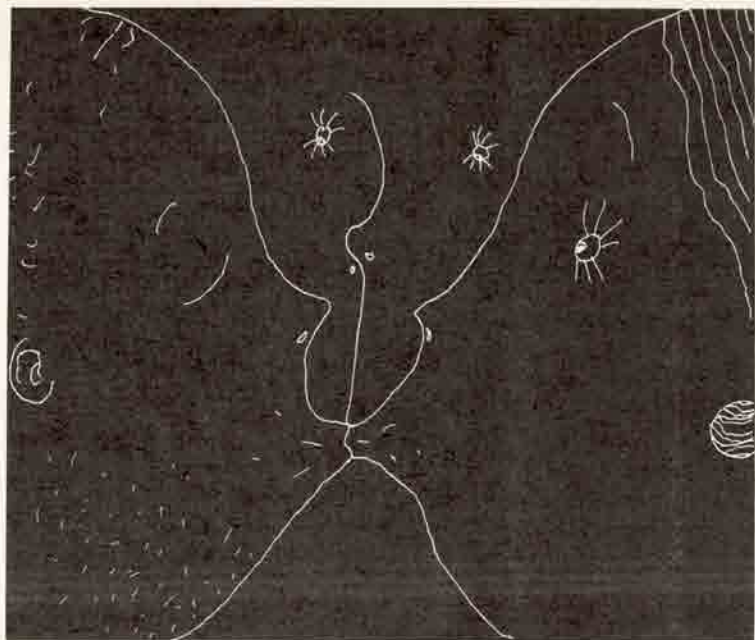
— Да, нынешнее положение таково, что дестабилизация семьи характерна для большинства экономически развитых государств. Причем больше всего разводов бывает в первый год супружества — примерно треть, в первые пять лет — две трети всех разводов.

— Выходит, распад семьи — в основном проблема молодых?

— В молодости мир воспринимается проще. Легко строить, легко ломать... Однако в повторный брак вступает лишь пятнадцать процентов мужчин. А ведь ежегодно в стране происходит около миллиона разводов.

— Может, мы изначально не там ищем корни? И разумнее ставить вопрос не «как сохранить се-





мью?», а «какой она должна быть, оставаясь жизнеспособной?»

— Этот подход к проблеме я считаю единственно правильным.

— Он означает, правда, ни больше ни меньше — покушение на святая святых — традиционное понятие семьи.

— «Платон мне друг, но истина дороже...» Вот, к примеру, американский социолог О. Тофлер, автор бестселлера « Столкновение с будущим », пророчит семье гибель. Нельзя в этой связи не отметить резкого увеличения числа одиноких людей. В США по сравнению с 1940 годом их стало в 10 раз больше. Во Франции четырнадцать процентов женщин одиноки. В СССР в 1985 году из каждой тысячи мужчин 206 никогда не состояли в браке, для женщин эта цифра — 152.

Наряду с увеличением разводов в последние десятилетия появи-

лась тенденция к снижению регистрации браков. Так, в Дании, например, двадцать пять процентов женщин в возрасте восемнадцати — двадцати пяти лет живут совместно с мужчинами без регистрации. В США таких пар около миллиона. В Швеции — двенадцать процентов. Во Франции более миллиона внебрачных союзов. Для западной женщины давно уже стало нормой: замужество не имеет такого престижа, как в XIX веке. Можно жить вместе и без штампа в паспорте.

У нас в стране тоже много юридически не зарегистрированных семей.

— Но это считается аморальным!..

— А нормально ли это? Мало того, что фактический, но неоформленный брак в СССР стоит вне морали, он лишен и прав. В гостинице или доме отдыха такую семью не поселят в одном номере,

не могут быть решены и вопросы прописки... Демократично ли поступает общество, ограничивая реальную свободу людей в их личной жизни?

*— Тем более что запреты эти действуют лишь формально. Ведь те пары, о которых идет речь, все равно найдут возможным и жить вместе без прописки одного из членов семьи, и встречаться в гостиничном номере...*

— И тут мы подходим к главному вопросу: а не вступила ли существующая форма брака в противоречие с развитием общества? Нынешнее кризисное состояние брака лишь подтверждает то, что таких противоречий накопилось много и требуются изменения. За рубежом появляются «экспериментальные» формы брака — «пробный», «корпоративный»...

*— Вы говорите о кризисе брака, накоплении противоречий. Давайте попробуем проанализировать причины этих явлений.*

— До начала двадцатого века брачный союз основывался на прочных патриархальных традициях и цементировался религией. В конце прошлого столетия в России среди православного населения разводов было чуть более полпроцента. Форма брака соответствовала экономическим отношениям в семье. Муж был кормильцем, остальные члены семьи, в том числе и жена, экономически зависели от него. Следовательно, подчинялись ему. В двадцатом веке женщины получили равные права с мужчинами, их заработная плата стала примерно одинаковой. Продолжая по старым традициям вести домашнее хозяйство, потерявшее натуральный характер, женщина, нередко помимо своей воли, становится распорядителем кредитов. Распорядитель же финансов, как правило, определяет

и «общее руководство». Так в большинстве семей фактически главой становится жена.

*— В молодой семье дополнительным рычагом власти становится секс. Ведь сексуальные потребности молодых мужчин значительно выше, чем у женщин.*

— Добавлю, что физическая близость в семейной жизни не только одна из ее важнейших основ, но и «всепримиряющий» фактор, сглаживающий большинство разногласий как в благополучных, так и в неблагополучных семьях.

*— Однако он гасит противоречия лишь на время.*

— А если «мирный» фактор перестает срабатывать в молодые годы, не говорит ли это о том, что семейный конфликт принимает угрожающий характер?

Современная женщина часто прибегает к «командно-административному» стилю общения с мужем. Тридцать три процента женщин, недовольных поведением мужа, реагируют резко негативно, в то время как сорок четыре процента мужчин стремятся избежать конфликта, а пятьдесят один из ста готов идти на компромисс. В начале семейной жизни мужа более чем в два с половиной раза чаще женщин уступают при разрешении спорных вопросов. В стабильных семьях муж уступает в двадцать одном случае из ста, а жена — только в девяти. В нестабильных семьях — соответственно четырнадцать и семь.

Экономические и ролевые изменения в семьях, видимо, и есть главные причины возникновения одного из противоречий. Суть его заключается в том, что мужчина традиционно воспринимает самого себя как главу семьи, а на деле он нередко в подчинении у жены.



В правовой литературе брак определяется так: «пожизненный юридически оформленный добровольный и свободный союз мужчины и женщины, порождающий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности и имеющий целью рождение и воспитание детей». **Юридическое оформление пожизненного союза** не лишает его добровольности, но исключает возможность освободиться от этого союза иначе, чем через развод — сложный, общественно осуждаемый, связанный с расходами и другими дискриминационными мерами акт.

— *То есть лишает его участников внутреннего ощущения свободы.*

— Кстати, это делает противоречивым само определение «юридический пожизненный и свободный». Понятие «пожизненный» ассоциируется с наказанием, но не со счастьем. Скрепляя пожизнен-

ные брачные узы, церковь предопределяла роли для мужа и жены: муж — господин, жена — его собственность, раба. И эти элементы рабства не вступали в противоречие с характером социальных отношений до первых десятилетий нашего столетия. Ныне же у многих мужчин и женщин, вступивших в брак, через какое-то время возникает ощущение «рабства». И если для женщин это чувство было привычно и терпимо прежде, то теперь оно часто толкает их на решительные действия — развод. Инициаторы бракоразводных процессов преимущественно женщины.

Юридическое оформление пожизненного брака способно вести за собой цепь психологически негативных последствий. Будучи равными в правах, муж и жена начинают считать друг друга своей собственностью. Есть большая печать загса в паспорте да еще обще-



ственное мнение, поддержка государственных институтов. И уже вроде бы нет необходимости бороться за супруга, не требуется труда, чтобы удержать его. Ведь есть же печаль!

— А то, что легко дается, обычно не ценится. Так?

— Конечно! Исчезает стимул, который до брака заставлял стремиться привлечь внимание, понравиться, быть интересным и приятным. Кстати, это происходит, несмотря на то, что еще до вступления в брак сорок один процент невест и сорок процентов женихов не исключают возможность развода. Такова уж человеческая психология.

— Вы хотите сказать, что в традиционной форме брака утеряна заинтересованность супругов в сохранении добрых отношений между собой и семьей, как таковой?

— Оно так и есть. Отсутствие необходимости «бороться за любовь супруга», стремиться удержать его приводит к тому, что через несколько месяцев, а в лучшем случае лет на семейной сцене появляется муж — небритый, нечесаный, неряшливо одетый, с потухшим взглядом и потерявший интерес к своей такой же неприбранной, в несвежем халате жене. Оба они преобразуются только в том случае, если им предстоит встреча с другими людьми — работа, театр, гости. Естественно, что на этом фоне особенно легко возникают и накапливаются неудовлетворенность брачными отношениями, ощущение «рабства». Конечно, чем выше общая культура супругов, тем в меньшей степени проявляются в их брачном союзе элементы «рабских» отношений. И все же они **ничем** не могут быть полностью нивелированы.

Конечно, и при современной форме брачного союза существуют

прочные и счастливые семьи. Однако присмотритесь внимательней вокруг — так ли уж много сейчас по-настоящему счастливых семей?

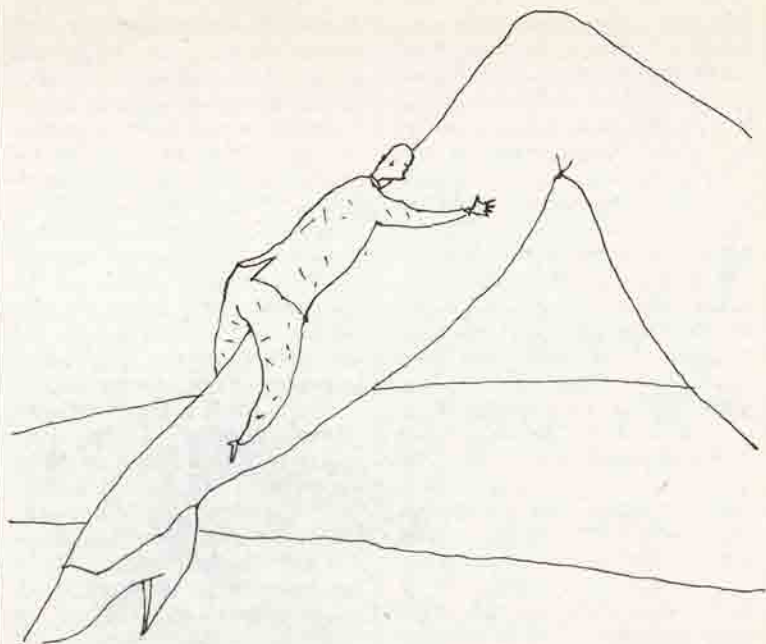
— Боюсь, что очень мало. Многие просто делают вид, что счастливы, — на людях. А многие даже и вида не делают...

— На одиннадцатом всемирном социологическом конгрессе прозвучал вывод о том, что «...в обозримом будущем семья будет развиваться в своей нынешней форме». Следовательно, допускается возможность каких-то изменений. Кстати, это согласуется с высказыванием Маркса о том, что «семья должна развиваться по мере того, как развивается общество, и должна изменяться по мере того, как изменяется общество, точно так, как это было в прошлом. Она представляет собой продукт общественной системы».

— Бытует мнение, что прочность семьи можно усилить с помощью «внешнего давления». Ведь есть религия, мораль, можно усложнить бракоразводные процессы, применить «карательные санкции» со стороны общественных и государственных институтов...

— Ну, повысили мы «налог за развод», что изменилось? Если воля и желание супругов в расчет почти не принимаются, то любые «административные» меры результатов не дадут. Они исторически устарели и не соответствуют уровню общественного развития. Есть другой вариант — укрепление межличностных связей внутри семьи. Для этого нужны эффективные, гуманные и научно обоснованные меры.

Создатель теории стереотипизации У. Липпман писал: «Неудивительно, что любое посягательство на стереотип представляется покушением на основы нашего бытия». То, что я предлагаю, может показаться абсолютно неприемлемым,



даже кощунственным. Но не спешите отвергать мое предложение. Я предлагаю юридически оформлять браки на один — три года, максимум на пять лет. Если супруги захотят продолжить юридически оформленный брак, они должны за месяц до его окончания подписать соответствующее заявление в загсе. Это должно происходить торжественно и празднично, без бюрократических сложностей.

Супруги договариваются, на какой срок решено продолжить брачный союз, выбирают необходимый бланк (в котором указано: один, два, три года, пять), вписывают туда свои данные, ставят дату и подписи. Если же от обоих супругов или одного из них заявления не поступит, юридические брачные отношения прекращаются. Тогда супруги могут продолжать жить вместе в фактическом браке или создавать новую семью.

Пятилетний срок юридическо-го брака, на мой взгляд, помогает избавиться от психологически рабских элементов существующего брака и увеличивает степень свободы в межличностных отношениях супругов. Мало знать о том, что «где нет свободы, там нет и любви», надо эту свободу дать и закрепить ее в новом, более совершенном законе.

— Выходит, не будет препятствий для замены в любой момент неугодного супруга?

— Ну, а разве сейчас они есть, когда расторгается каждый второй-третий брак? Зато новая форма брака будет стабилизировать семью, поскольку представляет собой инструмент, который **приведет супругов к необходимости стремиться** нравиться друг другу, **работать** над сохранением любви и семьи.

Новая форма даст возможность



сохранить отношения молодоженов и в дальнейшем. Они будут **необходимой** моделью поведения в течение всей семейной жизни. А иначе любой из супругов может не захотеть продолжения брака.

Подчеркиваю, что речь идет о модели поведения **любящих** людей. В тех же случаях, когда брачный союз заключают мужчина и женщина, любящие главным образом себя и выдающие друг в друге лишь источник сексуального и прочих удовольствий **для себя**, новая форма брака вряд ли окажется эффективней нынешней.

— *Но не слишком ли мал срок юридического брака в пять лет?*

— Как я уже говорил, развод — проблема главным образом молодых людей. А они десять и более лет психологически оценивают почти как бесконечность. И поэтому такой срок не станет «инструментом», стабилизирующим семью.

— *Значит, над семьей дамокловым мечом будет висеть опасность распада через пять лет. А кто же решится рожать детей, создавать общее имущество?*

— Возражения на первый взгляд веские. Но в них проявляется не что иное, как стремление к патриархальным семейным отношениям с присущими им собственническими тенденциями. Почему же вы не говорите о таких нравственных гарантиях надежности брака, как любовь, уважение, порядочность, чувство долга, ответственность? Гарантией, увы, часто мнимой, все еще мы признаем существующий ныне закон, то есть государственное пожизненное принуждение — штамп в паспорте и брачное свидетельство. Принуждение, которое нередко приобретает тенденции «закабаления». Думаю, пора если не полностью отменить «семейное крепостное право», то по крайней мере учредить

в этой области социальных отношений «Юрьев день». Модель брака, которую я предлагаю, и есть нечто похожее на «Юрьев день».

Выиграют все семьи, в частности, те, что счастливы и при нынешней форме брака. Каждое пятилетие будет сопровождаться пересмотром, ревизией отношений и ярким всплеском, обновлением чувств. С каждым пятилетием стабильность семьи будет увеличиваться, ибо исчезает основа для накопления недовольства, раздражения, ощущения закабаления.

— *Ну, хорошо. С «крепостничеством» понятно, а как быть с детьми? Они в расчет не принимаются?*

— Как раз наоборот! В последнее время ежегодно около семисот тысяч детей теряют одного из родителей, ведь распадается около миллиона семей. Детям уже плохо. В Америке провели анкетный опрос четырехсот двадцати пяти разведенных матерей. Большинство из них указало, что после развода они не утратили положения в обществе, дружественных связей и что, по их мнению, развод предпочтительней и для детей, которым было бы намного хуже жить в конфликтной семье. Трудно с этим не согласиться. Когда в семье раздор, для гармоничного развития детей предпочтительней неполная семья.

— *Ваша работа психиатра подтверждает это?*

— Да. У подростков из разведенных семей меньше, нежели в конфликтных семьях, психических заболеваний, они реже совершают правонарушения, у них лучше отношения хотя бы с одним из родителей.

И, наконец, еще аргумент. Само по себе увеличение стабильности семьи идет на пользу и детям.

Нередко родители, чувства которых друг к другу не сохрани-





лись, продолжают жить вместе только ради детей. Новая форма брака отнюдь не лишит их этой возможности.

*— И тем не менее не произойдет ли снижение рождаемости?*

— Но ведь и сейчас всем известно, что примерно каждый второй брак заканчивается разводом, а детей-то рожают. И при этом почти ничего не делают для того, чтобы сохранить семью. Полагаю, что стабилизация семьи и в этом отношении окажет положительное влияние.

*— Думаю, найдется немало людей, которые упрекнут вас в том, что вы вносите в брак элементы расчетливости. Ведь контракт на определенное время не что иное, как расчет. А как же любовь?*

— Но ведь и ныне существующий брак тоже своеобразный контракт, юридически закрепляющий права и обязанности, имуществен-

ные отношения. Ведь не случайно в законодательстве буржуазных стран брак представляет собой гражданско-правовую сделку супругов. Во Франции, например, долгое время брак регистрировался у нотариуса. Что же касается любви, то исследования психологов констатируют вот что. В группе рабочих (а в группе служащих примерно такие же тенденции) наибольшее количество счастливых браков бывает в тех случаях, когда семьи создаются на рационалистической основе — «время пошло, надо подобрать супруга и создавать семью» (около 74 процентов счастливых и 26 процентов несчастливых). Браки, заключенные «по любви», лишь в 56 случаях из 100 счастливые. Интересно, что даже браки «по расчету» (положение в обществе, имущество и так далее) так же чаще, чем браки «по любви», оказываются счастливыми

(65 процентов). Любовь еще недостаточная гарантия стабильности современной формы семьи. Новая модель брака увеличит возможность сохранить любовь и сделать ее гарантией стабильности семьи.

— А как вы представляете юридическую сторону новой формы брака?

— Во-первых, она не отменяет институт разводов. Однако в случае развода в зависимости от мотивов (психическая болезнь, тюремное заключение, измена, отсутствие детей и т. д.) суд будет иметь возможность определять выплату компенсации второму супругу до двадцати пяти процентов от зарплаты до конца юридического брака. Алименты на ребенка до конца брака могли бы составлять не четверть, а половину зарплаты, а затем в соответствии с существующим законодательством.

— Не противоречит ли это вашей основной концепции — увеличению степеней свободы в семейных отношениях?

— Не забывайте, что цель новой формы брака — стабилизация семьи. Указанные санкции должны лишь повысить чувство ответственности при заключении брачного контракта, создать экономические гарантии прочности брачных уз на договорное время. Это, мне кажется, уменьшит количество разводов по случайным мотивам.

Немало холостяков боятся жениться, ибо в случае развода придется делить квартиру, имущество. В некоторых зарубежных странах в семейные контракты закладываются имущественные вопросы. Почему бы это не практиковать у нас? В случаях, когда контракты такого рода не составляются, все социально-правовые вопросы могут при новом браке решаться по существующим законам.

Через каждые пять лет при продолжении юридического брака государство могло бы увеличивать выплачиваемые пособия на детей и повышать заработную плату супругам на пять — десять процентов. Государству это экономически выгодно. Ведь семейные конфликты, бракоразводные процессы и другие проявления нестабильности семей снижают производительность труда, ухудшают качество работы. Не забывайте и про нервно-психические заболевания, возникающие на почве разводов.

Думаю, что предлагаемая модель брака превратит семью в поистине свободный союз мужчины и женщины. Этот союз может быть творчески ярким, эмоционально насыщенным, наполненным взаимной заботой, стремлением сохранить любовь и семью. И, возможно, человечество будет от этого чуть-чуть счастливее...

## ОТ РЕДАКЦИИ.

Можно соглашаться или не соглашаться с профессором Антроповым, но одно очевидно: сегодняшняя семья в сложном состоянии и для ее укрепления требуются какие-то меры. Этим материалом мы хотели начать разговор о том, какой быть семье будущего. Приглашаем принять участие в нем специалистов-психологов, юристов, врачей, философов и всех желающих. Счастливым семьям предлагаем поделиться рецептами благополучия, несчастливым — предостережениями для других. Ну, а тех, кто еще не связан узами Гименея, просим рассказать о том, какими им видятся семейные отношения, поразмыслить, от чего зависит супружеское счастье.



# «МОЖЕТ ЛИ ПЯТИТЬСЯ РАК?»

Что же это происходит с нами? Вам не приходилось задумываться над таким риторическим вопросом? Напечатали мы в № 19 статью «Может ли пятиться рак?», сопроводили ее очень осторожным в оценках вступительным словом, в котором каждая строчка предупреждает: метод еще только в самом начале совершенствования, и потому не стоит делать категорических суждений ни «за», ни «против» метода и его создателя — киевского химика-биолога Ярослава Яворского.

Надо сказать, что большинство читателей, кого привлекла своей актуальной темой статья Н. Леликова, так именно и отнеслось к нашим словам — с пониманием, с желанием ждать и надеяться. Некоторые же медики сразу кинулись в бой, утверждая, что статья порочит их «доброе имя и научную честь». Ради объективности, правда, признаем, что под «некоторыми» мы имеем в виду только одного доктора — заведующего кафедрой Кемеровского медицинского института профессора Клячкина. Вот его отклик на статью в «Смене».

«Одна из негативных сторон нашей действительности, — пишет Б. М. Клячкин, — появление различного рода экстрасенсов, открывателей новых теорий возникновения рака, которые предлагают новые нетрадиционные методы лечения рака со страниц непрофессиональ-

ных журналов и газет, с экранов телевизоров.

Подобного рода информация опасна для жизни больных злокачественными опухолями, потому что легковерные, пользуясь этой информацией, подогретой убогой популярностью нашей медицины, отказываются от лечения в государственных онкологических лечебных учреждениях и устремляются к авторам этих так называемых «открытий».

Я лично был свидетелем многих жертв катрэкса, когда общепринятые методы лечения могли бы помочь.

То же самое делает и Н. Леликов, рекламируя в своей статье «открытие» Я. Яворского. Не сомневаюсь, что и у этого открывателя уже есть жертвы среди отказавшихся от штатного лечения.

Нельзя верить потрясающим примерам излечения методом Я. Яворского, которые приводит Н. Леликов, потому что ложь в этой статье, видимо, явление типичное. Так, Н. Леликов ссылается на положительные отзывы о работе Я. Яворского Е. В. Груntenко и Б. М. Клячкина, т. е. меня. Я никаких отзывов Яворскому не давал. Е. В. Груntenко также этого не делал. Я это лично проверил в беседе с Е. В. Груntenко. Л. Л. Ванников в частном письме Я. Яворскому сообщил лишь свое мнение о его трактовке холестеринового обмена и не касался лечения рака.

Что касается отзыва А. Гачечиладзе, то к нему



нельзя относиться серьезно, потому что А. Гачечиладзе не имеет медицинского образования и, следовательно, не может квалифицированно судить о методах лечения рака».

Естественно, получив этот отклик, мы сразу же потребовали от автора статьи — Николая Леликова — объяснений. Считаем необходимым привести полностью его ответ.

«Уважаемый Борис Михайлович! Ваше письмо в редакцию «Смены» вызвало у меня чувство горечи. Нет, ни в коем случае не обиды, хоть Вы без обиняков обвиняете меня во лжи. Отметим это обвинение не составляет труда. Передо мною Ваш фирменный бланк — это подлинник Вашего письма к Яворскому, датированного 31 мая 1985 года и подписанного Вами. Вы пишете: «Глубокоуважаемый Ярослав Захарович! Мы с большим интересом ознакомились с Вашими работами. Важное значение холестерина в физиологии клеточных мембран в настоящее время безусловно доказано и имеет много аспектов...» И далее Вы описываете работы кафедр в этой области.

В статье в «Смене» я всего лишь констатировал: «Интересными признали мысли Яворского... профессора из Новосибирска Л. Л. Ванников и Е. В. Грунтенко, заведующий кафедрой онкологии Кемеровского медицинского института Б. М. Клячкин». Согласитесь, этот текст мало отличается от содержащегося в Вашем письме Яворскому. Где же здесь ложь?

Охотно соглашусь с тем, что на метод лечения онкологических заболеваний Яворским Вы никогда положительных отзывов не давали. Просто в том Вашем давнем письме мне привиделась искорка доброты к безвестному, но отнюдь не бесталанному коллеге. Поэтому я и позволил себе в числе других сослаться и на Ваш отзыв.

Совершенно напрасно Вы взяли на себя миссию говорить от имени ныне покойного профессора Грунтенко. Передо мной лежит и его письмо, которое дает мне право упрекнуть Вас в неосведомленности. Цитирую: «Глубокоуважаемый Ярослав Захарович! Спасибо за Ваше интересное и полезное для меня письмо. Журнал «Природа» — самое подходящее место для публикации Вашей статьи. По-моему, работа Ваша пойдет. Но пришлют ее не обязательно биологу, а может, физику или кибернетику. Желаю успеха, работа того стоит».

Конечно, метод Яворского нуждается еще в длительной апробации. Но и сейчас уже результаты его применения настолько красноречивы, что позволяют не искать ничьих благосклонных отзывов».

Вот пока и все по поводу статьи «Может ли пятиться рак?». Так что же все-таки происходит с нами? — зададимся еще раз этим вопросом. Неужто и в самом деле в нынешнее время гласности и плюрализма так трудно быть всем нам терпимыми и снисходительными к трудам и мнениям других? А так хочется в этом усомниться...



ЕЛЕНА БОННЭР

# ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Из песни слова не выкинешь...  
 В свое время наш журнал,  
 как большинство центральных изданий,  
 оказался причастен к травле  
 ссыльного академика А. Д. Сахарова  
 и его жены Е. Г. Боннэр.  
 Не по своей воле — но разве от этого  
 легче двум оклеветанным людям?  
 Сегодня мы обязаны  
 восстановить справедливость.  
 13 января 1986 года Елене Георгиевне  
 сделали в Бостоне операцию  
 на открытом сердце  
 (у нас это было невозможно).  
 А в феврале она начала писать книгу  
 «Постскриптум».  
 Книга о горьковской ссылке»  
 и закончила ее 9 мая.  
 Разрешения на ту спасительную  
 поездку в США академик А. Д. Сахаров  
 добился двумя длительными  
 голодовками в 1984—1985 годах.  
 С согласия Е. Г. Боннэр публикуем  
 страницы из ее книги, изданной  
 в 1988 году парижским издательством  
 «Де ла Пресс Либрэ».

## ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В районный народный суд Киевского района г. Москвы  
от Боннэр Елены Георгиевны  
по делу с Яковлевым Николаем Николаевичем.  
Соответчик: журнал «Смена»

О защите чести и достоинства  
(в порядке ст. 7 Гражданского Кодекса РСФСР)

## ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В журнале «Смена» (№ 14, июль 1983) напечатана статья Н. Н. Яковлева «Путь вниз». Статья эта порочит меня. В своем заявлении в суд я не касаюсь общей направленности статьи, искаженных и порочащих сведений о моем муже, моих детях и людях, в прошлом мне близких. Я обращаю внимание суда только на несколько утверждений автора. Перехожу к статье.

1. «...Все старо как мир — в дом Сахаровых после смерти жены пришла мачеха и вышвырнула детей... Боннэр поклялась в вечной любви к академику и для начала выбросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда водворила собственных — Татьяну и Алексея...»

2. «Все деньги Сахарова в СССР Боннэр давно прибрала...»

3. «Вооружившись подложными справками, сумела поступить в медицинский институт в Москве», «...ведя развеселую жизнь...»

4. «В молодости распущенная девица достигла почти профессионализма в соблазнении и обирании пожилых и, следовательно, с положением мужчин. Дело известное, но всегда осложняющееся тем, что, как правило, у любого мужчины в больших летах есть близкая женщина, обычно жена. Значит, ее нужно убрать. Как? «Героиня» нашего рассказа действовала просто — отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти. Она получила желанное — почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Разочарование — погиб на войне. Девица, однако, никогда не ограничивалась одним направлением, была весьма предприимчива. Одновременно она затеяла роман с крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять рядом досадная помеха — жена! Инженер убрал ее, попросту убил и на долгие года отправился в заключение. Очень шумное дело побудило известного в те годы криминалиста и публициста Льва Шейнина написать рассказ «Исчезновение», в котором сожительница Злотника фигурировала под именем «Люси Б.». Время было военное, и, понятно, напуганная «Люси Б.» укрылась санитаркой в госпитальном поезде».

5. «Боннэр в качестве методы убеждения супруга поступить так-то взяла в обычай бить его чем попало».

Все вышеприведенное порочит мою честь и достоинство и таким образом подпадает под действие ст. 7 Гражданского Кодекса РСФСР. Все это является измышлениями автора статьи, не соответствует действительности.

Я прошу суд выяснить реальные обстоятельства — в соответствии с законом вся тяжесть доказательств лежит на ответчике — и вынести решение, которым обязать гр. Яковлева Н. Н. и журнал «Смена» опубликовать соответствующие опровержения.

26 сентября 1983 г.

Е. Г. БОННЭР



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ.

В своей статье Яковлев тенденциозно излагает мою биографию. Поэтому считаю необходимым привести краткую биографию.

Я родилась в 1923 г. Мой отец Геворк Алиханов, заведующий отделом кадров Коминтерна, член ВКП(б) с 1917 г., был арестован в мае 1937 г. как изменник родины, посмертно реабилитирован в 1954 г. Моя мать, Руфь Григорьевна Боннэр, член КПСС с 1924 г., также была арестована в 1937 г. как ЧСИР (член семьи изменника родины), реабилитирована в 1954 г., персональный пенсионер республиканского значения.

Я окончила семь классов в Москве и после ареста родителей уехала с младшим братом к бабушке и дяде в Ленинград. Дядя был арестован в конце октября 1937 г., его жена была выслана, и нас у бабушки росло трое — кроме меня и брата еще двухлетняя дочь дяди. Мы с братом оказались в Ленинграде без всяких документов (метрик у нас не было) и были направлены в РОНО на медкомиссию, где мне был определен возраст не 15, а 16 лет; в феврале 1938 г. по определению медкомиссии я получила паспорт с годом рождения 1922. В Ленинграде я окончила среднюю школу в 1940 г.; училась в школе, одновременно работала уборщицей в домоуправлении, а в летние каникулы после 8-го и 9-го класса архивариусом на заводе им. Тельмана в Москве. В 1940 г. я поступила на вечернее отделение факультета русского языка и литературы Ленинградского педагогического института им. Герцена и работала пионервожатой в школе. Никогда — ни в детстве, ни став взрослой — я не верила, что мои родители могли быть врагами родины, их идеалы и их интернационализм были для меня высоким образцом, и, когда началась война, именно поэтому я пошла в армию (медсестра, курсы РОКК) — добровольно и по велению сердца, если относиться к этим словам всерьез, а не играть с ними. 26 октября 1941 г. я была тяжело ранена и контужена около станции Валя (Волховский фронт), лежала в госпиталях в Вологде и Свердловске. В конце 1941 г. я была выписана в распоряжение РЭПа Свердловска и оттуда направлена медсестрой на военно-санитарный поезд № 122. В 1943 г. я стала ст. мед. сестрой, и мне было присвоено звание мл. лейтенанта мед. службы. В 1945 г. — лейтенант мед. службы. В мае 1945 г. я была направлена в распоряжение Беломорского военного округа на должность зам. нач. мед. части отдельного саперного батальона, откуда и была демобилизована в августе 1945 г. с инвалидностью второй группы — почти полная потеря зрения на правом глазу и прогрессирующая слепота на левом (последствия контузии). Последующие два года я упорно боролась за то, чтобы сохранить зрение, и с благодарностью перечисляю здесь врачей, которые мне в этом помогли: д-р Финляндская (поликлиника на ул. Труда, Медицинская академия), проф. Чиковский (Первый Ленинградский медицинский институт), д-р Суконщикова (Институт глазных болезней) — это в Ленинграде; затем я дважды лежала в Институте глазных болезней в Одессе, где моими лечащими врачами были проф. Владимир Петрович Филатов и его жена д-р Скородинская. В 1947 г. мое состояние стабилизировалось, хотя всю последующую жизнь я была инвалидом то третьей, то второй группы, в зависимости от







состояния, а в 1970 г. признана инвалидом второй группы Великой Отечественной войны пожизненно. В 1947 г. я поступила в Первый Ленинградский медицинский институт, который и окончила в 1953 году по шестилетнему курсу обучения. С этого времени и до достижения пенсионного возраста я всегда работала, кроме перерыва несколько больше года в 1961—1962 гг., когда тяжело болел мой сын. Была участковым врачом, врачом-педиатром роддома, преподавала детские болезни в медучилище, работала по командировке Минздрава СССР в Ираке. Работу по специальности часто сочетала с литературой — печаталась в журналах «Нева», «Юность», писала для Всесоюзного радио, печаталась в «Литгазете», в газете «Медработник», участвовала в сборнике «Актеры, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны», была одним из составителей книги «Всеволод Багрицкий — дневники, письма, стихи», сотрудничала как внештатный литконсультант в литконсультации СП, одно время была редактором в Ленинградском отделении Медгиза. Отличник здравоохранения СССР. С 1938 г. член ВЛКСМ, все годы службы на ВСП комсорг, в институте — профорг курса. Ни в армии, ни в последующие годы не считала для себя (внутренне) возможным вступление в партию, пока мои родители числились изменниками родины или, как тогда чаще говорили, «врагами народа». После XX и особенно после XXII съезда решила вступить в КПСС и с 1964 г. кандидат, а с 1965 г. член КПСС. После осени 1968 г. сочла свой шаг неправильным и в 1972 г. в связи со своими убеждениями вышла из КПСС.

У меня двое детей — дочь Татьяна (1950 г.р.) и сын Алексей (1956 г.р.). Их отец, Иван Васильевич Семенов, учился вместе со мной в Первом Ленинградском медицинском институте и работает там до настоящего времени. Фактически мы разошлись с ним в 1965 г. Татьяна осенью 1967 г. поступила в Московский университет, была исключена осенью 1972 года за участие в демонстрации протеста у ливанского посольства в связи с террористическим актом — убийством израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде. В 1974 г. она была восстановлена и в 1975 г. успешно окончила университет, на «отлично» защитив диплом. Алексей отлично закончил среднюю школу, так же отлично учился на математическом факультете Московского педагогического института им. В. И. Ленина, был исключен с последнего курса, формально как не сдавший военное дело (предмет, не входящий в учебный план института). Мой зять Ефрем Янкелевич окончил Московский электротехнический институт связи.

Мое заявление в суд содержит пять пунктов. По трем из них дает разъяснения в своем заявлении мой муж Андрей Дмитриевич Сахаров. Я останавливаюсь на двух остальных — на пункте 3 и на пункте 4.

3. «...вооружившись подложными справками сумела поступить в медицинский институт в Москве...» «...ведя развеселую жизнь...». Я не поступала никогда ни в какой институт в Москве. Я поступила в 1947 г. в Первый Ленинградский мединститут, имея аттестат об окончании ленинградской средней школы № 11 (ныне № 239), сдавала экзамены на общих основаниях и была зачислена после успешной их сдачи. Никакими подложными справками не пользовалась. Эпитет «развеселая», отнесенный к моей жизни, обсуждать не хочу, выше изложена моя краткая биография.

4. Трагедия — убийство моей школьной подруги Елены Доленко ее мужем Моисеем Злотником (двоюродным братом моей другой школьной подруги, Регины Этингер) — произошла в конце октября 1944 г. Я последний раз видела Елену Доленко в конце 1942 года, когда она вернулась в Москву из эвакуации из Ашхабада. Тогда же видела и Моисея Злотника в доме старшей сестры Регины — Евгении Этингер. Брак между Злотником и Доленко был заключен много позже, осенью 1943 года. Мужем и женой я ни разу их не видела. Об исчезновении Е. Доленко я узнала в канун 1945 г., когда снова была в Москве с ВСП в течение нескольких дней. В конце апреля 1945 г. я была вызвана с санпоезда в Москву на допрос и тогда узнала, что Злотник арестован и что он убил Е. Доленко. Кроме этого единственного допроса, когда меня спрашивали о личности убитой и убийцы и о моих отношениях с ними (Доленко я знала с младших классов, Злотника — с 1928 года), меня больше ни на следствие, ни в суд не вызывали. По фабуле этого трагического уголовного дела Л. Шейнин написал рассказ. По литературной версии, Глотник (Злотник) — сексуальный маньяк (по официальной судебной, Злотник совершил убийство из ревности), у которого, кроме жены, три любовницы, одна из них «Люся Б.». Но в рассказе Шейнина, на который ссылается Яковлев, я никак не подстрекатель к убийству, а скорее жертва. И Яковлев точно так же, как меня (если опираться на рассказ), мог бы обвинить в подстрекательстве к убийству двух других — «Нелли Г.», живущую в Ленинграде, или «Шурочку», живущую в Москве.

Теперь я вынуждена отступить от моего письма в суд и рассказать о некоем предшественнике Яковлева. В 1976 году я получила два письма, подписанных Семеном Злотником, выдававшим себя за племянника Моисея Злотника и требовавшим от меня «6000 рублей и некую сумму за границей», так как он решил эмигрировать из СССР. Эту «просьбу» автор письма подкреплял угрозой «раскрыть мои отношения с его дядей» и вообще мое «темное прошлое». Я на эти письма не ответила. Через некоторое время в Москве, Ленинграде и во многих странах мира люди, знающие А. Д. Сахарова или меня (академики, писатели, врачи, политические и общественные деятели, наши друзья), стали получать письма из Вены (желтые стандартные пакеты) с фотокопией рассказа Шейнина и письмом, подписанным Семеном Злотником, в которых излагалось мое «темное прошлое». Мы знаем более чем о тысяче таких пакетов. Обратный адрес на них был: Адамбергенгассе 10/8, 1020, Вена, Австрия, отправитель — Сандлер Е. Х. Австрийские корреспонденты выяснили, что ни такого адреса, ни такого человека в Вене нет. На этом история не кончилась. В 1980 г. в газете «Сетте джорни», издающейся на Сицилии, появилась статья со ссылкой на рассказ «бедного эмигранта из России Семена Злотника», где излагается «моя биография», — в ней не только два убийства и весь клеветнический набор, что и у Яковлева, но еще и цитаты из моих писем и писем ко мне моего родственника из Франции, умершего в 1972 году. (Эти письма прошли нормальный почтовый путь, но каким-то чудом оказались в распоряжении Семена Злотника.) В ней же сказано, что проживает Семен Злотник во Франции. Все выглядело бы правдоподобно, но... никто из семьи Злотников из СССР не выезжал и Семена Злотника — племянника Моисея Злотника — в семье Злотников нет и никогда не было, это поручик Кижэ. Не моя задача исследовать, кто сочинил его.



Возвращаюсь к своему заявлению в суд (пункт 4). Всеволод Багрицкий, сын поэта Эдуарда Багрицкого, не был ни пожилым, ни богатым — он родился 19 апреля 1922 г. в Одессе и погиб 26 февраля 1942 г. недалеко от Любани, не дожив до 20 лет. Мы учились в одном классе и сидели на одной парте, вместе ходили в школу и из школы, и он читал мне стихи. Его отец в шутку называл меня «наша законная невеста», и так меня называла до самой своей смерти мать Севы Лидия Густавовна Багрицкая и его тетя Ольга Густавовна Суок-Олеша. Была у нас с Севой детская дружба, была первая любовь. Потом была общая судьба: мы были вместе, когда арестовали моих родителей, когда арестовали его мать, когда погиб его брат; он провожал в ссылку мою тетю и нянчил ее тогда двухлетнюю дочь. Потом у нас были ночные очереди, чтобы раз в месяц сделать передачи нашим мамам в Бутырки; передачи брали по буквам; день — буква, а нам повезло — мамы были на одну букву. Была разлука, я жила у бабушки в Ленинграде. Были мои приезды в Москву, его каникулы у нас в Ленинграде. Потом война и гибель Севы. Лидия Густавовна Багрицкая из женского Карагандинского лагеря (где тогда была и моя мать) написала мне: «Люсенька милая, как же мы будем жить без Севки...» Но живые — живут. Лидия Густавовна, реабилитированная, вернулась в Москву. И все годы до ее смерти в 1969 г. моя семья была — моя мама, мои дети, мой муж Иван Семенов (до нашего развода) и Лида. Дети знали, что у них есть бабушки и Лида. Лидия Густавовна болела на моих руках, выздоравливала, и мы собирали «Севкину книгу» — вначале не для печати, для себя. Многие стихи в книге — только из моей памяти, другое я собирала по крохам у друзей, некоторые бумаги после гибели Севы сохранил Корнелий Зелинский. Потом Лидии Густавовне передали Севину пробитую осколком полевую сумку с его тетрадью и документами.

При жизни у Всеволода Багрицкого было опубликовано лишь несколько стихотворений. В 1964 г. в издательстве «Советский писатель» вышла книга «Всеволод Багрицкий. Дневники, письма, стихи», составители Л. Г. Багрицкая и Е. Г. Боннэр. Книга получила премию Ленинского комсомола, давно стала библиографической редкостью. И все же, читатели «Смены», найдите и прочтите ее. Эта книга — документ истории, в ней нет ни одной сочиненной кем-либо строки. Все написано Всеволодом. Яковлев охотно ссылается на детектив Л. Шейнина, но он не может сослаться на книгу В. Багрицкого. Детектив главного следователя сталинских времен и «детектив» Яковлева внутренне близки. Книга В. Багрицкого Яковлеву противопоказана: нельзя допустить читателя в сложный, чистый мир трагически одинокого юноши 37—42 гг.; надо «повязать» (простите уголовный жаргон) читателя вместе с собой в муть своего повествования.

Я обращаюсь к книге В. Багрицкого (стр. 68 — письмо к маме в лагерь от 14 октября 1940 года): «Пока мы работали над первым актом «Дуэли», я успел влюбиться в одну больную девушку (у нее порок сердца) и, поборов сопротивление ее родных, жениться на ней. Прожили мы вместе месяц и поняли, что так, очевидно, продолжаться не может. Семейная жизнь не удалась. Она переехала обратно. И вот сейчас я снова со своей старой Машей (няня Севы.— Е. Б.). Снова могу лежать с ногами на кровати и курить в комнате. Но чувствую, что самое трудное и сложное впереди — нужно еще идти в загс разводиться. Моей женой



была Марина Владимировна Филатова\*, очень хорошая девушка. Я и сейчас с ней в прекрасных отношениях. До сих пор не могу понять, почему я женился. Все меня отговаривали, даже она сама. А я все-таки женился — глупо! Легкомыслие, наверно, преобладает во мне». И другое письмо — письмо Маши Брагиной (стр. 71, декабрь 1940 г.): «Здравствуй дорогая, милая Лидия Густавовна! Посмотрела бы на тебя, как на солнышко. Долго ли мне с Севушкой пожить? Здоровье у меня очень слабое. Для него стираю, мою, ушиваю и собираю ему кое-что поест. Кое-что собираю из одежды. Купила ему трое ботиночек и три рубашки. Ваши-то он все износил, а некоторые роздал своим друзьям. И носочки кое-как поштопаю, утяну худенько, да не спрашивает много... Осенью Сева стал скучать и от скуки было женился, но скоро развелся. Девушка была хорошая, скромная, но очень болезненная. А наша законная невеста Люся живет в Ленинграде. Ну, пока ждем вас домой с нетерпением большим. Крепко вас целую, будьте здоровы. Маша». Вот вся история женитьбы и развода Всеволода Багрицкого, изложенная им самим. Если книга не является документом, достаточным для выяснения истины, то сообщаю, что весь архив Всеволода находится в ЦГАЛИ — там подлинники этих писем, там и его паспорт, пробитый осколком авиабомбы. В паспорте есть штамп и о женитьбе, и о разводе — осенью 1940 года. Я никогда не видела М. В. Филатовой, никогда не говорила с ней по телефону. Упоминанием Всеволода фразой «Разочарование — погиб на войне» Яковлев оскорбил не меня, а всех, у кого погибли близкие, память всех мальчиков, не пришедших с войны. Я в память своего мальчика, не пришедшего с войны, сделала все, что могла: по крохам собирала все, что от него осталось, до последнего дня жизни его мамы была ей ближайшим другом и почти дочерью, научила своих детей любить ее и чтить память Севы.

Мне всегда было горько, что друзья Севы за своими жизненными заботами не проявили к ней внимания, кроме двух встреч по моей инициативе, никогда даже не приходили к ней. Может быть, они защитят память Всеволода? Я прошу вызвать в суд товарищей Севы по студии, руководителей студии Алексея Николаевича Арбузова и Валентина Николаевича Плучека, писателя Исаю Кузнецова, других студийцев, а также писателя Александра Свободина — женитьба и развод Севы были на их глазах, я же в то время жила в Ленинграде.

На этом фактическую сторону моего заявления в суд можно было бы кончить. Но почему Яковлеву нужна моя биография, да еще изложенная так, как сделал он? Потому что в нашей трагической жизни кто-то надеется этой грязной «литературной» стряпней довести двух очень немолодых и очень больных людей до смерти, потому что можно заморочить головы миллионам доверчивых читателей — и ради этого годится творчество в духе геббельсовской пропаганды. Это подтверждается тысячами разъяренных, злобных писем, которые мы получаем, рекомендующих Сахарову «покаяться», «развестись с еврейкой» и «жить своим умом, а не боннзровским». Подтверждается погромом, который мне устроили в поезде Горький — Москва, скандалами, устраиваемыми Сахарову и мне на улицах в Горьком, бесчисленными угрозами расправиться с нами, а то и просто убить нас.

\* Со слов друзей Всеволода известно, что имя Филатовой Маргарита — Мариной она сама себя называла — и что она умерла в Москве в конце 1943 года.

В 1983 г. в одном из самых читаемых (тираж 8 млн. 700 тыс.) журналов «Человек и закон» появилась серия статей Яковлева «ЦРУ против Страны Советов». Если в книге «ЦРУ против СССР» и в журнале «Смена» еврейско-сионистская тема преподносится несколько приглушенно, набором фамилий и ссылками на анонимных мифических учеников Сахарова, то в журнале «Человек и закон» (№ 10, 1983) она становится абсолютно явной и откровенной. Цитирую раздел статьи «Фирма Е. Боннэр энд чилдрен», стр. 105: «В своих попытках подорвать советский строй изнутри ЦРУ широко прибегло и к услугам международного сионизма... Используется при этом не только агентурная сеть американских, израильских и сионистских спецслужб и связанных с ними еврейский масонский орган «Бнай Брит», но и элементы, подверженные воздействию сионистской пропаганды. Одной из жертв сионистской агентуры ЦРУ стал академик А. Д. Сахаров. Какие бы гневные слова ни произносились (и вполне заслуженно) в адрес Сахарова, по-человечески его жалко (...) используя особенности его личной жизни примерно за полтора десятка последних лет (о чем дальше), провокаторы из подрывных ведомств толкнули и толкают этого душевно неуравновешенного человека на поступки, противоречащие облику Сахарова-ученого. Все старо как мир: в дом Сахарова после смерти жены пришла мачеха... Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина». Прошу простить длинную цитату, частично повторяющую изложенное в «Смене», но в ней по контексту однозначно утверждается, что именно я — провокатор из «подрывных» масонских, сионистских и ЦРУ служб, и именно я несу ответственность за всю деятельность Сахарова в защиту мира и прав человека, он же — жертва, душевно неуравновешенный человек. Антисемитская направленность статьи Яковлева в популярном юридическом журнале по существу является возбуждением национальной ненависти. В этой связи не могу не вспомнить антисемитское дело «врачей-убийц» и «Почту Лидии Тимашук» — одну из позорнейших страниц истории нашей страны. Читатели Яковлева, возможно, забыли об этом, но ему — профессору-историку — должно помнить.

Чего же хочет от меня Яковлев? Чтобы я предала мужа? Я никогда никого не предавала. Испугать меня судом по статье 64 УК РСФСР (вплоть до смертной казни)? Я никогда не состояла на службе никаких разведок: американских, масонских, сионистских. Все бесчисленные публикации Яковлева вызваны только тем, что я жена Сахарова, да к тому же я — еврейка, что облегчает ему задачу. Но я надеюсь прожить свою жизнь до конца достойно русской культуры и среды, в которой прошла моя жизнь, своей еврейской и своей армянской национальности и горжусь тем, что мне выпала трудная и счастливая судьба — быть женой и другом академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

ЕЛЕНА БОННЭР.

26 сентября 1983 г.

#### СВИДЕТЕЛЬСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с заявлением в суд моей жены Е. Г. Боннэр об ущербе ее чести и достоинству, нанесенном публикациями Н. Н. Яковлева, я хочу и должен по ряду утверждений Яковлева дать нижеследующие свидетельские показания.

1. Ложью является утверждение Яковлева («Смена», стр. 27): «В конце 60-х годов Боннэр наконец вышла на крупного зверя — вдовца,



академика А. Д. Сахарова. Но увы, у него трое детей — Татьяна, Люба и Дима. Боннэр поклялась в вечной любви к академику и для начала выбросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда водворила собственных — Татьяну и Алексея». Никто не имеет права писать о чужой личной жизни в таком пошлом тоне и столь лживо, как это делает Яковлев в приведенном отрывке и во множестве других мест своих статей и книг. В недавно опубликованной статье в журнале «Человек и закон» (№ 10, 1983) Яковлев еще более усиливает свои инсинуации: «Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина». Елена Георгиевна Боннэр не «навязывалась» мне, не давала никаких «клятв вечной любви». Я просил ее быть моей женой. С тех пор она самоотверженно несет эту трудную долю, трагическую судьбу. Это наша судьба, наши счастье и трагедия. Прошу оградить нас от грязного и пошлого вмешательства Яковлева.

На самом деле мои младшие дети от первого брака Любовь Андреевна Сахарова (1949 г. р.) и Дмитрий Андреевич Сахаров (1957 г. р.), проживавшие вместе со мной до моего второго брака в трехкомнатной квартире площадью 57 кв.м, проживают там до сих пор, без какого-либо перерыва. Моя жена Е. Г. Боннэр и ее дети Татьяна (1950 г. р.) и Алексей (1956 г. р.) (Яковлев ошибочно пишет: 1955 г. р.) не жили в этой квартире ни одного дня. После брака я перешел жить в двухкомнатную квартиру матери жены, где на площади 34 кв.м в это время проживали (кроме меня) пять человек. Моя старшая дочь Татьяна Андреевна Сахарова (1945 г. р.) вышла замуж в 1967 году, еще при жизни моей покойной жены К. А. Вихиревой, и с этого времени жила отдельно. Я оплатил ее вступительный взнос в ЖСК АН СССР, в 1972 году она въехала в трехкомнатную квартиру в центре Москвы, где и живет с мужем и дочерью. Всё изложенное мной по этому поводу может быть подтверждено выписками из домовых книг и свидетельскими показаниями. Свидетелями прошу вызвать: Бобылева Александра Акимовича, Зельдовича Якова Борисовича, Романова Юрия Александровича, Фейнберга Евгения Львовича. Нарочитое название моих детей уменьшительными именами, а детей жены полными предназначено Яковлевым для того, чтобы у читателя создалось впечатление, что малых детей на улицу «вышвырнули».

2. Ложью является то, что моя жена «прибрала» мои сбережения. В 1969 г. я передал в фонд государства (Красному Кресту и на строительство Онкологического центра) 139 000 рублей. В 1971—73 годах я отдавал своим детям от первого брака и моему брату Георгию Дмитриевичу Сахарову более 500 руб. ежемесячно. В 1973 году я перевел на счет своих детей от первого брака половину оставшихся у меня к тому времени сбережений в сумме 14 000 руб. В 1972 году я подарил старшей дочери Татьяне свою автомашину ЗИМ. В 1973—77 годах я продолжал регулярно оказывать помощь сыну Дмитрию в размере 150 руб. в месяц, в дальнейшем оказывал ему материальную помощь эпизодически. Одновременно я оказывал и продолжаю оказывать материальную помощь своему брату. Все с 1971 года происходило с ведома и одобрения моей второй жены, а иногда и по ее инициативе.

3. Яковлев пишет заведомую ложь, называя моего зятя Ефрема Янкелевича недоучкой и лоботрясом. Е. Янкелевич успешно кончил Московский институт связи в 1972 году. В настоящее время в США он по моей доверенности выполняет весьма сложную и ответственную



работу моего представителя за рубежом. Яковлев называет лодырями и бездельниками Алексея Семенова и Татьяну Семенову-Янкевич. Это заведомая клевета, которая легко опровергается документами.

4. Яковлев пишет: «С изменением семейного положения Сахарова изменился фокус его интересов. Теоретик по совместительству занялся политикой, стал встречаться с теми, кто скоро получил кличку «правозащитников». Это утверждение — ложь. Я встретился с моей будущей женой Е. Г. Боннэр осенью 1970 года (Яковлев умышленно пишет — в конце 60-х годов). Еще в середине 50-х годов меня стали глубоко волновать общественные и общеполитические вопросы. Я сыграл определенную роль в заключении Московского договора 1963 года о прекращении ядерных испытаний в трех средах. Это может подтвердить в качестве свидетеля министр среднего машиностроения СССР, член ЦК КПСС Е. П. Славский. В 1968 году, за два с половиной года до встречи с Е. Г. Боннэр, опубликована моя статья «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней определились основные линии моей общественной позиции, получившие развитие в ряде последующих моих выступлений. С очень многими наиболее известными защитниками прав человека в СССР я встретился в первой половине 1970 года, т. е. до моей встречи с Е. Г. Боннэр.

5. Яковлев лживо излагает обстоятельства голодовки, объявленной моей женой и мною с целью добиться для нашей невестки Елизаветы Алексеевой, ставшей заложницей моей общественной деятельности, разрешения на выезд в США к мужу. Я заявляю, что решение о голодовке было нашим общим, каждый из нас сознавал абсолютную необходимость и серьезность этого шага. Голодовку проводили мы оба, а не только я (см. газета «Известия» 4 декабря 1981 года). На тринадцатый день голодовки мы были насильно госпитализированы и разлучены, помещены в разные больницы. Мы прекратили голодовку на 17-й день, когда власти дали нам заверение, что наше требование будет удовлетворено.

6. Яковлев пишет: «Боннэр в качестве методы убеждения супруга поступать так-то взяла в обычай бить его чем попало». Яковлев с одобрением цитирует статью выходящей в Нью-Йорке газеты «Русский голос»: «Похоже, что Сахаров стал заложником сионистов, которые через посредничество вздорной и неуравновешенной Боннэр диктуют ему свои условия». Яковлев пишет: «...такой аттестат выдан Сахарову теми, кто сумел объективно поставить его на службу интересам империализма. Как? Для этого придется вторгнуться в личную жизнь Сахарова. Все старо, как мир — в дом Сахарова пришла мачеха...» «Замечены регулярные перепады в его настроении. Спокойные периоды, когда Боннэр, оставив его, уезжает в Москву, и депрессивные — когда она наезжает из столицы к супругу... Засим следует коллективное сочинение супругами какого-нибудь пасквиля, иногда прерываемое бурной сценой с лобоями... На этом фоне я бы рассматривал очередные откровения от имени Сахарова, передаваемые западными радиоголосами». Я заявляю, что все приведенные мною утверждения Яковлева представляют собой сознательную и злонамеренную провокационную ложь. Яковлев не приводит и не может привести никаких доказательств того, что моя жена Е. Г. Боннэр меня избивает и таким образом добивается нужных ей поступков и заявлений. Я утверждаю, что это порочащее честь и достоинство моей жены и мои утверждение Яковлева абсолютно ложно. Ни

на чем не основаны и ложны также утверждения Яковлева о колебаниях в моем настроении, якобы депрессивном в присутствии жены. Я заявляю, что все мои статьи, книги и обращения, опубликованные на Западе или распространявшиеся в СССР, выражают мои личные убеждения, сложившиеся в течение целой жизни. Яковлев изображает меня неким недоумком, большим ребенком, находящимся в подчинении у властной, коварной и корыстолюбивой женщины. Он также говорит о моем психическом нездоровье. Недавно эту же инсинуацию повторил президент АН СССР А. П. Александров. Таким образом пытаются дискредитировать мои общественные выступления как несамостоятельные, внушенные чужой волей. При этом преследуется и вторая цель, быть может, еще более важная: поставить мою жену в непереносимое и опасное положение, нанести ущерб ее здоровью и жизни и тем попытаться парализовать мою общественную активность. В подкрепление используются инсинуации о личной жизни и мнимых преступлениях моей жены в прошлом, клевета о ее моральном облике. Но особо важную роль играет подчеркивание ее национальности, эксплуатация национальных предрассудков части населения нашей страны. Я глубоко благодарен моей жене за ее самоотверженность и стойкость в нашей трагической жизни, за усиление гуманистической направленности, которой я обязан ей. Но я с определенностью заявляю, что за всю свою общественную деятельность, за содержание и форму своих выступлений я несу полную единоличную ответственность, и только я. Я категорически отвергаю утверждение Яковлева, что мои выступления явились хотя бы в какой-то степени результатом давления со стороны моей жены Е. Г. Боннэр или кого-либо иного. Я считаю свои выступления соответствующими общечеловеческим целям сохранения мира на земле, прогресса и свободы, прав человека, соответствующими целям гуманности и гласности и отвергаю обвинение Яковлева, что они имеют антинародный или проимпериалистический характер. Мои выступления, текст которых подтвержден моей женой Е. Г. Боннэр или моим представителем на Западе Е. В. Янкелевичем, являются полностью моими, авторскими. Поэтому я утверждаю, что приведенная выше формулировка Н. Н. Яковлева — «откровения от имени Сахарова» — злонамеренная ложь.

А. Д. САХАРОВ

19 ноября 1983 г.

Горький, пр. Гагарина, 214, кв. 3

Районный суд Киевского района Москвы. На прием к судье довольно большая очередь, и нигде нет надписи, что инвалидам войны без очереди. Я впервые в жизни пришла на такой прием. Все сидят в комнате, большой, похожей на класс. Открывается дверь в соседнюю. Выходит молодая, хорошенькая женщина и тут же при всех расспрашивает каждого, по какому делу он пришел. В результате кому-то дается справка, бланк заявления, кому-то говорят, что надо заплатить пошлину, кого-то вообще отсылают в другое учреждение. Людей сразу становится меньше, оставшиеся по одному входят в кабинет судьи. Кто задерживается там на 3—5 минут, кто дольше. Моя очередь. Объясняю очень кратко, с чем я пришла, подаю всю пачку документов и журнал «Смена». Она начинает читать, в это время входит ее секретарь и дает ей какую-то записку. Судья просит прощения и выходит. Со мной остается



секретарь. Судья возвращается через несколько минут и говорит: «Я не могу принять ваше заявление без разрешения председателя районного суда, пройдите к нему». Я уже поднялась к ней на третий этаж. После инфаркта я стала везде и всюду считать этажи — каждый этаж стал для меня прямо событием. Теперь еще один этаж, и я около кабинета председателя. У него тоже очередь. Небольшая — человека четыре. Но задерживаются дольше, чем у районного судьи.

Судья — крупное, усталое лицо, грузный, костюм на нем серый, много ношенный, на груди орденские планки. Встал из-за стола к шкафу, протез скрипит — без ноги, похоже, инвалид войны. Ну, посмотрим, что мне этот скажет. Взял бумаги и уселся так удобно — может, будет читать. Действительно, читает. Почти полчаса. Потом: «Значит так, Елена Георгиевна. Вы пройдите к судье снова, я распоряжусь, чтобы она приняла заявление». Протянул руку. Я пожалала и в состоянии некоего недоумения, так как ожидала опять отказа, пошла к судье. Теперь уже, слава Богу, счет этажей идет вниз. Как только вышел от судьи очередной посетитель, секретарь позвала меня. Судья записала меня в какую-то большенную тетрадь, приклеила туда гербовую марку, которая у меня была куплена еще раньше, в преддверии визита в суд. Я расписалась, секретарь вложила все мои бумаги в папку с крупно напечатанным «ДЕЛО». Под этим проставила мое имя, адрес и дату. Судья сказала: «Мы вас известим в течение месяца о времени слушания дела». Я вышла. Спускаясь по лестнице, как мне кажется теперь, я думала: «Вот как все хорошо. Похоже, я буду действительно судиться, и, может, стоит предупредить девочек (моих сверстниц, но всё девочки) в Ленинграде, что я их вызову на суд в качестве свидетелей, что я кончала школу с одними, а с другими — медицинский институт». Я вышла на улицу. В тщетных попытках найти такси я покружила в переулке вокруг суда. Медленно (было очень скользко, и сердце от этажей болело) двигалась к Кутузовскому проспекту. И тут я стала терять этот первый свой энтузиазм. Похоже, достаточно свежий октябрьский ветер сумел быстро остудить мой оптимистический порыв.

В Москве среди друзей подачу заявления в суд много обсуждали. Вначале были обсуждения «подавать — не подавать». Кто был «за», кто — «против», и вообще все делились на «за» и «против». Интересно, что часто те, кто «против», — это тоже вроде друзья, и в повседневной жизни мы много общаемся, есть у нас и взаимопомощь, и еще какие-то черты дружбы, видимо, вынужденной обстоятельствами. Это те, кто тем не менее может сказать: «Нет, лучше ей не судиться, все-таки не все ясно в ее жизни». Я просто знаю, что так говорили те, кого иногда даже весь мир считает нашими друзьями. Те, кто «за», никогда ничего подобного не скажут, и даже в мыслях у них такое не заронится. Они не будут никогда ни с кем обсуждать в полуяковлевском стиле что бы то ни было (не только про нас), а если усомнятся, то просто спросят.

В деле с подачей заявления пересилили те, кто был «за», и, конечно, Андрей. Теперь обсуждалась подача заявления. Многие считали, что суд будет, но Яковлева не осудят и не оправдают — решение будет неопределенным. Некоторые считали, что осудят, но опровержения не напечатает. А у меня, как только октябрьский ветер меня остудил, взгляд на дальнейшее вполне определенный: ничего не будет. Так прошел октябрь. Шиханович в мой очередной приезд потребовал, чтобы я пошла к судье. Мы договорились, что на следующий день после



работы он повезет меня туда. Он сбегал в автомат и узнал, что и у судьи, и у председателя завтра приемный день. Когда мы приехали в суд и преодолели три этажа, то оказалось, что моя судья заболела и прием отменен. Мы поднялись еще на этаж — прием отменен: председатель суда вызван в райком (или горком, не помню). Прием будет на следующей неделе. Через неделю я приехала уже с Эмилом — Ших не мог уйти с работы, а прием был не в вечерние часы. Районный судья по-прежнему была больна. Но секретарь ее (похоже, она ждала меня) сказала, что меня примет председатель. Поднялись к нему. Вошли в кабинет вместе с Эмилом. Он попросил Эмиля выйти, хотя я просила вести разговор при нем. Не хотел свидетеля, что ли?

Мы остались вдвоем, он достал из шкафа папку «ДЕЛО», из которой торчал журнал «Смена», положил к себе на стол и, прижав рукой, сказал: «Дело ваше к рассмотрению я принять не могу».

— Почему? — Он пожал плечами и, как-то вобрав голову в плечи, сказал снова: — Не могу.

— Тогда дайте письменный мотивированный отказ, ведь это положено, так написано в кодексе.

— Положено, но я не дам мотивированного отказа, не могу.

— Ну, а куда мне жаловаться, что нарушается закон?

— Жаловаться? Елена Георгиевна, вы женщина умная. Если вам не жаль сил и времени, то можете, конечно, жаловаться, но не советую.

Тогда я спросила:

— Скажите, а вам на высоком уровне приказали не принимать моего заявления в суд к рассмотрению?

Он посмотрел на меня вдруг другим, не мертвым, как было во все время разговора, а живым взглядом и сказал:

— На достаточно.

— Понятно, но ведь я пишу правду, а Яковлев врет. — Разговор становился уже каким-то неофициальным.

— Я знаю, — ответил он. — Я кое-что проверял — вот не жили вы никогда в квартире Сахарова. И книжечку Всеволода Багрицкого прочел.

Мы оба замолчали. Потом я встала, чтобы уходить, и мне непроизвольно захотелось протянуть ему руку, когда он, скрипя протезом, вышел из-за стола, держа в руках мое дело. Я протянула руку, он протянул мне дело, потом понял мой жест, переложил дело в другую руку и, пожимая мою, сказал:

— А хотите, я не буду вам возвращать ваше «Дело», а положу к себе в сейф, у вас все равно небось есть копии. А у меня, может, и долежит. Может, снова начнут реабилитировать.

— Оставьте.

Мы пожали друг другу руки. Я вышла со странным смешанным чувством и уважения к этому человеку за то, что он мне, в общем, много сказал, и удивления, что он все понимает, и сожаления, что вот ведь может работать в этой системе. И сочувствия: «А что делать?»

Я рассказала это Эмилю, потом дома друзьям, потом в Горьком Андрею. А сама до сих пор думаю: «А может, действительно скоро будут снова реабилитировать? Сомнительно что-то». Ну, если не будет, то, может, из этого сейфа мое дело против Яковлева все-таки попадет в категорию тех, на которых в верхнем правом углу написано «Хранить вечно».







## ВАЛЕРИЙ КРАСКО

*То ли незачем связать  
Неземное с человечьим,*

*То ли нечего сказать,  
То ли некому и нечем,*

*То ли онемел, ослеп  
И смешон — гожусь на что вам?*

*То ль последствиями след  
Окружен и зафлажкован,*

*То ль нирвана задарма —  
Медяком в суме изгоя...*

*То ли горе от ума,  
То ли поздний ум от горя...*

## СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ

*Возьму я профсоюзную нагрузку,  
Но все-таки останусь налегке.  
Я говорю сегодня не на русском,  
На новом — аппаратном языке.  
А мой язык становится латынью.  
Он умирает, и, прощаясь с ним,  
Сознание свое располвиню  
И сохраню ненужную святыню,  
Как сохранил свои догматы Рим.*

≡

*Горячим куешь ты железо,  
В полях ли ты сеешь рожь,  
Освой ремесло хлебореза,  
И с ним ты не пропадешь.*

*В России частенько бывает,  
Что вдруг человек пропадет,  
Да так, что следов не найти.  
А где же он?*

*Кто его знает.*

*Работает, пьет, погибает —  
Неисповедимы пути.  
Быть может, от чувства простора  
Придется хлебнуть приговора,  
И будешь ты, мать-перемать,  
Развеивать сумрак болотный,  
В степи бесконечной Голодной  
великий канал прорывать.*



А будущность, как степь, голым-гола.  
А настоящее — без дна корзина.  
Но ты не хочешь так, полдневный гость.  
Ты хочешь веры и зарплату твердой  
В стране, где прошлый день, как рыба кость,  
Дерет полузадушенное горло.

ВОТ Я...

Вот я — дымок, что тает над землей,  
Над партиями, тюрьмами, портами,  
Над зеками, над зельем и золой.  
Над сомкнутыми веками и ртами,  
Над мусором, над кровью, над трубой,  
Что исторгает нечистоты в реку.  
Над глушостью и ложью, над собой —  
Пародией на богочеловека.  
Колечко дыма, искорка огня —  
Сейчас исчезну в космосе зловещем...  
Дымку другому отпшите вещи  
Мои, когда вы хватитесь меня...

#### ВЯЧЕСЛАВ САРКИСЯН

Пролетит одинокая птица,  
Звук рассеется в небе пустом.  
И минувшее не возвратится  
Ни сейчас, ни в каком-то потом.

И на той, и на этой неделе  
Над моею деревней родной  
Я не видел, чтоб птицы летели,  
И не слышал, чтоб шли стороной.

И невольная дума закралась,  
Что бессмысленно  
в небо глядеть.  
То ли птиц на земле не осталось,  
То ли некуда стало лететь.

#### БОРИС ВИКТОРОВ

##### ПОД ОДНИМ НЕБОМ

Семеро. Через Ию  
идем по мосткам качающимся, как зыбка,  
макуху скармиваем стреноженному коню,  
стрекозы в цыпках.

Семеро. Под одним  
небом, как мешковина, пористым, рваным,



где-то на свалке загородной стоим,  
живем — на равных.

Семеро. Под одной  
крышей сарая  
ждем, когда кончится дождь грибной,  
добрые, точно в преддверье рая.

Четверо... У стены  
дома — уже покинутого отчасти —  
молчим, не помним своей вины.  
Разлукой воздух стреножен, сны  
трефовой масти.

Глазницы окон черны, когда  
судьба нас, будто случайно,  
сводит.

И нашей молодости звезда  
в Иню, как девка шальная,  
сходит!

Недвижны села на берегах.  
И только ставень

в немых потемках  
взгляд останавливает, как взмах  
руки, в замедленной кино съемке.

Напрасно прячется от меня  
звезда единственная над речкой  
во лбу отпущенника-коня —  
мы разлучаемся... И навечно.

Пойми, я все-таки среди тех,  
кто, не раздумывая, рванется  
на скорбный зов  
и счастливый смех!..

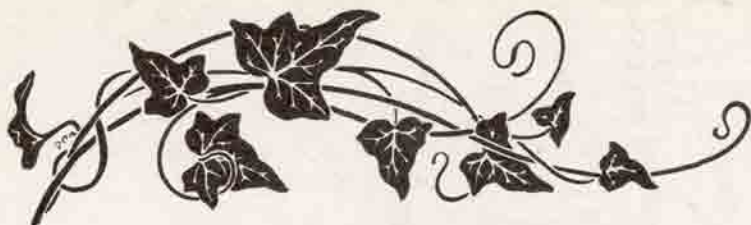
И не вернется.

## **ВЛАДИМИР ГРЕВЦЕВ**

### **АНКЕТА**

Хоть и белых достаточно пятен,  
Хоть и многое кровь залила,  
Ход истории в целом понятен  
По прочтении Карамзина.

Но способен ли кто-то на свете  
Внятно жизнь-одиночку прочесть?  
Между строчек в обычной анкете  
Слишком черные пропасти есть.



**«— А я хочу задать  
здесь вопрос:  
кто это стал  
прививать к галерее  
Павла Михайловича  
сифилис?..»**

...а в конце концов произошло то, чего никто не ожидал.

Рубеж столетий не беден был в России пророками, но социальные сдвиги предсказать оказалось проще, чем эстетические.

Да и кому пришло бы тогда в голову предугадывать, что группа молодых, безвестных русских художников начнет собою эпоху, известную теперь в истории культуры как баснословная пора «Мира искусства», а, иссякнув сама, продолжена она будет ею же рожденными течениями — борющимися, спорящими, утверждавшими и отрицавшими, но так или иначе определившими эстетическое лицо нового века? Короткую эту пору многие склонны именовать решительно — русским Ренессансом. Другим излишне дерзким кажется такое сравнение. Так что подумать есть о чем.

Подобно итальянскому Возрождению эпоха «Мира искусства», конечно, «не породила титанов», равных Леонардо, Рафаэлю, Микеланджело или Тициану. Не обладали «мирискусники» столь мощными индивидуальными дарованиями, взяли они другим — неустойчивой преданностью культуре и ясным осознанием неизбежности новых, сугубо эстетических критериев живописи. Но так ли, иначе, оказался «Мир искусства» истоком всего, что за ним последовало.

Впрочем, утверждать изначальность нового искусства России как усилие только этого, пусть, по выражению современника, и «гениального коллектива» молодых художников — Александра Бенуа, Серова, Сомова, К. Коровина, Бакста, Головина, Добужинского, Билибина, Лансере, Малявина, Рериха, других, а в их числе, быть может, и одним из первых — не художника по

# ЭПИЛОГ ИЛИ ПРОЛОГ?

**АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ**

профессии Сергея Дягилева, впоследствии всемирно прославившегося на других поприщах, но оказавшегося тогда для «Мира искусства» тем, кем Стасов был для передвижников, — утверждать это категорично было бы несправедливостью, ибо начинали «мирискусники» не на пустом месте. Им предстояло как бы распахнуть уже приоткрывавшуюся дверь. Но логике вопреки их предшественники оказались в среде тех, с кем и пришлось им бороться.

Были это молодые передвижники — Левитан, Серов, К. Коровин, Нестеров и гениальный одиночка Врубель. На приоткрывавшуюся эту «дверь», но перегородившую, по сути дела, две эпохи отечественного искусства, навалились уже и могучие таланты двух передвижников старшего поколения — Репин и Суриков. Ситуация, однако, не так запутана, как может показаться на первый взгляд. Стоит лишь взглянуть на то, что происходило тогда в русском искусстве и куда уходят корни будущих свершений.

Во времена Брюллова и «академиков» само собой разумелось, что только античные темы и сюжеты достойны внимания истинного художника. Бунт подняли, а в сущности, настоящую революцию в русском искусстве начали передвижники во главе с человеком, хотя и не державшим в руках кисти, но влюбленным во все исконное, национальное, русское, и несравненным к тому же златоустом — Владимиром Васильевичем Стасовым. Могучий его темперамент, сила аргументов были неотразимы: «Хватит с нас Харонов, олимпийских игр, средиземноморских пиний и прочей иностранщины; нам нужна «правда природы»,





а это значит, мы хотим видеть самих себя и своих современников!»

Исход битвы predetermined был самой, как сказали бы теперь, «постановкой вопроса». Передвижники одержали триумфальную победу. Но заметим одну весьма существенную деталь: спор между передвижниками и «академиками» шел лишь о том, ЧТО писать. КАК писать — споров не вызывало, само собой разумелось, что написанное на холсте должно быть похоже на объект природы, с которого писалось, и чем точнее, тем лучше. Вопросу КАК не пришло еще время. Придет оно позже — когда в роли «академиков» окажутся сами передвижники, когда, одолев замшелую «академию», бунтари сами начнут закисать в собственном соку: исторический жанр станет отдавать бутафорией, бытовые сцены — походить на анекдот, а психологизм портретов, лиризм пейзажей будут теряться и гибнуть под унылой, скучной живописью. Посетители передвижных, привыкшие, что только и света в окошке — от наших «разоблачителей» со званиями академиков живописи, начнут замечать, что академиков считают уже джужинами. Не в том дело, что славная когорта, поднявшая целый пласт народной жизни, оскудела талантами, — талантов хватало; недоставало культуры. Драма зрела изнутри: устав от разоблачений, от «бичеваний нравов», передвижничество выдохлось. Мордастые жандармы, тупые чиновники, плотолюбивые настоятели, подвыпившие чиновники, курсистки и студенты с праведным гневом в очах все решительнее вытесняли из картин живопись. Холсты большинства передвижников стали походить на агитационные плакаты<sup>1</sup>, только очень тускло написанные. Неукоснительное требование «сюжетности» оборачивалось грубой тенденциозностью. Художники становились кем угодно — повествователями, публицистами, судьями, — только не живописцами. Искусство теряло красоту. Пыльным, нарочито мрачным колоритом, «чернотой и слякотью живописи» художники точно хотели убедить зрителей, что главное в картине не живопись, а социальность, и задача искусства — решать утилитарные проблемы времени. Кто думал тогда, что далеко, ох как далеко заведет эта дорожка? Позже, в тридцатые уже годы нашего века, но из старых тех зерен проклонется сначала малопонятная завязь — «национальное по форме и социалистическое по содержанию», а потом созреет и убийственный плод — «живопись — одно из средств классовой борьбы»... В диковинку и дико, конечно, уразуметь этакое-то зрителю, не помнящему выставочных наших залов 30—50-х годов, но пусть снимет он с полки любой изданный в те времена альбомчик по современному нашему искусству и убедится, что странный этот пассаж не сиюминутная прихоть автора, а неизбежность аналогий, которые просятся под перо, применительно

<sup>1</sup> Любопытно, что по тем временам слово «плакат» означало лишь паспорт для людей податного сословия. «АГИТАЦИЯ — народные или сословные смуты, подговоры, наущения и волнение, тревога. АГИТАТОР — волнователь, подстрекатель, смутчик, зачинщик мятежа» (В. Даль).

уже ко дням нынешним. К тому я об этом говорю, что и тогда в стане самых правых передвижников происходило, в сущности, то, что у нас обозначается сегодня привычным и — благодаря названию известной статьи — расхожим словосочетанием «не могу поступаться принципами». Поверьте, совсем нет у меня охоты лезть на рожон, да, видимо, не обойдешь... Да, да, дорогой читатель, перестройка, самая настоящая перестройка началась и вершилась тогда в отечественном нашем искусстве!

В конце 80-х стали появляться «первые ласточки надвигающейся художественной весны»<sup>2</sup>. Старое иссякло, одрахлоло, выдохлось, но без боя отойти и не позволяли эти самые «принципы».

Как не вспомнить здесь столетней давности эпизод, когда в 1889 году, когда явилась на московской передвижной «Девушка, освещенная солнцем» Серова. Такой прозрачности воздуха, трепетных таких рефлексов и физически почти ощущаемой жизненности не знала еще русская живопись. Все казалось здесь настолько непривычным, что должно было шокировать зрителя, десятилетиями приученного к иной палитре. Только поразительное эстетическое чутье П. М. Третьякова было причиной, что с выставки картина переехала в его галерею. Как и водилось, после каждой передвижной и по поводу приобретений давал Третьяков обед художникам. На этом с бокалом в руке поднялся академик живописи Владимир Егорович Маковский:

— А вот и хочу задать здесь вопрос: кто это стал прививать к галерее Павла Михайловича сифилис? Как можно назвать иначе появление в его галерее такой, с позволения сказать, картины, как портрет девушки, освещенной солнцем? Это же не живопись — это сифилис!..

Скандалная выходка отживающего век академика сошла бы, возможно, и незамеченной, да приспело время вопросу, обойденному когда-то в борьбе передвижников с «академиками» прежними. Теперь выходило, не обойти его и не объехать: КАК писать — оказалось вопросом не менее значительным, чем ЧТО писать. Здесь и нашла коса на камень.

Событие это имело продолжение, которое нужно датировать 1898 годом — Выставкой русских и финляндских художников, устроенной группой Дягилева, но в первую очередь его собственными, конечно, трудами. И тут к месту будет не упустить, что по части устройства выставок не было Дягилеву равных ни в России, ни в Европе; Америка же по таким делам пребывала тогда в младенчестве. Да и сегодня первоклассные мастера этого дела — и дома, и «там» — штудируют уроки Дягилева с несомненной для себя пользой. Именно Дягилев первым стал рассматривать выставку как «художественное произведение». Неведомое до тех пор искусство экспозиции с блеском продемонстрировал он на выставке 1898 года.

Но впечатление разорвавшейся бомбы произвела она не столько устройством самой экспозиции, а тем, что картины большинства экспонентов вызвали шок у староверов и до белого каления довели матерых охранителей «принципов».

<sup>2</sup> Выражение И. Э. Грабаря.





Стасов не выбирал выражений. Предпочитая дискуссиям приговор и сразу же припечатав Дягилеву ярлык «декадентского старосты», на этих самых «декадентов» обрушил Владимир Васильевич камнепад несравненного своего красноречия. Под горячую руку досталось даже любимому им Решину: во-первых, за участие в этой выставке «новоявленных юродствующих художников», «кого из русских, а кого из финляндцев, все по декадентской части», а во-вторых, и всего более, за проповедь «искусства для искусства», которой, по убеждению критика, маститый художник начал «гонение на «сюжет», на «содержание» в картинах», что и привело, как утверждал Стасов, к вселенскому этому позору. Впрочем, своими словами пересказать Стасова невозможно — буду цитировать, и надеюсь, не без пользы, по части исторических аналогий.

«Взглянем с одного конца выставки до другого, — пишет Стасов, — поищем глазами, чему дано первое, главное место в зале?.. Это — картина г. Врубеля, озаглавленная — «Утро. Декоративное панно»... Но ведь тут нет не только признака какого-нибудь «утра», но также и тени какой-нибудь «декоративности». От начала и до конца тут нет ничего, кроме сплошного безумия и безобразия, антихудожественности и отталкивательности (вот ведь словцо завернул Владимир Васильевич, ну да чего не случается в западе!). Кому, — продолжает критик, — этот невероятный вздор нужен? Но нет, под картиной стоит билетик: «продано». Как это поразительно! И есть на свете такие несчастные люди, которые могут сочувствовать этому сумасшедшему бреду, намерены приютить его в залах, в комнатах, пожалуй, в музеях? Изумительно!»

И впрямь, читатель, «изумительно». Не знаю, нуждался ли тогда авторитет маститого критика в поддержке, но таковая имела, как говорится, место в лице — кого бы вы думали? — самого М. Горького!

По недавним еще временам если и не запрещалось, то, скажем так, не рекомендовалось об этом вспоминать. Не вспоминали бы, признаться, и мы, когда бы к характеристике художественных вкусов эпохи, а следовательно, и к теме нашей отклик знаменитого писателя не имел прямого отношения. «О новое искусство, — писал Горький в «Беглых заметках», — ведаешь ли ты, что творишь? Едва ли. По крайней мере, М. Врубель, один из твоих адептов, очевидно не ведает. По сей причине он пишет деревянные картины, плохо подражая в них византийской иконописи...»

На совести писателя оставим бесспорный тот факт, что византийской-то иконописи видеть Горький тогда не мог, а что до русской, то и это сравнение, мягко говоря, изрядно хромает... Ну да речь не об этом. И не о том даже, что несколько картин молодых «мирискусников», Сомова и Бенуа, также подвергнуты были дружному осмеянию. Господствующее мнение было и мнением господствующих. Но главные баталии были впереди.

События между тем развивались быстро и бурно. Уже в следующем, 1899 году «декадентский староста» и возмутитель спокойствия Дягилев ставит новый грандиозный спектакль — ор-



ганизует Первую международную выставку журнала «Мир искусства» (о журнале речь впереди). Примечательно, что было это и первое групповое выступление «мирискусников». Участие приняли в ней и сорок два европейских живописца и среди них звезды первой величины — П. де Шаван, Бёклин, Дега, К. Моне, Ренуар. Предположить, что само по себе это событие выдающееся, конечно, нетрудно — русская публика да и большинство отечественных наших художников впервые познакомились с разнообразием художественных течений эпохи, но... Как вы думаете, назвал Стасов статью, ему посвященную? Очень просто, со вкусом назвал и, как говорится, без нюансов — «Подворье прокаженных». А начал еще хлестче, честно сказать — мастерски: «На всех афишах и на множестве каталогов стоит у нас теперь: «Первая международная выставка». Ах, какой ужас! Неужели и в самом деле эта выставка будет первая и не последняя?..» И пошел, пошел отчаянно, со страстью, с присущим ему только темпераментом и остроумием крушить Владимир Васильевич «декадентов», особенно «из иностранных», которые «по части глупости и нелепости хотят эту самую инфлуэнцу пересадить к нам!».

Нет, не правы мы были, обмолвившись выше, что Стасов не выбирал выражений — выбирал: все-таки у него «инфлуэнца», а не «сифилис», и на том, как говорится, спасибо. А что до выражений «подворье прокаженных», «пачкуны», «нищие духом», то ведь лексикон-то удивительно знакомый — из нашего с вами, читатель, недавнего прошлого! На памяти еще и знаменитый хрущевский разгром «Манежа», и совсем свеженький «бульдозерный» финал выставки молодых. А? В поисках аналогий ходить, как видите, далеко не надо.

Любопытнее, пожалуй, другое — как оборонялись «мирискусники» от наседавших справа и слева недругов? За словом в карман они, понятно, не лезли, а тон дискуссий диктовался моральным уровнем атакующих. Стасову Дягилев отвечал — сначала любезным письмом, потом корректной статьей, но которую так и не удалось пристроить ни в одну газету, и от Стасова Дягилев, что называется, отступился, понимая, конечно, что в конце концов критик отстаивает то, чему отдал жизнь. Но что было делать, когда в атаку на «Мир искусства» ринулись не лучшей репутации газетчики во главе с тоже знаменитым (в своем, конечно, роде) Бурениным из суворинского «Нового времени», тем самым Бурениным, который, по словам И. Э. Грабаря, «просто как извозчик ругается площадными словами, называет людей идиотами и черт знает еще чем»? Как поступить, когда, кроме несусветной ругани, появляются на газетных полосах обвинения в «присвоении денег» — как поступить с этим, когда время дуэлей миновало? Слово современнику:

«В пятницу на страстной неделе появился особенно «завывающий» фельетон Буренина, а в ночь на светлый праздник (17 апреля 1899 г.), перед самой заутреней, Дягилев и Философов (один из редакторов «Мира искусства») посетили квартиру Буренина — отнюдь не для пасхальных поздравлений... Коротко объяснив вышедшему хозяину цель визита, Дягилев бывшим



у него в руке цилиндром нанес ему по физиономии вразумляющий удар, и затем оба посетителя спокойно удалились под крики и ругань бесновавшегося на площадке лестницы Буренина (...) Интересно, что с тех пор в буквальном смысле «как рукой сняло»: все нападки вдруг прекратились, и Буренин точно забыл о существовании «Мира искусства»<sup>3</sup>.

Тем «дискуссия» и закончилась. Но, согласитесь, не всякого же недруга следует «вразумлять» посредством цилиндра. Словом, наступило время, когда, как вспомнит позднее Бенуа, «надлежало не столько показывать свое искусство, но и комментировать его, иметь кафедру для толкования и пропаганды, просвещать отсталых, бороться со всякой художественной ересью». Речь, конечно, идет о знаменитом журнале «Мир искусства».

Выходу первого номера предшествовало несколько блестящих, но невидимых миру лет, когда сколачивалось содружество, прогрессившее потом под именем «Мира искусства». В не слишком просторной петербургской квартире Александра Бенуа, но с множеством старинных картин на стенах, гравюрами и уврачами на столах и диванах собирались вечерами гимназисты и студенты, которых, несмотря на индивидуальность дарований каждого, объединяло, кроме возраста, пожалуй, только одно — неистовая влюбленность в искусство. Не было у этой группы никакой, как сказали бы теперь, «конструктивной программы» — только преданность культуре, понимаемой ими как единственная форма человеческого существования. Именно здесь, на этой основе закладывался фундамент всему, что затем последовало, — принципы и эстетика будущего «Мира искусства». Вот — для примера — темы только некоторых докладов, которые готовили, чтобы читать друг другу, члены кружка: Бенуа прочел целый цикл «Характеристика великих мастеров живописи» — жизнеописание Дюрера, Гольбейна, Кранаха, «Живопись Франции»; Бакст читал «Русскую живопись»; другие участники кружка — «Искусство Бердслея», «Александр I и его время», «Тургенев и его время», «Верования в загробную жизнь у разных народов», «Историю оперы»...

Широта интересов кружка говорит о том, что деятельность, к которой участники его готовили себя исподволь, тем не менее осознавалась ими возможной исключительно на основе познания высших достижений мировой культуры. А между тем на этих вечерах рождался совершенно новый тип художника, художника, которого не связывают узкие цеховые интересы и который в эпохах, стилях, истории, наконец, чувствует себя как рыба в воде и крепко, на высоком профессиональном уровне знает другие области культуры — музыку, театр, философию, литературу (отсюда, кстати сказать, после долгих вариантов и споров, явилось столь многозначительное и точное название самой группы и ее журнала). Именно такой тип художника необходим был времени, о котором Бенуа скажет впоследствии: «Расшатаны религии, философские системы разбиваются друг

<sup>3</sup> Перцов П. П. Литературные воспоминания. М.-Л., 1933, с. 302—303.




о друга, и в этом чудовищном смятении у нас остается один абсолют, одно безусловное божественное откровение — это красота».

Такое признание одного из лидеров содружества вмещает многое. Подобно тому, как не могла эпоха Тютчева и Фета родить Блока, так и «Мир искусства» не мог явиться ни раньше, ни позже времени своего рождения. Время было наполнено предчувствием заката культуры, теснимо наступлением цивилизации. Цивилизация вырождалась в буржуазность, стремление к удобствам и благам перевешивало все духовное: патриархальная Москва избывалась фабриками, изысканность и аристократизм «града Петрова» погибли от делячества и торгашеской энергии нуворишей. Словом, гармония природы и человека — как ее части — рушилась под натиском утилитарного века, красота из реальности становилась воспоминанием... И час пробил. «Теперь издание журнала представлялось уже необходимостью, — писал Бенуа, — ибо надлежало не столько показывать свое искусство, но и комментировать его, иметь кафедру для толкования и пропаганды, просвещать отсталых, бороться со всякой художественной ересью».

В истории русской и мировой культуры издание журнала «Мир искусства» — событие особое. Спустя десятилетия мы вправе утверждать, что при всем богатстве, даже роскоши западной периодики по искусству в то время, а скажем прямо — и теперь, не достигает она той изысканности, чистоты стиля, совершенства вкуса и широты проблем, которые в начале века преподал русский «Мир искусства». Художественный отдел, оставаясь, конечно, главным, не теснил, однако, постоянно появлявшихся в журнале статей о великих представителях мировой культуры — Пушкине, Толстом, Достоевском, Вагнере. Обращение к вечному, непреходящему тотчас привлекло к участию в журнале цвет русской творческой интеллигенции, не отличавшейся, как известно, единомыслием, но единой в осознании неизбежности перемен. В число ведущих авторов «Мира искусства» явилась и такая одинокая, неприкаянная, ни в какие эстетические и философские рамки не помещавшаяся фигура, как В. В. Розанов... Журнал жил по принципу, сформулированному Александром Бенуа: «Таланты всех направлений, соединяйтесь!» Словом, теория и практика содружества шли по одному пути и развивались логично. Но логика не исключает, однако, парадоксов, и потому, быть может, история «Мира искусства» парадоксальна.

Парадоксальна она прежде всего потому, что результаты, которые и по сей день ощущает живопись XX века, отнюдь не ставили себе конечной целью те, кто стоял у истоков движения. Начав с «домашнего кружка самообразования», с последовавшей затем титанической работы по совершенствованию профессионального мастерства, издания беспримерного журнала и одновременно организации невиданных в художественной практике выставок, где на равных соседствовали «несовместимые» Врубель и Сомов, Малявин и Бакст, менее всего «мирискусники» думали, что этой своей деятельностью начинают великую





переоценку ценностей, за которой последует огромный качественный сдвиг в истории русской и, как окажется, не только русской живописи. Не забираясь в теоретические дебри, но забегая немного вперед, поясним примером.

Такие — мирового масштаба — художественные явления, как творчество Кандинского и Малевича, которые, совершив переворот и основав в живописи собственные «религии», нельзя, конечно, выводить прямо из «Мира искусства». Но, прежде чем совершить свои «революции», и Кандинский, и Малевич должны были тем не менее воспринять главные эстетические постулаты «Мира искусства», хотя впоследствии они все более пытались постичь искусство умом, логикой, и лишив его тем самым таинства, в конечном счете они привели живопись к формуле, к знаку (об этом речь пойдет в последующих публикациях нашей рубрики). Теперь же самое время разобраться, в чем состоят эстетические принципы «Мира искусства», что вызвало их к жизни и почему такое огромное влияние оказали они на все последовавшие течения живописи нашего века. Для этого снова придется вернуться немного назад.

Точно обессилев в своих собственных возможностях, разуверившись в действительности собственных своих средств — цвета, линии, колорита, — в конце 80-х годов живопись призывает на помощь литературу. Со школьных лет «Проводы покойника» Перова толкуют (или трактуют?) нам с помощью поэмы «Мороз — Красный нос». Забывая о самих средствах живописи, в крайнем случае мы полагаем ее подспорьем литературному сюжету. Картину легко стало рассказывать словами, но мало кто понимал, что в этом и таится упадок, а затем и гибель живописи как самостоятельного искусства. Вот здесь — именно здесь! — сделали «мирискусники» первый свой шаг, в конце концов и приведший к созданию новой эстетики. Причина этого шага — ностальгия.

Пусть не смутит читателя категоричность суждения, потому что действительно была это ностальгия — прежде всего по красоте, в гегелевском ее понимании — как приближении к совершенству и одновременно с позиций Канта — как то, что цель красоты есть чистое наслаждение. Но главным все же была для «мирискусников» ностальгия по самостийности живописи, по самобытному ее голосу, языку, средствам — тому единственному, что и способно полностью обособить ее от литературы. А ведь именно с этого эстетического постулата начинали едва ли не все последовавшие за ними течения изобразительного искусства<sup>4</sup>.

Не станем, впрочем, утверждать, что были это открытия исключительно художников «Мира искусства», — революционное свое дело совершили во Франции импрессионисты; в области формы и цвета делал уже свои открытия Сезанн (но уточним здесь очень важное и, кажется, не отмеченное еще нашими

<sup>4</sup> До того, конечно, предела, когда живопись отказывается от исконных своих средств и, переходя в иное качество, использует тряпичные лоскуты, фольгу, бумажные этикетки и пр.

исследователями обстоятельство: геометрические цветковые и тоновые переходы раньше Сезанна применил Врубель...).

Заслуга — и опять-таки парадокс! — «мирискусников» состоит в другом: чтобы идти вперед, они оглянулись назад, свежим, непредвзятым взглядом посмотрев на те эпохи русского искусства, которые утилитарными десятилетиями приведены были к забвению. Художественная практика оказалась в их деятельности не менее значительной, чем просветительская роль, ибо открытие и международное признание старого русского искусства — прямая и не до конца еще оцененная их заслуга.

Что знали мы о старом и древнем русском искусстве, что знал о нем мир? И хотя были у нас удивительные, но с запозданием великим понятие Левицкий и Рокотов, таинственный и загадочный Венецианов, блистательный виртуоз Кипренский, гениальный мученик Александр Иванов и, наконец, слоями веков, тяжелыми окладами упрятанное от глаз человеческих величайшее явление мировой культуры — русская иконопись, — имея все это, до конца XIX столетия варились мы в собственном соку, модели, как сырые дрова в печи, теряли память и, зная об искусстве европейском всё, собственное свое держали под спудом, как бы на пыльном чердаке культуры, полагая, должно быть, что «им» это не по уму и не по глазу. Выходило, что подковать блоху нам легче, чем уразуметь, что этюды Александра Иванова выше даже великой его картины, а полузабытые Рублев и Дионисий — в одном ряду с величайшими их итальянскими современниками.

Вот на что обернулись, что увидели и куда посмотреть заставили весь культурный мир художники «Мира искусства». Криво-толков не должна была вызывать и четкость их деклараций. «Все настоящее и будущее русского пластического искусства идет и пойдет отсюда и будет так или иначе питаться теми же заветами, которые «Мир искусства» воспринял от внимательного изучения великих русских мастеров», — писал Дягилев. Еще определеннее кредо «Мира искусства» выразил Бенуа: «Единственное, что есть на свете действительного, реального, — это прошлое...» За столь категоричные, «не в духе времени» заявления «мирискусникам» «инкриминировали» уход от насущных, так сказать... Имелся у них, однако, недвусмысленный ответ и на это: «Ни одно искусство, ни одной культурной страны, процветающей, воюющей, распадающейся не ищет своего содержания в политической или общественной злободневности...» По недавним нашим временам — статья. Но так как за высказывания об искусстве в России начала века в Сибирь не хаживали, убеждения оставалось обратиться в практику.

«Ретроспективными мечтателями» назвал «мирискусников» один современный им критик. Действительно, темы и сюжеты множества произведений художников «Мира искусства» восходят к XVIII столетию, но отнюдь не потому, что Петр или Елизавета милее им, чем последний российский император (кстати сказать, в трудное для журпала время щедро субсидировавший его из собственного капитала). Дело в том, что картины «мирискусников» из русской старины представляют собой,





в сущности, антитезу современному им миру, тому самому миру, в котором техника и промышленность начинали уже ломать границы разумного и когда алчное торгашество, стандартизация жизни, безмерный материализм превращались в самоцель. О чем же в таком мире должен мечтать, тосковать истинный художник? Не о том ли времени, когда человек жил в ладу с природой — не пасынком ее, а родным сыном? Разве не мечтаем, не тоскуем и мы сегодня о погибших временах чистых рек, не удушенных еще мертвым бетоном плотин?.. Выходит, опять не искусственной, не нарочито притянутой к нынешним дням будет аналогия, если в тонких, изысканных, романтических пейзажах художников «Мира искусства», где человек и природа пребывают в гармонии, но уже в ощущаемой хрупкости, в незащитности этой гармонии, если во всем этом углядим мы сегодня предчувствие ими экологической беды, хотя само это слово не из их, а из нашего, к несчастью, лексикона... Так как же после этого понимать термин «ретроспективные мечтатели» — упреком ли?

На этих страницах видите вы одну из жемчужин русской живописи — «Даму в голубом» кисти К. Сомова. Это портрет его современницы — художницы Елизаветы Мартыновой. Но назвать его только портретом — значит ограничить и обеднить смысл произведения, ибо, кроме глубокого, тонкого психологизма, совершенства композиции, изысканности колорита, вмещает он в себя философию, мировоззрение художника и, наконец, понимание безмерных возможностей живописи как искусства — всего того, что особенно характерно для художников этого круга. Не случайно и не ради оригинальности одевает мастер свою современницу в костюм XVIII столетия, дает в руки томик в старинном переплете и помещает — нет, **вписывает!** — фигуру в элегический пейзаж ушедшего в Лету века. В совершенстве, в завершенности гармонической этой красоты можно увидеть — опять-таки ностальгическое — предчувствие конца. Но при этом пронизывающая картину ностальгия по красоте и гармонии именно теперь — в «механический» наш век — приобретает смысл исцеляющей силы. Кажется даже, что сегодня, когда с погибающей на глазах природой связывает нас всего лишь тончайшая, вот-вот готовая оборваться нить, именно сегодня мощнее и пронзительней звучит тема, которую так поразительно смог расслышать художник во времена, еще связанные корнями с исконным ладом человека и мира.

Словом, хочу я сказать, что «ретроспективизм», «историзм», которыми костили художников «Мира искусства» в их годы, а во времена наших уже поколения тем же самым тщились насыпать безымянный холмик, скрывший бы и память о них, обретают, как теперь очевидно, иной и вовсе не «ругательный» смысл, понимаемый так, что здесь и была не слабость, но сила художников «Мира искусства»... Доверимся, впрочем, собственным глазам и чувствам, приняв, однако, во внимание и то, что истина познается не только в споре, но и в сравнении.

Не нужно, я думаю, напоминать читателю известную картину Николая Ге, изображающую Петра и царевича Алексея. При



всей драматичности сюжета (известного нам по учебникам истории), при всей «натуральности» костюмов и обстановки (знакомых по этнографическим экспозициям) картина эта скорее подходит все-таки на сцену исторической пьесы, как бы остановленную художником с помощью красок и кисти. Картину легко пересказать словами, что охотно и делают экскурсоводы Третьяковской галереи. Но посмотрите на репродукции картин, помещенные на наших страницах, и согласитесь, что о переломной этой эпохе русской истории куда более сильное впечатление дают небольшие по размеру темперы Е. Лансере «Петербург начала XVIII века», «Корабли Петра Великого» и, конечно, «Петр I на берегу» В. Серова. Ветер, воздух, тревожная, напряженная пустынность пространства и совсем «ненатуральные» волны Невы дают почти физическое ощущение могучего, даже свистящего какого-то дыхания эпохи — все то, на что способна только живопись и только ее — живописные — средства... В этом еще один современный — и своевременный — урок прошедшей эпохи «Мира искусства». Еще один, но не последний.

Прозорливый критик тех лет заметил, что одно из главных значений «Мира искусства» «заключалось в стремлении к абсолютному художественному совершенству». Действительно, никогда еще русская живопись не блистала таким отточенным и разнообразным мастерством. «Мирискусники» как бы наложили вето на неряшливую живопись, на неточный, «примерный» рисунок. Но столь же решительно изгнали они и бездуховную иллюзорность. Для некоторых наших современников эти уроки не прошли даром, но далеко не всем пошли они впрок. В последнем мы убеждаемся едва ли не на каждой очередной выставке современного искусства.

От картин многих, даже талантливых, художников остается впечатление, что их авторам просто некогда, так торопятся они «самовыразиться», а элементарную эту неряшливость живописи благосклонные критики объясняют «избытком темперамента». Есть и иная крайность, свойственная другому крылу современных художников, — стремление к столь привлекательной неискусственному зрителю иллюзорности. Несмотря на тщательно выписанные ордена на мундире космонавта и недельную щетину на щеках ветерана, кажется, что, кроме этого, художнику нечего сказать, а присмотревшись, замечаешь, что сухо мундира он пишет столь же «вдохновенно», как и лицо живого человека. Да простится нам здесь эксперимент, тем более что сделаем мы его мысленно: снимем орден-другой с мундира космонавта, «побреем» старика — и ничего, ровным счетом ничего не изменится в картине, которая, если присмотреться, представляется огромным слайдом, вставленным в раму... А между тем законы истинной живописи предполагают, что за картиной зритель должен видеть ее автора. Нелестное, прямо скажем, создается у него впечатление, а если по соседству окажется еще и автопортрет художника, то впечатление обернется убеждением, и «разоблачение» неминуемо. Зритель увидит, что, как ни старался художник изобразить в своем лице Артиста, Творца, из золоченой рамы смотрит надменный, высокомерный, благополучный,



самодовольный и довольный собой, холодный человек с палитрой и кистями в руках, одетый, конечно, в блузу маэстро, но, мысленно заменив ее мундиром швейцара, не нарушим мы ни цветового строя, ни композиции, ни самого образа человека, для которого искусство — ремесло. Остается только уразуметь, что автором и «Космонавта», и «Ветерана» должен был быть не кто иной, а этот ремесленник — «без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви»... Да, искусство не прощает лжи и жестоко мстит за неискренность. Досадно только, что подобные «творения» слишком часто заполняют наши «манежи», «дворцы молодежи», а неискушенный зритель, принимая все это за чистую монету, довольствуется эрзацем искусства<sup>5</sup>.

Но после такого бесполезного, надеюсь, экскурса в дела современные стоит — сравнения ради — еще раз присмотреться к этому, хотя бы, портрету поэта Михаила Кузмина кисти К. Сомова. Попробуйте изменить здесь одно цветное пятно, убрать или добавить маленькую деталь — все рухнет. Но, оставив на месте все созданное автором, увидите вы за портретом и самого художника — человека, преданного искусству, Мастера, тончайшего психолога, понимающего и любящего натуру. Все это, вместе взятое, и называется в искусстве совершенством.

Но пришло, кажется, время произнести сакраментальное: «Пора подводить итоги». Увы, читатель, говоря о «Мире искусства», сделать это невозможно по многим причинам. Прежде всего потому, что рамки нашей рубрики — «Живопись: XX век» — не вмещают темы о театрально-декорационном искусстве, а именно в этой области Коровин, Серов, Бенуа, Головин, Бакст, Добужинский, Рерих совершили то, что — без всяких оговорок — назвать следует революцией. Именно здесь достигли они вершин, на которые мировая культура не поднималась до них, не поднялась и сегодня. Рамки рубрики не позволяют сказать и о книжной графике «Мира искусства», но достаточно лишь вспомнить о непревзойденных иллюстрациях Бенуа к Пушкину и Достоевскому или Врубеля к Лермонтову, чтобы понять, что и эта тема требует отдельного и большого разговора.

Итоги подводить, как видите, рано. Не знаю, читатель, быть может, и впрямь «тянет» эта эпоха русской культуры, чтобы если и не назвать, то хотя бы сравнить ее с Возрождением?.. И все-таки думаю, стоит отказаться от застарелой привычки расставлять все по полочкам, а взять да и оставить каждому место для выбора. Бесспорным представляется, пожалуй, лишь то, что «Мир искусства» — одно из тех явлений культуры, масштабы которого увеличиваются по мере удаления. А поскольку множество последующих достижений искусства тянется к истокам его эпохи, то, быть может, не будет ошибкой предположить, что генезис и будущих достижений отыскивать придется в его же корнях. Как знать?.. Ведь мы так и не ответили на вопрос, поставленный в заголовок этих заметок: «Мир искусства» — эпизод или пролог?

<sup>5</sup> Автор дает собирательный образ художника наших дней, и в силу известного гротеска никто не должен принимать его на свой счет.



*К. Сомов. Дама в голубом.*



*В. Борисов-Мусатов. Водоём.*







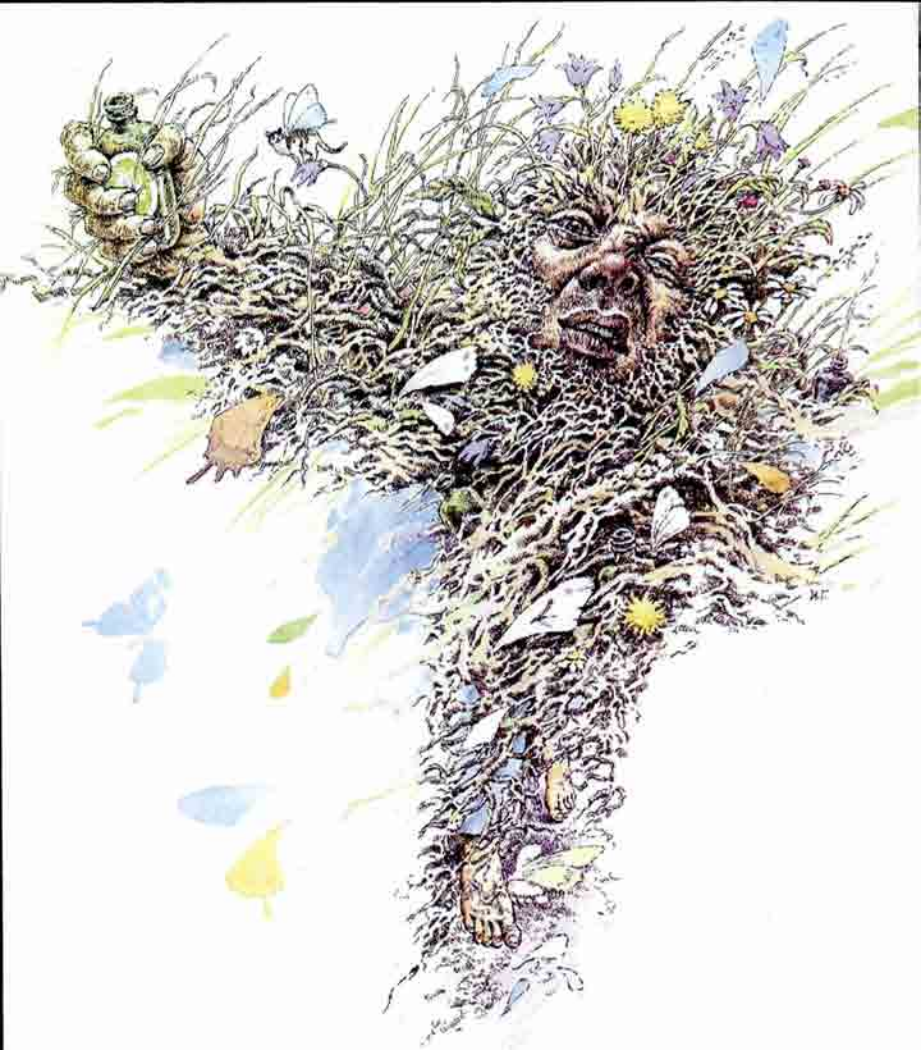
*Л. Бакст. Портрет Дягилева.*

*Е. Лансере. Прогулка.*





F. M. G. 1874



ТАТЬЯНА ГЛАДКИХ

# ЦВЕТЫ



— Он украл цветы России! Господи, он украл цветы России! Не кричите так, не страдайте! Цветы России украсть невозможно. Они никогда не исчезнут с земли: васильки и ромашки, и еще эти... такие красивые, на болоте растут... Кувшинчики! Нет, кажется, кувшинки — белые, пугливые... как птицы.

Чему я не птица? А? Чему не летаю?

— Ты будешь спать или нет?

Я буду спать... или нет. Зачем мне спать? Вся моя жизнь — сплошной прекрасный сон. Зачем один я его вижу? Я хочу, чтобы его видели все! Мне не жалко — пусть все будут счастливы. Сейчас... сейчас я его вам покажу. Вы засыпаете... Ваш мозг уже дремлет, сердце бьется спокойно и ровно. Уходят в сторону заботы... вон, вон они пошли, кикиморы на тонких ножках. Приятное тепло разливается по вашему телу. Вы засыпаете... Люк, ты засыпаете?

— Он украл цветы России!

Что он наделал? Куда теперь будут летать наши души? Они ведь у нас бабочки, ты что, Люк, не знал?

Ничего не знает... Я раз спросил его:

— Какая связь природы с теплотрассой?

Простейший тест на логику мышления. А Люк ответил:

— Природа шепчет: займи и выпей.

— В наш меркантильный век подобный номер не пройдет, — заверил я. Но я ошибся, и очень сильно: Люк где-то выпил. А ведь в карманах у него не было ни копейки. Да и самих карманов тоже: он прямо в пижаме сбежал с диспансера. В пижаме и в тапочках.

# РОССИИ

Люк — культурный человек. Он, как зашел к нам, у порога скинул тапочки и босиком по красному ковру.

Бр-р-р! Меня тревожит красный цвет. Однажды ко мне поступил больной — давно, сто лет назад, а может, даже больше... Он был худой, почти не спал и непрерывно двигался. Он сознавал, что находится в сумасшедшем доме, но был вне пространства — жил везде и в бешеном движении мог обойти Вселенную за миг. Блуждая в ней, как в утреннем саду, он встретил красный цветок. То был цветок зла — он понял сразу. Цветок впитал в себя невинно пролитую кровь (от этого и красен), все слезы человечества. Сорвать его — и распадутся железные решетки, все, заточенные в безумном мире, выйдут на простор.

...А теперь обратите свой взор к небесам. Представьте, как в бездонном космосе оживают планеты. Вы почувствуете невесомость и легкость, вы летите, летите... а рядом мерцают светлые звездочки.

Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед, и только все вместе! Девиз первой звездочки. Только вперед: мы прорвемся к высотам, на которые не ступала нога человека. А кое-кого с собой не возьмем. Кто там, на задней парте, спит и ни бельмеса не соображает? Ну ничего, мы скоро отсеем его из нашего класса. Отсеем, отсеем песок и пустим по ветру.

Как вы не любите меня, как мучили! Но я не осуждаю вас, поверьте! Я понимаю: трудно любить того, чью голову путают с тестом. Я понимаю законы возникновения любви и нелюбви. В конце концов сама моя профессия своим существом обязана тому, что в мире есть любовь и нелюбовь.

Но вы меня поймите тоже... Я был бы рад не спать, но моя душа не успевала по утрам вернуться в тело. Я спал и видел сон, будто иду в цветах по пояс. А это был не сон — просто душа моя, покинув меня на ночь, улетала в луга — она ведь бабочка, а бабочки живут среди цветов. Ты тоже не знала этого, Варвара? Подходишь и молча тык мне пальцем в голову, как в тесто. Я просыпался резко и мгновенно, а ведь душа моя еще летала там...

В тот день цветы были покрыты инеем. Они замерзали. Они замерзали красиво, серебряные ризы надевали на себя — не то, что я; я замерзал по-свински, безобразно, как недокормленный паршивый поросенок. От холода и ветра нос у меня дал течь, я бесполезно пытался закрыть ее распухшей, красной ладонью — Варвара крупно сэкономила на мне на рукавицах. Ну, бог с ней, Люк... Зато теперь я тебя понимаю. Я понимаю, как тебе бывает холодно...

— Эй, Люк,— кричали ему,— расскажи, как тебя бульдозер прихлопнул.

— Дурак,— обижался Люк.— С бульдозера от меня одно мокрое место осталось бы. А там экскаватор был. Ковшичком — бух! И ку-ку... Рядом, слышь, стройка была. А на дворе холодина, погода шепчет: займи и выпей. Я с боем взял одну и в люк залез, чтобы культурно выпить.

Где-то наверху, на земле, шел мелкий, нудный дождь, там все не слава Богу: то дождик, то снег — а в колодце было тихо,

тепло. В домах уже включили отопление, по трубам текла, негромко журчала вода. Он прижался спиной к трубам и стал медленно согреваться.

...Приятное тепло разливается по вашему телу, вас ничто не тревожит. Глаза закрываются... Вы слышите музыку, тихую музыку, похожую на журчание лесного ручья...

— И вдруг сверху — ба-бах! Я подскочил: накрыли! А там, слышь, стройка была, и экскаватор работал. Мужик работу кончил и это... чтоб в грязь ковш не ставить — бах его на мой люк. Культурный, подлец. А уже вечер, пятница... Он в понедельник утречком приходит, ковш снял, а я оттуда — ползу, ползу, как Вася из канавы. И кругами, слышь, кругами поволокло меня по пустырю...

Все же связь природы с теплотрассой есть. Не отрицай, Люк, это глупо. Ты вспомни сам: зимой на крышках люка лежат бездомные собаки. Греются... Ты вспомни, Люк, какие там красивые деревья! Ведь это просто волшебство: как будто ты идешь в подводном царстве. От пара, струящегося из люков, деревья стали как кораллы, и ты идешь среди кораллов, а рядом — люки, люки... и на каждом из них по собаке. А однажды я видел: собака, а рядом с ней — представь себе — кошка! Сначала я подумал, что это маленькая собачка, вроде болонки — она была вся белая, за ночь инеем покрылась. А разглядел — да это кошка! Глаза зажмурила и спит. Собака смущенно так, виновато глядит на прохожих: простите, мол, люди добрые, что я под боком пригрела своего врага. Но вы поймайте меня тоже: она ж замерзла, как собака.

Фантастика! Люди, собаки, и тут же кошки, деревья-кораллы, и этот пар, струящийся из люков, как чье-то теплое дыхание — все едино, Люк, все едино!

Ты ощущал когда-нибудь дыхание единой жизни? Я ощущал. Сначала мне было холодно. Эх, Люк, если бы там поблизости был люк, я тоже залез бы в него. Но в краю, где прошло мое босякое детство, люков не было. А были просто колоды — глубокие-глубокие: камень бросишь, а он кругов не оставляет. И где-то там, в глубине, плавали палые листья — стояла осень. Я так замерз, что выронил портфель из рук, нагнулся за ним и увидел лежащую в траве бабочку. Она лежала боком, на крыле, и радужные пятна у нее были похожи на глаза. Я взял ее в руки и почувствовал, как вдруг стало жарко. Мне было так жаль ее, Люк, ты бы знал... Она ознобилась! Она ознобилась, моя душа, что не успела вернуться в тело. Она, наверное, искала меня, металась на этом холодном лугу и, может быть, даже плакала.

С тех пор мы стали с ней встречаться здесь. Она меня терпеливо поджидала, и всякий раз, когда я утром медленно шел мимо, душа возвращалась ко мне.

Уж много позже, в институте, когда я начал изучать психиатрию, я понял, что не ошибся: Психея по-гречески — «бабочка».

У нас был хороший профессор. В старом духе.

— Ты помнишь, Павел? — спросил я друга, пришедшего ко



мне в гости.— Помнишь, он все время говорил: «Спасая человека, вы приобретаете брата».

— Какое свинство,— сказал Павел.— Ты тут сидишь, ешь, пьешь, гостей встречаешь, а в это время твой ближайший родственник в вытрезвителе мается. А все сиротой прикидывался,— понесся он.— Одна Варвара, да и та, говорит, ведьма. А у самого этих братьев — через одного! Собирайся, едем за родственником!

— Да бросьте, не дурачьтесь,— засмеялась Света.— Вам все равно его не отдадут.

Как будто она не знала, на что способен наш друг.

Как мне нехорошо... И рвет меня, и мечет... Зачем я пил с ним? Я, видно, был в сильнейшей эмпатии \*. О, сколь загадочно такое состояние: как будто становишься другим иходишь в личный мир другого, как в свой собственный.

Входя в чужую душу, вытирайте ноги. Или снимайте обувь. Вон как Люк — зашел и у порога скинул тапочки. По красному ковру босиком; вслед за ним тянулись пыльные следы. Все озадаченно глядели на странный след босой узкой ступни, не понимая, в чем тут дело, и только Павел быстрее всех сообразил:

— На пыльных тропинках далеких планет

Останутся наши следы...

— А в вытрезвильке не метут,— накапал Люк,— вы чё, не верите?

Я верю, Люк, верю...

...караваны ракет

Промчатся вперед от звезды до звезды,

На пыльных витринах пустых магазинов

Останутся наши следы.

— Ха-ха,— любезно рассмеялся Люк. Мне кажется, ему у нас понравилось. Особенно кресло на маленьких быстрых колесах: Люк все кружился в нем, как на карусели.

— Ну, хватит,— сказал я,— голова закружиться может.

И он охотно согласился:

— Все может быть, все может статься, могу напиться и облежаться.

Никак опять две ванны вспомнил? Я сам его тогда спросил: «Что поразило вас больше всего? Вспомните...»

...Вспомните раннее утро, прозрачный туман над рекой. Помните, как медленно он поднимался? А вы лежали в траве и смотрели на небо, на плывущие облака... и душа замирала от чего-то, как легкрылая бабочка на соседнем цветке.

— А я как раз в гостинице был,— вспомнил Люк наконец.— Вот где красота! Кресла кругом. И еще этот... торшер. У меня там кореш жил, как с морей приплыл. Ну номер! — я тебе скажу... Там две ванны. Представляешь? Две ванны! И в одну из них я наблевал.

Тьфу, дьявол!

Лечилась у меня раз женщина. О, как она вспоминала! Как рассказывала!

\* Медицинский термин. Означает точное восприятие человеком внутреннего мира другого.

— Уже осень стояла, мы с матерью картошку копали. И вдруг она как закричит: «Люда, Люда, гляди — птицы летят!» Я подняла голову вверх, а надо мной ласточки, ласточки... Крутом одни ласточки.

Утки были потом... Как они появились?

— Постой,— крикнул я и кинулся в свой кабинет.

Я разыскал это письмо не без труда: сам его запрятал, чтобы реже попадалось на глаза; оно было написано таким огромным почерком, что из любого конца комнаты можно было прочесть на стиге таинственную фразу: «А некоторые превратились в диких и жили в камышах...»

— Читаю,— начал я без предисловий.

«Вам пишет Люда, помните сыночка к вам еще прислать хотела, да теперь уже все... Не знаю как отписать свое горе. Я уехала к вам на лечение, а Сеню моего расщчитали за пьянку, я ругала — все бесполезно. А как меня не стало, то он здесь связан был с дружкой одним Клопом так дражнят мужика, ему тридцать восемь лет имеет ребенка. Вот они поехали в поселок Ветка, устроились на работу. Сеня показал себя с хорошей стороны. Получил получку семьдесят рублей двадцать премиальных. И связался с какими-то мужиками они были уже на мази. Поехал с ними на речку пить или сам или помогли, но Сени моего уже нет...»

— Господи,— вздохнула жена.— И почему люди пьют?

— Потому что жидкое,— ответил Люк.— А было бы твердое — кусали...

«Его нашли, когда растаял снег, вот говорят еще один подснежник... А какой он был у меня маленький умный, вспоминаю и плачу, шесть месяцев было, стал говорить. Я его тогда к бабке в другую деревню водить носила, чтыре километра от нас, так выходила когда еще темно. Иду с ним по лесу, ночь крутом и только луна одна светится. Я ему говорю: смотри Сенечка вон луна. А он за мной: нуна, нуна...»

Свет ее такой прозрачный, нежный, как будто музыка играет. Так потихонечку в тебе: лу-на-а, лу-на-а... И серебристый смех в ответ: нуна...

«А как к бабке стала отдавать на всю неделю, так скучно мне без него, так скучно было собирюсь вечером да пойду к кому. А то бригадир у нас строгий мужчина был, ты говорит падла сколько будешь утром опаздывать, у нас каждая минута на счету, отдавай его круглосуточно к бабке.

Я ж тогда работала на строительстве, мы птичий инкубатор для уток строили, стены толстые два метра. Тогда везде мода такая пошла — птиц разводить, так торопились, быстрее штов. Все думали — утки в нашей речке сами будут корм добывать, а они чё-то не захотели сами себе добывать и началидохнуть. А тут еще дожди пошли, река разлилась и утки которые перетонули, а некоторые превратились в диких и жили в камышах...»

Они, наверно, тоже впади в эмпатию. Как я сейчас. В кого я превратился, в чей мир забрел? В чей странный причудливый мир?... Здесь главное — не потерять себя, успеть из него выйти... куда?

Плевать, я могу и в траву превратиться! О, вы меня еще не знаете! Я могу превратиться в музыку, звезды, луну!

— Жареную,— сказал сурово Павел.— Ты, кажется, маленько перебрал.

Ну, раз такое дело — продолжаю.

«...А некоторые превратились в диких и жили в камышах, наши мужики за ними с ружьем охотились. Теперь у нас в том инкубаторе больница, я из нее Сеню забирала когда замерз. Приехала за ним и плачу: сынок, сынок сама тебе эти стены делала. Стены толстые два метра. Он приезжал ко мне за неделю до смерти просил пять рублей пропить, я не дала, а сейчас все время каюсь. Он мне говорил: мама, ты перестала пить так сразу жадная стала...»

— Ой, мама, мама,— уронил Люк голову в тарелку.

А волосы совсем седые... как шерсть покрытой инеем собаки.

— А у меня вот матери не было,— обнял я его.— Она меня Варваре бросила, еще маленьким. А Варвара говорила: «Маленький-маленький, а жрет за четверых». Вот так-то, брат... У тебя есть мать?

«Мама, ты спишь,— запел в ответ Люк,— а тебя наряжают в черный, совсем незнакомый наряд...»

Я упивался этими словами, как слезами. Как будто я их уже слышал... как будто они во мне всю жизнь.

— Пой! — крикнул я, когда он замолчал.— Пой еще!

— Забыл,— посмотрел Люк на меня мутным взглядом.— Не помню, ничего дальше не помню...

— Там люди чужие...— откуда-то всплыло во мне. Я вспомнил! Я слышал уже:

Мама, ты спишь, а тебя наряжают

В черный, совсем незнакомый наряд.

Там люди чужие молитвы читают,

И свечи восковые тускло горят...

— Ой, как тускло,— обнимал я его.— Как стеклышки битые... Видел стеклышки?

— Видел. Давай вместе, сначала...

— Давай! Давай, брат ты мой, запоем, запечалимся... Мама-то спит, а? А ее наряжают в черный, совсем... совсем...

— Господи! — закричала жена.— Да он плачет! Смотри, он же плачет!

— Не бойся,— ответил ей Павел.— Это в нем водка плачет.

— Водка плачет? — стукнул я изо всех сил по столу.— Водка плачет! А почему она не смеется? Я тебя спрашиваю: почему она не смеется? Почему она у нас только плачет? Смейся! — заорал я.— Смейся, Люк! Ха-ха-ха! Больница в инкубаторе! Со смеху помрешь! Смейся! — схватил я Люка за ворот.— Смейся! Ну!

Тут я увидел, как он развернулся, и в тот же миг я полетел на пол. Люк сверху налетел и елозил меня по ковру, приговаривая:

— А вот тебе смейся! Вот тебе, вот тебе...

Чего это он так обиделся?

Я слышал крик жены, потом Павел рывком отодрал Люка от



меня и поволок за шиворот к двери; Люк напоследок получил пинок и вылетел за дверь...

— А этому — мокрое полотенце на голову.

Жена побежала в ванную и вдруг закричала отчаянным, полным страдания голосом:

— Он украл цветы России! Господи, он украл цветы России!

Люк скатился по ступенькам, держась за живот, чтобы не разбить. Вскочив на ноги, он ринулся было назад, но передумал. Да подавитесь вы своими тапочками! Босиком даже лучше — земля была теплой, пушистой: стояло лето, день и ночь летел на нее пух с тополей. Люк быстро вылетел на бульвар и понесся по нему, выкрикивая на ходу:

— Я тебе посмеюсь! Я тебе так посмеюсь...

— Эй,— окликнули из-за кустов,— Люк, что ли?

— Протри глаза,— ответил в кустах другой голос.— У Люка сроду не было пижамы. Спи, ночь на дворе.

А светло, все видать: скамейки, клумбы, кусты разросшихся акаций — в эту ночь полнолуние было.

Люк наконец остановился. Здесь его место — вот здесь, где сплетались ветвями березы, образуя у земли тенистый полог. Здесь и лежанка у него — из мягких листьев, трав и веток. На месте ли? На месте — нашарил он под листьями стакан. Набрал воды в колонке и вытащил из-под пижамы с майкой надежно спрятанный флакон. Там, в гостях, когда он зашел в ванную вымыть лицо, Люк даже охнул и на миг зажмурился: сколько сразу бутылочек и флаконов... Стоят, голубчики, как на параде. Он схватил первый, что бросился в глаза — с красивой яркой этикеткой. Зеленое поле, и на нем разноцветные пятнышки...

«Цветы России»,— прочел Люк при свете фонаря.

— Попробуем, что за цветы России,— пробормотал он, выливая духи в стакан. Пил не спеша — а ничего, приятный запах...

...Вы слышите запах цветущих полей и лесов. Свежий ветер доносит до вас аромат незабудки и тихий звон лесных колокольчиков. Синеющие во ржи васильки манят вас к себе, как родные глаза. Вся земля перед вами — «о светло-светло и украсно украшена»... — в сияющем светлом наряде цветов. Дышится свободно, легко. Вы полны сил, радости, счастья. Вы счастливы, счастливы... Вы засыпаете.

Прошлой осенью, будучи в низовьях Амура, я проезжала место под названием Белая Гора. Сейчас там, кроме горы, ничего и нет, а когда-то был поселок, где американская драга и старатели изводили «тысячи тонн» руды ради граммов валютного металла страны. Среди старателей были «спецпереселенцы», иначе говоря, раскулаченные и сосланные на высылки люди. В одной из таких семей и родилась Татьяна Гладких. Судьба распорядилась так, что разные приiski, где

добывали больше крови и слез, чем золота, стали единственным пейзажем детства, отрочества и юности Татьяны. Отцу, по специальности маркшейдеру, разрешалась только самая грубая и грязная работа, равно как и его жене.

Много лет, проведенных среди отверженных обществом людей, чьи корни были насильственно выдернуты из родной земли, воспитали в Тане особенное сострадание к человеку с обескровленной, поруганной душой. Она жила внутри этого мира и знала его не со стороны, не наблюдателем. Ее семья тоже была из рода первых русских поселенцев на Амуре, забайкальских казаков. Станица Поярково — их генетическая родина, «рассказаченная», как «рассказывались» в те годы станицы на Кубани и на Дону. Живая история рода должна была стать легендой, семейным преданием, чтобы помочь семье, гонимой с прииска на прииск, духовно выжить.

Когда Татьяна Gladких в «глухонемые» годы нашей недавней бытности принесла свои первые рассказы в одну из редакций, ей вернули их с краткой настороженной рецензией: «Выселками пахнет». Это правда. Та большая правда о стране, которая в эпоху «громкоговорителей» была вся «на выселках». Но не надо искать в рассказах Т. Gladких новых сенсаций и «жареных рябчиков». Ее правда другая, внешне тихая, неброская, даже застенчивая, как сама Татьяна. Но столько в ней истинно русской — Богородичной — жалости к «цветам России», растоптанным и все-таки не до смерти убитым. Там, в сокровенной, незримой глазу глубине души жива, теплится искра Божья. Ради этого — чтобы выпестовать искру, заслонить от ветров материнством любящих рук — и пишет Татьяна свои кроткие, как полевые цветы, рассказы.

Она возвращает житейское — житийному, светное — вечному. Может быть, поэтому так любимы ею мотив и тема странничества русского человека, ибо и сама земля наша — странница. Жить, не стяжая тленное, вечное, но, как учил когда-то мудрец из Оптиной пустыни Амвросий, «мы должны жить на земле так, как колесо вертится — чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх...»

Рассказы Татьяны Gladких были одним из открытий 9-го Всесоюзного совещания молодых писателей, которое проходило в Москве весной 1989 года.

**АЛИНА ЧАДАЕВА**

# ЗНАКИ БЕДЫ

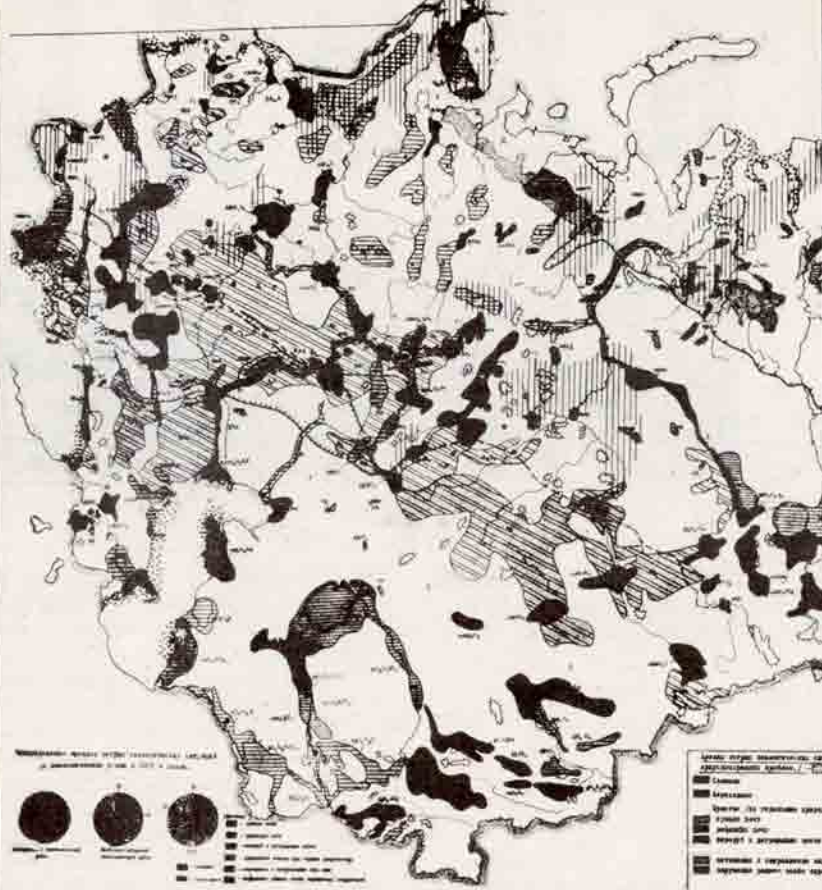
**ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ,**  
член-корреспондент АН СССР,  
народный депутат СССР

Разработанная нами карта «Острых экологических ситуаций» впервые наглядно показывает, насколько больна наша страна, к чему привело примитивное хозяйство, как сказались грубейшие просчеты в идеологии планирования, чего стоит недалекость правительства: деградация лесов, эрозия, истощение недр, загрязнение морей, вод, суши и атмосферы, дигрессия пастбищ, засоление, подтопление и химическое загрязнение почв, пыльные бури, кислые атмосферные осадки, оврагообразование, «черные земли», уменьшение рыбных запасов, экологические беженцы... И это повсеместно: на юге и севере, востоке и западе страны, переживающей не то последствия химической, не то геофизической войны.

На карте (ее разработчики — Б. Кочуров, А. Антипова, Т. Денисова, Н. Жеребцова) **показано око-**



1:8 000 000

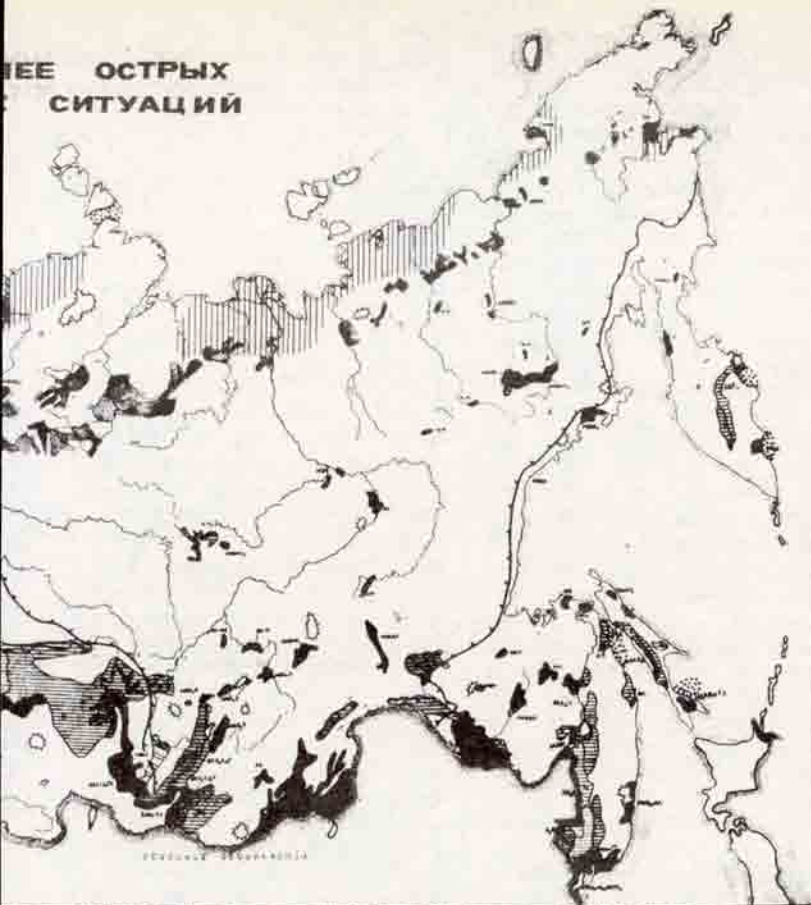


74

ло трехсот ареалов острых экологических ситуаций, занимающих площадь почти четыре миллиона квадратных километров (на которой разместятся Индия и Швеция), то есть чуть ли не пятая часть Союза, где проживает 26 процентов всего населения, или 39 процентов горожан! Можно уточнить: больше всего таких ареалов на Дальнем Востоке (61), в Западной Сибири (33), Вос-

точной Сибири (28) и на севере Европейской территории СССР (22). Но самые значительные по масштабам площади, экологически неблагоприятные, — в Казахской ССР (637 тысяч квадратных километров), в Средней Азии (400), в Восточной Сибири (523) и на Урале (326)... Весьма сложная обстановка в Молдавии, Южном экономическом районе.  
Да, сказанное слишком общо.

# ПРОБЛЕМЫ ОСТРЫХ СИТУАЦИЙ



РЕПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Символ	Описание проблемы
○	Зоны с острейшими проблемами экологии
△	Зоны с острейшими проблемами экологии
□	Зоны с острейшими проблемами экологии
■	Зоны с острейшими проблемами экологии
▨	Зоны с острейшими проблемами экологии
▩	Зоны с острейшими проблемами экологии
▧	Зоны с острейшими проблемами экологии
▦	Зоны с острейшими проблемами экологии
▥	Зоны с острейшими проблемами экологии
▤	Зоны с острейшими проблемами экологии
▣	Зоны с острейшими проблемами экологии
▢	Зоны с острейшими проблемами экологии
□	Зоны с острейшими проблемами экологии
■	Зоны с острейшими проблемами экологии
▟	Зоны с острейшими проблемами экологии
▞	Зоны с острейшими проблемами экологии
▝	Зоны с острейшими проблемами экологии
▜	Зоны с острейшими проблемами экологии
▛	Зоны с острейшими проблемами экологии
▚	Зоны с острейшими проблемами экологии
▙	Зоны с острейшими проблемами экологии
▘	Зоны с острейшими проблемами экологии
▗	Зоны с острейшими проблемами экологии
▖	Зоны с острейшими проблемами экологии
▕	Зоны с острейшими проблемами экологии
▔	Зоны с острейшими проблемами экологии
▓	Зоны с острейшими проблемами экологии
▒	Зоны с острейшими проблемами экологии
░	Зоны с острейшими проблемами экологии
▐	Зоны с острейшими проблемами экологии
▏	Зоны с острейшими проблемами экологии
▎	Зоны с острейшими проблемами экологии
▍	Зоны с острейшими проблемами экологии
▌	Зоны с острейшими проблемами экологии
▋	Зоны с острейшими проблемами экологии
▊	Зоны с острейшими проблемами экологии
▉	Зоны с острейшими проблемами экологии
█	Зоны с острейшими проблемами экологии
▇	Зоны с острейшими проблемами экологии
▆	Зоны с острейшими проблемами экологии
▅	Зоны с острейшими проблемами экологии
▄	Зоны с острейшими проблемами экологии
▃	Зоны с острейшими проблемами экологии
▂	Зоны с острейшими проблемами экологии
▁	Зоны с острейшими проблемами экологии
▀	Зоны с острейшими проблемами экологии

Но, согласитесь, каждый регион уникален и болен по-своему. Если экологические проблемы Донбасса, Кузбасса, промзоны Восточного Урала, Куйбышевского, Ферганского ареалов, Москвы и Ленинграда с их пригородами прежде всего порождены «грязными» промцентрами и весьма высокой плотностью населения, а проблемы Приаралья, Карелии, Прибайкалья, Северо-Восточной Сибири

вызваны истощением, утратой природных ресурсов (водных, лесных, биологических, земельных), то в Центральной черноземной области, Северном Казахстане, Калмыцкой АССР — это последствия преобразования природных условий: орошения, осушения и прочее. Где-то природная среда так изменилась, настолько велико отклонение от всех существующих норм, что там практически невозможно

нормально жить и работать. А где-то и вовсе **образовались** так называемые **зоны экологической катастрофы**, когда поправить что-либо нельзя. Печальный пример — Приаралье — тут истощены огромные площади орошаемых земель, водных ресурсов, отмечается высокая заболеваемость населения, словом, деградирует вся экосистема Арала (к этому близки Калмыкия и Волго-Ахтубинская пойма).

Взгляните на Север. Тоже одна из кровоточащих ран страны. Ведомственные подразделения, добывая нефть и газ, хозяйствуя как временщики, зашли настолько далеко в своем рвении, что практически подорвали легкоранимую природу Севера, разрушили уклад жизни коренного населения! Если не остановить этот ведомственный разбой, то окончательно разорим, уничтожим уникальную экосистему Севера. Право, подобные проблемы остаются и в тундре, и лесотундре, и в таежной зоне, и на целинных, залежных землях...

Что там говорить о хрупком Севере!

Ведомственные и госплановские стратеги, ссылаясь на «дефицит» ресурсов, «нужды» страны, готовы снести и сносят горные массивы, как это происходит в Крымской области, под Севастополем, или при строительстве ГЭС.

А много ли мы берем, скажем, из железных, марганцевых и хромовых руд? Извлекаем то, что на поверхности, что не требует особого ума, — сливки. Но сливки-то как раз в отвалах, которых уже столько скопилось, что впору вести их промразработку. Кстати, во Франции нет месторождений меди, серы, но страна, утилизируя всевозможные отходы, к примеру, отходы ТЭЦ, полностью удовлетворяет все свои внутренние потреб-

ности (причем серу экспортирует). Мы же отходы ТЭЦ выбрасываем в воздух, вызывая кислотные дожди — их зоны на карте отмечены.

С другой стороны, страна стонет от всевозможных свалок отходов. Только на Украине накоплено более десяти миллиардов тонн твердых промходов, которые занимают площадь двести тысяч гектаров плодородных земель!

...Каждая природоохранная проблема, безусловно, имеет свои критерии. К примеру, сильное загрязнение атмосферного воздуха и воды определяется по превышению ПДК, эрозия — по площади деградирования почв и «плотности» оврагов, дигрессия пастбищ — по сведению травянистого покрова и уменьшению биомассы, переруб леса — по превышению расчетной лесосеки и так далее.

Что же касается действующих АЭС, то, вы видите, в основном они размещены в густонаселенных местах, чего, конечно же, не должно быть. Утверждение, что-де атомная энергетика — чистая или самая чистая энергетика — очень сомнительный тезис, если не сказать больше. Ведь АЭС — мощнейший тепловой загрязнитель!..

Из-за отсутствия специальных исследований бывает очень трудно определить границы природоохранных проблем. К сожалению, мы пока не в силах предвидеть многие новые источники загрязнения окружающей среды, ибо до сих пор не изучены цепные реакции в природе, когда несколько отдельных антропогенных веществ взаимодействуют друг с другом. Не так-то просто установить, очертить те или иные границы критических зон — зон экологического бедствия. Увы, и тут сталкиваем-



ся не только с научными проблемами. Поскольку и по сей день мы **не имеем Геоинформационного банка СССР**, за необходимыми сведениями приходится обращаться в различные ведомства и организации, которые **готовы засекретить что угодно**. Ясное дело, Госкомгидромет СССР, Госкомлес СССР, Минрыбхоз СССР, Минздрав СССР, Минэнерго СССР, атомщики, оборонные предприятия не о государственных тайнах пекутся, а об охране своих ведомственных интересов. Вот и попробуй получить достоверную и в полном объеме информацию! Как раз этим и объясняются многие «белые» пятна на нашей карте. До полной экологической гласности нам еще ой как далеко.

И все же что-то нам удалось показать, вычислить. Так, оказывается, водной эрозией охвачено 373 тыс. кв. км земель, 670 тыс. кв. км — ветровой эрозией, деградацией лесов — 534 тыс. кв. км, горными разработками нарушено 162 тыс. кв. км, воды суши истощены и загрязнены на 496 тыс. кв. км...

Данная карта — не самоцель, а начало большой работы. Экологические тенденции постараемся показать в динамике, разработаем специальную карту прогнозов, возможных катастрофических ситуаций и последствий... Я уже не говорю о том, что будут — должны быть — и другие карты, показывающие затопленные и подтопленные территории СССР, радиационные, тепловые, химические загрязнения, заболевания населения, вызванные изменениями среды...

Увы, убеждаюсь вновь и вновь: далеко не всеми осознано, что экологический кризис — это реально существующий процесс, вызывающий необратимую деградацию окружающей среды,

ведущий к вырождению человечества!

На мой взгляд, биосферные и экологические исследования — наиглавнейшие для общества, государства и их необходимо разворачивать с особой энергией, особой тщательностью, как в свое время начинались космические исследования. Ведь уже сегодня видно: если не принять срочных мер, то в самое ближайшее время экологический кризис обострится, последствия же возможной катастрофы непредсказуемы.

# НЕТОЛПОВИЗИ ЗНАКОМСТВО

Урмас Отт не кокетничает с репортерами и охотно соглашается на интервью. Пока я настраивал диктофон, Урмас начал разговор, не дожидаясь первого вопроса. Я не стал его останавливать, тем более перебивать, понимая, что профессия телевизионного комментатора и желание пообщаться с новым собеседником не дают покоя даже в те минуты, когда он за кадром.

— Меня больше всего смущает, и понимаю почему, когда я звоню людям, которых мне хотелось бы пригласить на мою передачу, а они не сразу соглашаются. У них тот же горький опыт, что и у меня. Вопросы повторяются, но это одна беда. Самое обидное, когда человек приходит лишь для того, чтобы пополнить свою «коллекцию известных людей». Просто у него с Урмасом Оттом еще не было интервью, хотя он не имеет ко мне личного интереса и совер-

шенно безразличен к тому, что я говорю. Я еще не успеваю договорить, а он задает новый вопрос. У него в голове уже готовая статья, а я в ней просто декорация. В связи с этим начинаю понимать людей, которые с осторожностью относятся к моему предложению — участвовать в программе «Телевизионное знакомство».

*— Что ж, я разделяю вашу тревогу. В таком случае буду вести нашу беседу в том же духе, как вы ведете свои «Знакомства», не исключая традиционных и даже «беспардонных» вопросов, свойственных вам. Мне кажется, с моей стороны это будет честно. Итак, мой первый вопрос. Урмас, вы сами добивались всего в жизни или у вас была «мохнатая лапа»?*

— Хороший вопрос. У меня в последнее время было много встреч, которые вспоминаю с любовью. Это, естественно, деньги — бесплатно я бы никуда не

# ОКНО

ФОТО ТОЛГАТА ТАЙШАНОВА





поехал, но, с другой стороны, мне нравится общение. На одной из встреч мне задали такой же вопрос — я от неожиданности был просто ошарашен. В свое время я думал: плохо, когда нет протекции. Теперь же благодарен судьбе, что не было в моей жизни «мохнатой лапы». Это — сладкое чувство, когда знаешь, что сам себя сделал, сам всего добился.

Хотя, если бы была протекция, все имел бы гораздо раньше. Начал я довольно поздно, в тридцать лет, и не думаю, что работаю лучше, чем работал десять лет назад. Просто требуется какой-то разбег.

— Предположим, завтра вам скажут, что ваша телевизионная карьера закончилась. Чем будете заниматься?

— Надеюсь, это случится не завтра, хотя у меня были и такие мысли. Уверен, через несколько лет уже не буду работать на телевидении. Телевизионный экран — сладкая вещь, очень сладкая слава и популярность, но не может длиться вечно... Прекрасно, что последние три года — мой звездный час. Но я довольно трезво отношусь к этому, зная, какой была моя жизнь без нынешней славы и популярности. Мне будет безумно трудно без телевидения, но надо вовремя уйти... Больше всего я не понимаю тех людей, которые лихорадочно делают всевозможные попытки, чтобы удержать свое лицо на экране — от этого трудно отказаться. У меня есть мечта: когда я уйду из ТВ, хотелось бы купить дом где-нибудь на Банановых островах и с утра до вечера играть в теннис, ни о чем не думая.

— А если вы встретите соотечественника на Банановых островах? Вызовет встреча тоску по Родине или что-нибудь другое?

— Пожалуй, тоску. Скоро

я поеду за рубеж, где, наверное, будут встречи с соотечественниками. Мы много говорим — у нас то плохо, это плохо. Но Родина — такая вещь, которую невозможно чем-то заменить. Хотя у нас действительно плохо, я это прекрасно понимаю. Мы бедные, мы нищие, ничего не имеем, кроме нашего дурацкого пафоса: что у нас все равны и мы первая в мире страна рабочих и крестьян. Это все прекрасно, но на самом деле плохо мы живем. Довольно плохо.

— Урмас, вы думали когда-нибудь о выезде?

— Естественно, думал. Многие мои близкие друзья уехали в начале 80-х годов. Помню, в «Литературке» читал: «Как можно предать Родину-мать?» И там же был дан, на мой взгляд, прекрасный ответ в форме вопроса: «А если Родина-мать стала мачехой? Что тогда?» Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.

— Мне вспомнилась одна записка из дневника писателя Ф. Абрамова. «Вызвали выдающегося дирижера Е. Мравинского в горком КПСС в связи с отъездом музыкантов из филармонии.»

— Что у вас происходит? Почему от вас уезжают за границу?

— Они не от меня, а от вас уезжают... — таков был ответ Мравинского.

— Конечно, и мы виноваты, но в конце концов виновато общество — наш высший эшелон. Это были действительно тяжкие времена. Были и у меня моменты слабости, я хотел уехать, но оказался слишком трусливым для такого поступка. Вообще сложный вопрос. Эмигрантский кусок хлеба труден и унизителен. Надо все-таки знать, где твои корни, твой народ, твой язык. Мы воспитаны в таком духе. Для цивилизованного Запада подобных проблем не существует. Ты родился в Италии,

а живешь в Швейцарии. Я думаю, это — огромное чувство, когда во всем мире ты как дома. Сейчас все могут уехать куда угодно, могут вернуться или остаться. Когда я был молодым, очень хотелось поехать на Запад, но не было возможности, а сейчас возможность есть, но я не хочу уезжать. Поздно! Недавно был в Испании недельку с 35 рублями в кармане. Смешно! Вот такие парадоксы.

— Является ли флаг символом Родины для вас?

— Все относительно, хотя в общем-то флаг символизирует Родину. Если я нахожусь в Нью-Йорке, флаг Советского Союза для меня Родина. Если я в своей стране, он не является для меня Родиной. В Москве Родина — Эстония, в Эстонии — язык. Язык — это символ, главнее всех других существующих символов.

— Ну, а, скажем, дом детства?

— Я родился в маленьком городе южной Эстонии. Дом сохранился, но я не могу сказать, что испытываю к нему какие-то ностальгические чувства. С одной стороны, я интернационалист, но это называется и по-другому — космополитизм. Есть в популярной песне такие слова: «Где твой дом родной? Там, где есть друзья! Где твой дом родной? Там, где счастлив я!...»

— Урмас, а что для вас хороший друг? Что вы вкладываете в это понятие?

— Не знаю. У меня нет такого человека, о котором я мог бы сказать — настоящий друг. Наверное, если речь идет о дружбе, я предъявляю слишком большие требования, поэтому и одинок до сих пор. Есть люди, которые через час после знакомства говорят: «Это мой хороший друг!» В Москве, например, именно такая форма общения. Примером друга

и дружбы для меня были и есть Хемингуэй и Фицджеральд.

— Знакомо ли вам чувство предательства?

— Были небольшие подлянки. Я человек обидчивый и не прощаю подобные вещи. Помню до конца дней.

— Выходит, вы злопамятны?

— Да. Если быть до конца откровенным, я именно такой человек. Но никогда не начинаю атаковать первым. В этом я честен перед всеми. Если человек сделает мне мерзкую подлянку, я обязательно должен отомстить.

— За что люди на вас больше всего сердятся?

— Тут у меня своя теория. Люди сердятся за то, что мне удалось каким-то образом пробиться в жизни, а этого никто не любит. Россия вообще не любит слишком богатых и слишком знаменитых. Мы к этому не готовы, нам это не нужно. У нас все равны: и таксист, и слесарь, и академик, и актер. У меня есть маленький опыт. Какая фантастическая почта пришла после «Телевизионных знакомств» с Аллой Пугачевой и Никитой Михалковым. Все умеют писать и знают куда. Если думаете, что они пишут на телевидение, то это самое глубокое заблуждение. Пишут в «Правду», «Известия», «Советскую культуру», в Центральный Комитет КПСС, наверное, в КГБ, и лишь восьмая копия идет на телевидение. Такие дела.

Естественно, как человек, я не подарок. Я довольно крутой, сложный, и со мной нелегко общаться некоторым людям. Но, позвольте, меня тоже многое возмущает в людях, особенно хамство и бескультурье. У меня обостренное чувство справедливости: если вижу хама или идиота, обязательно должен ему об этом сказать, независимо от того, какой пост он занимает. В этом смысле



у меня в жизни было много неприятностей.

— Урмас, а кого вам легче ненавидеть — одного человека или группу людей?

— Для меня нет разницы — один идиот или, к сожалению, целый коллектив. В моей жизни столько проблем, что нет сил кого-то специально ненавидеть и еще думать при этом, легко мне или трудно.

— Может ли ненависть породить надежду?

— Черт ее знает! Наверное, может. Скорее всего.

— От какой надежды вы отказались в жизни и помните до сих пор?

— О! Надежд было так много. И маленьких, и больших. Трудно выделить что-то одно. Было много потерь. Я сейчас жалею, что не стал профессиональным теннисистом.

— Удалось вам сыграть в теннис с Никитой Михалковым?

— К великому сожалению, нет. Мы много говорили об этом. А прошлым летом даже вместе оказались в Ялте, но жили в разных местах, хотя у меня было и огромное желание, и ракетка.

— Все же вернемся к надеждам. Что больше всего укрепляет в личных надеждах: гороскоп, алкоголь или удача в игре?

— Я не алкоголик. Поскольку я человек верующий, гороскоп на меня влияет, и определенно. Еще? Вера в себя, знание своих сил и возможностей.

— Вы ни разу не говорили о своем образовании. Можно ли узнать об этом?

— У меня высшее образование — режиссура театра. Правда, я ни дня не работал в театре. Хотел делать что-то другое, и мне повезло. У нас очень много средних актеров и режиссеров, которые любят рассуждать, как плохо

играет Смоктуновский или какой плохой спектакль поставил Ефремов. Целая толпа людей, которые ничего не делают, да и не могут. Я прикинул свои возможности, способности, поэтому род занятий моих вам известен.

— Какая конечная цель в вашей жизни?

— Я просто хочу жить для себя, чтобы в конце жизни мог сказать, что был честным человеком. Хотелось бы жить так, чтобы самому было интересно. И еще. Буду рад, если в этой жизни доставлю радостные мгновения другим людям.

— Вдруг случится, что вы станете бессмертным. Что будете делать после ста лет жизни?

— Думаю, что устану от нее. Если откровенно, очень боюсь смерти.

— Что мы все о серьезном да о грустном?! Урмас, хотели бы вы иметь богатую жену?

— В свое время, конечно. Сейчас для меня это не играет роли, если вы имеете в виду только деньги. Естественно, богатство никому не мешает. Но самое главное — нужен человек, с кем ты хотел бы жить. Я не говорю о любви. Любовь бывает или нет. Жить вместе, терпеть друг друга — вот что самое главное, а не деньги.

— В жизни мужчины бывает так: есть одна партнерша, потом другая. Когда вы расстаетесь с женщиной, в ком ищете вину — в себе или в ней?

— Никакой вины быть не может. Это жизнь. А жизнь — всегда расставания. Я не сторонник таких отношений, когда после расставания выясняют отношения. Меня интересует, что было, и если после всего остается хорошее впечатление и воспоминание, я доволен. Говоря о постоянных отношениях, с возрастом думаешь:



«Почему так вышло и кто все-таки виноват?»

— Урмас, вдруг представилась бы возможность задать один вопрос М. С. Горбачеву? О чем бы вы спросили?

— Согласен ли Михаил Сергеевич участвовать в моей программе?

— Вы честолюбивы и тщеславны, не правда ли?

— Конечно, естественное качество моей профессии.

— Зачем вы придумали «Телевизионное знакомство»?

— Я не придумал это по той причине, которую вы имеете в виду.

— Я не закончил вопрос. Вы часто в своих передачах беспардонно, извините, перебиваете гостей.

— Я просто знаю, что вы хотите сказать.

— И все-таки. Своей программой, безусловно, интересной, вы хотели выразить слагаемые творческого потенциала или это просто «выпендрей»?

— Должен честно сказать, что этот вопрос волнует многих. На телевидении работают, если тебе много платят или когда тебе интересно. Я всегда стремился быть честным человеком и не играл в политические игры, потому что знаю, к чему это может привести.

— Урмас, вы не хотели бы оказаться по ту сторону «Телевизионного знакомства»? Чтобы и с вами разделался какой-нибудь ловкий журналист?

— В моих передачах участвуют «звезды», большие личности, а я не соответствую такому уровню.

— Как у вас дела с юмором?

— Вроде хорошо.

— Предположим, вы встретитесь с человеком, который вызывает у вас антипатию. Что помогает вам выйти из положения — остроумие или юмор?

— Такие ситуации бывают, и каждая зависит от множества факторов. Я же живой человек.

— Что вызывает в вас скуку?

— Разные вещи. Если выразиться одним словом, то, наверное, жизнь.

— Считаете ли вы, что возможны общественные перемены без насилия? Осуждаете ли вы насилие?

— Думаю, что нет. Потому как все равно кто-то выигрывает, следовательно, кто-то и проигрывает. Это диалектика.

— Любите давать советы?

— Очень! Обожаю!

— Почему? Доставляет удовольствие?

— И удовольствие тоже. Человек, который ничего не может, переходит в педагогику. Актер, у которого не состоялась актерская карьера, переходит в режиссуру, а если и там ничего не получается, берется за теорию. Очень люблю давать советы, а если бы еще платили деньги, только этим бы и занимался.

— Вы можете обходиться без наличных денег?

— Я что-то о коммунизме ничего пока не слышал. Очень завидую людям, которые могут обходиться без денег. Никогда этого не умел. Денежный вопрос сопутствует любому человеку, хотя есть такие бессребреники, которых деньги совсем не интересуют. Очень интересная человеческая психология. На мой взгляд, камуфляж.

— Несмотря на ваше положение, наступают ли минуты отчаяния? В чем вы находите выход?

— Временами бывает. Меня больше всего возмущают разговоры о поправках к Конституции, о всенародном обсуждении. Все это очень бурно прошло в Эстонии. Насколько мне известно, у нас прекрасная Конституция. Там и свобода совести, печати,

слова, демонстраций. Но отсутствует один закон, гарантирующий соблюдение этих статей Конституции. Меня уже давно не беспокоит, что нет у нас колбасы, шмоток, квартир, машин, нет мыла и порошка, — давно привык, что временные трудности превратились в постоянные. Самое радостное, когда я полгода хотел купить туфли и наконец-то купил их. В этом смысле западные люди не знают, что это такое. И я искренне им сочувствую. Для меня основной вопрос: кто может дать гарантии, что линия Горбачева, линия перестройки продолжается? Мне кажется, таких гарантий у нас, к сожалению, нет. Меня не покидает страх — я не знаю, что будет завтра. По-моему, это основная причина общенародного стрессового состояния. Какой найти выход? Наверное, самый простой — не думать, жить сегодняшним днем. У русского народа есть поговорки: «Гуляй, Вася, Бога нет!», «Утро вечера мудренее». Сегодня выпил все, а завтра — посмотрим, как купит кусок хлеба. Бог даст. Проблемы преследуют всех нас и не дают мне покоя.

— Мне известно, что ваши впечатления о Москве и москвичах не самые приятные.

— Должен сказать, что Москва — город грязный, город отвратительный. Много хамов и идиотов. Никогда не хотел бы здесь жить — равносильно самоубийству. Тут, как и в любом большом городе, взаимоотношения построены на деньгах. Город миллионных возможностей и авантур. У меня в Москве много друзей, тем не менее жизнь здесь страшна. Впрочем, я знаю и другую Москву.

— Как вы считаете, добро должно быть с кулаками?

— Добро есть добро. Начало

в характере человека. Оно или есть, или отсутствует.

— А вы добрый человек?

— Думаю, что да.

— Урмас Отт — друг самому себе?

— О нет! Самому себе я враг. Постоянно иду на какой-то диалог с собой. Очень трудно найти в себе компромисс.

— Есть ли у вас враги, которых хотелось бы иметь в друзьях?

— Таких людей нет. Я знаю своих врагов, но это не тот уровень, чтобы хотелось видеть их друзьями.

— Вы пользуетесь услугами людей, которые были гостями ваших программ?

— Например, Щедрин пригласил на свою премьеру, на которую я скорее всего не попал бы. Плисецкая пригласила в Большой театр. Но это все редкие случаи. После передачи мы почти не видимся. Все некогда, да и не о чем говорить. Мне кажется, в передачах успеваем все сказать, обо всем расспросить.

— Как вы относитесь к карьере?

— О, этого вопроса я ждал. Превосходно отношусь. Карьера для мужчины — как семья для женщины.

— Сколько вам лет?

— У меня возраст Христа.

— Вы коммунист? Многие считают, что это не одно из последних слагаемых карьеры.

— Нет, конечно, не коммунист.

— Почему, конечно?

— Пока не созрел.

**Беседу вел  
АКИМ САЛБИЕВ.**



# ЧИТАТЕЛЬ • «СМЕНА» • ЧИТАТЕЛЬ

## Г У меня «больной» вопрос — алименты

Г Выписываю «Смену» много лет. Мне тридцать восемь. Имею двоих детей. Работаю санитаркой в больнице. Муж — водитель.

У меня «больной» вопрос — алименты. Начну с личного примера: я замужем пятнадцать лет, и все эти годы мой муж платит 25 процентов своему сыну, которого он никогда не видел, так как с женой прожил всего три месяца. Когда мы поженились, то решили уехать на Север. Там у нас родились две дочки. Жили мы хорошо и дружно, хотя и не всегда сытно. Как известно, на Севере большие деньги, но и расходы большие. Все, что муж зарабатывал, уходило на питание и на повседневные расходы. В общем, прожив на Севере около семи лет, мы вернулись в Дзержинск, не нажив богатств. К тому же «истица» много лет не давала покоя — 80—90 рублей алиментов ей было мало. А у моей знакомой муж вообще алиментов не платит, то в тюрьме, то бродяжничает, и получает Света от райисполкома двадцать рублей. Жди, говорят, найдется — все уплатит. Только сомневается Свет-

лана: скорей его самого смерть найдет пьяного под забором. А мальчишечка растет, мать работает на двух работах, чтобы прокормиться и одеться. Вот я наконец и подошла к главному. Дети должны быть равны в обеспечении. Двадцать рублей в наше время — не деньги. А сколько горе-отцов скрывают свои доходы, устраиваются на низкооплачиваемую работу, чтобы поменьше платить алиментов! Бывает, что и женщины живут на алименты, не работают, не заботятся о детях.

Предлагаю алименты назначать в твердых суммах, а не в процентах, чтобы можно было рассчитывать авансом за несколько лет. Меньше будет летунов, так как, думаю, любой пьяница и прогульщик сможет найти определенную сумму. Да и вновь созданной семье будет легче. Ведь зачастую мужчина не хочет подрабатывать, отрывать время от семьи, тратить силы, так как заработок уйдет на алименты.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА,  
г. Горький



# преступление в УТОПИИ

МАКС РЕЙНОЛДС

## I

Рекс Моран набрал номер на своем ручном телевидеофоне и взглянул на появившийся циферблат. Механический голос произнес:

— Когда прозвенит колокольчик, будет ровно без двух минут восемь.

Моран хмыкнул и оглядел маленькую квартиру. Кажется, пора убираться отсюда.

Он достал из внутреннего кармана кожаной куртки свою универсальную кредитную карточку и вставил ее в щель стандартного телевидеофона, стоявшего на маленьком столике в спальне.

— Проверьте, пожалуйста, остаток по счету, — сказал он прямо в экран.

Через несколько секунд механический голос сообщил:

— Десять акций основного капитала. Ни одной акции оборотного. На текущем счете один доллар и двадцать три цента.

— Хм, значит, всего один доллар и двадцать три цента, — пробормотал он. — Ничего себе. Вот не думал, что придется начать с такой жалкой суммы.

Он набрал номер службы кредита и стал ждать. На экране появилось лицо человека — страшно делового, сурового и, по всей видимости, нетерпеливого.

— Джейсон Мей, помощник директора службы кредита по дивидендам на основной капитал.

Рекс Моран приставил к экрану свою универсальную кредитную карточку и сказал:

— Мне хотелось бы получить аванс под будущие дивиденды.

— Минутку,— молвил помощник директора и нажал на одну из кнопок. Выслушав сообщение на экране, он взглянул на Морана.

— Вы и без того уже забрали за два месяца вперед.

— Знаю. Но у меня безвыходное положение...

— У всех безвыходное положение, мистер Моран. Что у вас приключилось? Имейте в виду, из вашей ведомости видно, что вы всегда забираете вперед причитающиеся вам ежемесячные доходы по дивидендам. Вы должны знать, что органы государственного надзора ведут строгий учет и контроль за такого рода авансами. В конце концов вы лишитесь всего, мистер Моран.

— Понимаю. Но что делать, меня преследуют неудачи...

— Что же у вас произошло на этот раз?

— У меня заболел брат, и я должен ему помочь.

— Где ваш брат проживает?

— В Панама-сити.

— Минутку.

Чиновник повернулся к одному из экранов на пульте управления и нажал кнопку.

— Мистер Моран, блоки памяти компьютера говорят, что у вас вообще не существует никакого брата, ни в Панама-сити, ни где-либо в другом месте. Так вот, мистер Моран...

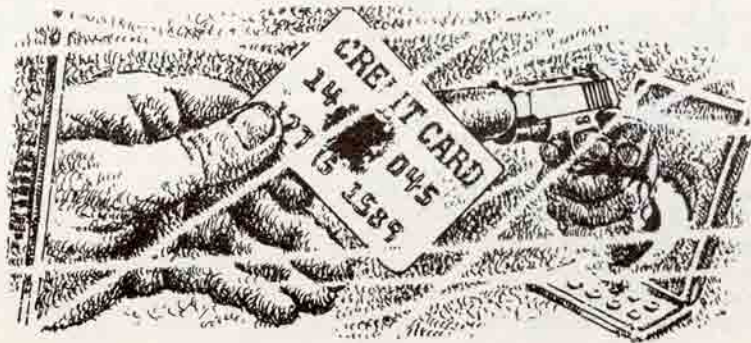
— Ну, чего еще? — спросил Рекс Моран раздраженно.

— ...лгать директору кредитов, чтобы получить аванс,— это уже преступление, за которое по головке не погладят. Я, конечно, ничего не стану предпринимать по этому поводу, но сам факт будет зафиксирован в блоках памяти машины.

— Пусть,— отгрызнулся Моран и смахнул телеэкран со стола.

Некоторое время он сидел молча, затем на боксе автоматической доставки товаров на дом набрал номер местного филиала ультрасупермаркета: сначала отдел детских игрушек для мальчиков, затем секцию военных игрушек, где выбрал пистолет стоимостью семьдесят пять центов. Вставив в щель автомата универсальную карточку, он прижал в экрану большой палец правой руки и заказал выбранную игрушку.

Через несколько мгновений пистолет очутился в боксе автома-



тической доставки товаров. Он был весьма скромных размеров, но издали производил впечатление настоящего, что как раз и нужно было для задуманного предприятия.

Рекс перешел в библиотеку и по вспомогательному телевидеоэкрану потребовал газеты двухнедельной давности с опубликованными некрологами. Ему пришлось немного порыться, прежде чем он нашел интересующую его заметку.

Он позвонил по указанному в заметке адресу. На экране появилось лицо незнакомого человека, выжидающе смотревшего на него.

— Мистер Весайлис?.. С вами говорит Рой Маккорд,— сказал Рекс Моран.

— Чем могу служить, мистер Маккорд?

— Я только что вернулся домой из дальней поездки и услышал весть, что моего друга, Джери Джерома, не стало.

Лицо собеседника слегка разгладилось и приняло печальное выражение.

— А-а... Понятно. Боюсь, он ни разу не упоминал вашего имени. Впрочем, у Джери было много друзей, о которых я даже не слыхивал.

— Да, сэр. Мне...— начал Рекс Моран,— очень хотелось бы воспользоваться представившейся возможностью и лично выразить вам соболезнование.

Старик слегка нахмурился и собрался возразить, но Моран спешно продолжал:

— Кроме того, у меня остались кое-какие его вещи, которые нужно передать вам. Мне кажется, было бы лучше прямо сейчас доставить их.

Мистер Весайлис пожал плечами и сказал:

— Что же, хорошо, молодой человек. Я буду свободен в... Зайдите ко мне, скажем, в девять утра, я смогу уделить вам несколько минут.

— Прекрасно, я приду.

Некоторое время Рекс Моран молча взирал на потухший экран, потом перевернул плечами.

— Итак, первый шаг сделан,— проговорил он.— Пока все идет хорошо, посмотрим, что будет дальше. Может, не следовало пользоваться этим видеофоном? Впрочем, какая разница.

Зная, что все поездки по городу автоматически регистрируются в блоках памяти вычислительной машины, он не стал садиться в транспортную пневмотрубу, прошел пешком несколько кварталов и взобрался на общественный перрон.

Посмотрев на огромную схему транспорта, висящую на стене, он выбрал нужную станцию и сел в подошедший двадцатиместный пневмовагон. Вставив кредитную карточку в щель автомата для уплаты за проезд, он вспомнил, что после покупки игрушечного пистолета у него на счету осталось, вероятно, всего лишь несколько центов. Если дело не выгорит, их не хватит даже для возвращения домой.

Сойдя с платформы пневмотранспорта, он двинулся к аристократическому кварталу, где одиноко проживал старик Весайлис.

У входа в здание стоял экран проверки личности входящих.



Скрестив руки так, чтобы при входе с него не потребовали универсальной кредитной карточки, он сказал прямо в экран:

— Рой Маккорд. По приглашению мистера Фрэнка Весайлиса. Дверь автоматически распахнулась.

В вестибюле оказалось два лифта. Он вошел в первый и сказал:

— Квартира Фрэнка Весайлиса.

Лифт послушно рванул вверх, на предпоследний этаж.

Рекс Моран отыскал дверь с нужной дощечкой и включил дверной экран:

— Рой Маккорд с визитом к мистеру Весайлису.

Дверь отворилась. Он шагнул через порог в квартиру и замер, словно его ударили обухом по голове: человек, стоявший перед ним в черном костюме, ничем не напоминал мистера Весайлиса, с которым он только что разговаривал по видеотелефону.

Чопорный тип лет пятидесяти оцупал Рекса с головы до пят подозрительным взглядом, обратив особое внимание на его костюм, далекий от элегантности, и грубоватое лицо.

— Мистер Маккорд? Хозяин ждет вас в гостиной.

Хозяин?! Черт возьми, этот Весайлис, оказывается, держит камердинера! В наше время иметь личную прислугу?! Моран никак не предполагал, что старик настолько богат.

Они прошли холл и свернули направо.

Возле двери, перед которой они остановились, не было даже экрана. Камердинер осторожно постучал, и дверь мгновенно открылась. Видимо, старый Весайлис ожидал его.

Слуга вытянулся в струнку.

— Мистер Маккорд!..

В мягком кресле с часовой лупой в руках сидел пожилой человек. Перед ним на маленьком инкрустированном столике лежала дюжина почтовых марок. Старик, видимо, филателист, подумал Моран.

— Заходите, мистер Маккорд. Прошу вас, присаживайтесь. Вы — друг Джерома, моего двоюродного брата?

Он критическим взглядом осмотрел костюм и внешность Морана, и брови его удивленно приподнялись.

— Так-с, чем могу служить, мистер Маккорд?

Моран взглянул на слугу.

— Франклин, ты можешь быть свободен,— бросил Весайлис.

Камердинер нехотя повернулся и вышел. Дверь мягко хлопнулась за ним.

Рекс Моран переложил игрушечный пистолет из внутреннего кармана пиджака в боковой и, не вынимая руки, сказал:

— Начнем грабить, мистер Весайлис.

— Что?! Вы налетчик? Как вы смели войти в дом под лживым предлогом?! Я сейчас вызову полицию.

Лицо Морана оставалось бесстрастным.

— Чего болтать попусту. Поймите, мне надоело ждать своей доли пирога. Так как правительство не собирается выделить ее мне, то я решил взять сам.

Старик внушительно посмотрел на Морана.

— Молодой человек, вы дурак!

— Может, так а может, и нет,— ответил Рекс и угрожающе повертел в кармане пистолетом.

— Дурак, потому что заниматься воровством в наше время лишено всякого смысла. Общество приняло меры, чтобы оградить себя от подобных преступлений. А заниматься мелкими хищениями — себе дороже.

Рекс Моран криво усмехнулся.

— Я, мистер Весайлис, мелочами не занимаюсь. Ну-ка, дайте сюда вашу кредитную карточку.

— А что вы с ней сделаете? Ведь никто, кроме меня, не может истратить ни пенса с моего расчетного счета. Я никому не могу передать свои деньги, не могу их проиграть, даже выбросить в корзину не могу. Лишь я один, самолично, могу тратить получаемые мной доходы.

— Посмотрим,— проговорил Рекс Моран, кивая головой.— Давайте-ка вашу универсальную кредитную карточку.

Он слегка поиграл пистолетом.

Старик с презрительным видом достал из внутреннего кармана красивый сафьяновый бумажник и, вытащив карточку, протянул ее Морану.

— В этой комнате есть бокс автоматической доставки товаров на дом? — спросил Моран.— Ага, вот он. Посмотрите-ка на эту громадину! Вот что значит быть представителем высших слоев общества, мистер Весайлис. Вам бы стоило взглянуть на крошечный бокс в мини-квартире. Когда мне нужно получить товар более крупного размера, я вынужден спускаться вниз и использовать общий бокс.

— Молодой человек, повторяю, вы дурак. Представители власти, не теряя ни минуты, придут за вами,— заметил Весайлис.

Рекс лишь усмехнулся, сел перед боксом, вставил карточку в экран телевидеофона и сказал:

— Подведи мне сальдо, пожалуйста.

— Десять акций основного капитала, две тысячи сто сорок шесть акций оборотного. На текущем счету — сорок две с половиной тысячи сто двадцать шесть долларов девяносто центов,— ответил механический голос.

Рекс Моран присвистнул.

— Живут же люди! Две тысячи сто сорок шесть акций оборотного капитала!..

Моран набрал номер ультрасупермаркета, секцию огнестрельного оружия, выбрал безотказный пистолет «Рекойлес» 38-го калибра и купил его вместе с коробкой патронов. Немного подумав, он позвонил в отдел фототоваров и выбрал фотокамеру «поляриод-пентакс» вместе с пленкой.

— Уж не обобрать ли мне вас как липку? — заметил он старику в припадке болтливости.— Взять да и проделать изрядную дыру в вашем расчетном счете, а-а?

— Никакой дыры вообще не будет,— едко ответил Весайлис.— Когда я сообщу властям об ограблении, мне тут же возместят похищенное.

Рекс Моран позвонил в отдел мужской одежды и, не торопясь, отобрал полную экипировку для себя.

— Так, настала решающая минута,— пробормотал он задумчиво и набрал ювелирный отдел. Выбрав бриллиантовый перстень ценой в две тысячи долларов, он воскликнул: — Ну, теперь, кажется, все. А-а, забыл!

Снова набрав спортивный отдел, он купил длинную веревку.

— Старина, подойдите-ка сюда и прижмите свой большой палец к экрану,— сказал он, обращаясь к Фрэнку Весайлису.

— А если я откажусь?

Рекс Моран ослабилась.

— Откажетесь!.. А зачем? Разве не вы сказали, что власти тут же возместят убытки и начнут искать меня, как только узнают о краже? Вы же ничего не теряете.

Старик, ворча, поднялся с кресла, подошел к боксу автоматической доставки на дом и, изрыгнув проклятие, прижал большой палец правой руки к экрану телевидеофона.

Не прошло и двух минут, как все товары прибыли. Весайлис вновь опустился в мягкое кресло.

Рекс Моран принялся поспешно выгребать из бокса заказанные им вещи. Он зарядил пистолет и, положив его возле себя на расстоянии вытянутой руки, переоделся, затем взял фотоаппарат и повесил его через плечо. Оглядев восхищенно перстень, он сунул его и пистолет во внутренний карман нового костюма.

— Я бы не прочь заказать еще несколько таких колец, но боюсь, подобное опустошение вашего счета включит какое-нибудь реле у вычислительной машины и потребует перепроверки покупок.

— Вор! — презрительно бросил Весайлис.

Моран усмехнулся:

— Вам-то на что жаловаться! Вы же ничего не теряете.

Он поднял веревку.

— Так, вначале свяжем вас, старина, а потом заарканим вашего Франклина или как вы его там зовете.

— Ну, вы далеко не уйдете,— прорычал Весайлис.

— Последние слова великих,— фыркнул в ответ Моран.

## II

Очувтившись на улице, он вспомнил, что придется тащиться пешком: состояние его финансов не позволяло ему тратить на оплату проезда в пневмотрубе. К счастью, идти было недалеко. По дороге он вытащил из кармана игрушечный пистолет и выбросил в сточную трубу. Теперь у него имелся настоящий.

Он отыскал нужный квартал и увидел там три необходимых ему магазина. Выбрав, что поменьше, он зашел внутрь.

Из задней комнатки показался маленький, щупленький, неприметного вида мужчина, который, прежде чем заговорить мягким, елеиным голосом, внимательно осмотрел Рекса.

— Так-с, слушаю вас, сэр. Что вам угодно?

Рекс Моран приступил к выполнению второй части задуманного плана. Занкаясь, он проговорил:

— Вы занимаетесь скупкой личных вещей?



— Да, скупка и перепродажа. А что у вас за товар, если не секрет, мистер...

— Адамс,— подсказал Моран.— Тимоти Адамс. У меня есть золотое кольцо с бриллиантом, принадлежащее моей матери. Мать недавно умерла, мне оно не нужно, вот я и подумал... Ну, я хотел узнать, сколько за него дадут...

— Давайте посмотрим. Присаживайтесь. Семейные драгоценности — товар нынче не ходкий, но взглянуть можно.

Хозяин магазинчика уселся за прилавок, кивнул головой посетителю на голый стул. Рекс сел и, вытащив из кармана перстень, протянул его продавцу.

— Мистер Адамс, а оправка-то совсем новая. Мне казалось, вы говорили насчет семейной реликвии, оставленной вам матерью.

— Да нет,— возразил Моран.— Она купила его незадолго до смерти. Если бы я был женат, то подарил бы кольцо жене, но поскольку...

Продавец продолжал спокойно смотреть на него.

— Мистер Адамс, мы, как вы сами понимаете, не занимаемся скупкой краденого. У нас легальный бизнес.

— Скупкой краденого?!— воскликнул растерянно Моран.

— Я покупаю и продаю предметы искусства или вещи ювелирной работы, а краденые товары не принимаю. Где, вы сказали, ваша мать купила это кольцо?

— Во время отпуска, при поездке в Общую Евразию. То ли в Будапеште, то ли в Белграде.

— В таком случае оно не могло быть зарегистрировано здесь, в Соединенных Штатах Северной и Южной Америк.

— Разве?! Хм, мне это никогда не приходило в голову.

Владелец магазина взял кольцо в руки и стал внимательно рассматривать.

Наконец он положил его на место и взглянул на Морана:

— Что ж, могу дать за него двести долларов.

— Двести?! Да вы что, с ума сошли? Моя мать заплатила за него больше двух тысяч!

— Значит, она переплатила, только и всего. Цены на драгоценные камни теперь поднялись, мистер Адамс, и такая вещь долго пролежит, прежде чем ее кто-нибудь купит.

— Ну, хорошо. Сойдемся на трехстах.

После некоторого колебания продавец ответил:

— Ладно. Правда, я делаю глупость.

— Неужели? — саркастически бросил Моран.

Он достал из кармана свою универсальную кредитную карточку и сунул ее в щель автомата, производящего трансферт.

Владелец магазина положил кольцо в ящик стола, вытащил свою универсальную кредитную карточку и, вставив ее в другую щель автомата, произнес:

— Будьте добры, переведите триста долларов с моего счета на этот.

— Трансферт совершен,— сообщил механический голос.

Рекс Моран выхватил из щели автомата свою кредитную карточку и вскочил на ноги.

— Похоже, что меня ограбили,— проворчал он.





Владелец магазина сидел за прилавком и ждал, когда Моран покинет его заведение.

Рекс спешно двинулся к ближайшей станции пневмотранспорта, вышел на перрон и сел в двухместный вагон, идущий в деловую часть псевдополиса.

Итак, на его счету триста долларов. Это, конечно, гораздо меньше, чем он рассчитывал. Однако хорошо, что он не рискнул купить в супермаркете что-нибудь подороже.

Хозяин скупочной стал бы выяснять у властей о дорогой вещи, его тут же схватили бы, да и компьютер сразу же переправил бы заказ на перепроверку.

Время близилось к полудню, а поскольку утром финансовое положение не позволило Морану позавтракать, он был голоден. Что ж, имея триста долларов, вполне можно раскошелиться на хороший обед в автомат-кафетерии.

Не мешкая, Рекс зашел в закусочную, уселся за столик и принялся изучать меню, стоящее на столе. К черту всякую антарктическую дрянь: планктон, сою; надоели, как президент со вторым сроком правления. Морану давно хотелось отведать настоящих животных белков — какой-нибудь баранины или, на худой конец, свинины.

Он сунул свою кредитную карточку в щель стола, оставив отпечаток большого пальца на экране, заказал настоящий шашлык из баранины и кружку матросского эля.

Вдруг на его руке зажужжал видеодфон.

Рекс Моран с удивлением посмотрел на экран: строгое и внушительное лицо незнакомого человека.

Голос отчетливо произнес:

— Говорит полиция, отдел службы распределения благ. Рекс Моран, вы арестованы за попытку нарушить правила пользования универсальной кредитной карточкой. Немедленно явитесь в ближайший райотдел полиции и доложите о себе. За неявку будете нести ответственность в уголовном порядке.

— Сгинь, тварь, — прорычал Рекс Моран и резким движением выключил прибор.

В тревожном раздумье глядел он на потухший экран. Что случилось? Где произошла осечка? И почему несчастье пришло так быстро? Видимо, что-то с продажей этого проклятого кольца. Но каким образом? Ведь он рассчитывал, что перстень пролежит в этой лавчонке месяцы, а то и годы в ожидании покупателя.

Вот дурацкое невезение!

Видимо, Весайлис поднял тревогу, и полиция немедленно связалась со всеми скупочными магазинами, где Моран мог сбыть ворованный перстень.

За ним, наверное, уже послали полицейский наряд. Будь они трижды прокляты! Теперь ему нельзя вернуться к себе на квартиру. Придется скрываться из-за каких-то несчастных трехсот долларов. Попробуй сунь свою кредитную карточку в щель экрана — компьютер тут же сообщит полиции, где он находится.

Э-э, так ведь они могут засечь место его пребывания по нулевому пеленгу наручного видеодфона.



С гримасой отвращения он схватил прибор и начал срывать его с руки. Экран вновь засветился, и взволнованный голос произнес:

— Внимание, граждане! Всем! Всем! Всем! Рекс Моран совершил преступление против правительства Соединенных Штатов Северной и Южной Америк, включая угрозу насилием, ограбление, сбыт краденого и злоупотребление универсальной кредитной карточкой. Каждый, кто его увидит, должен немедленно сообщить полиции. Преступник опасен и вооружен. Вот его портрет.

На миниатюрном экране появилась фотография Рекса Морана, снятая, к счастью, еще до того, как лицо его было изуродовано.

Он сорвал с руки прибор и швырнул его в угол, затем вскочил на ноги и ринулся к двери. Где-то вдалеке пропела сирена. В псевдополисах этого ультрапроцветающего государства вой сирены — явление не столь частое.

Рекс кинулся бежать и торопливо завернул за угол.

Он выбрал совершенно пустынное место и стал терпеливо ждать. Вскоре неподалеку показался одинокий прохожий. Моран вытащил из кармана пистолет:

— Стой! Руки вверх!

Прохожий взглянул на него, потом на пистолет и побледнел как полотно.

— А-а-а, вы тот уголовник, которого только что показывали по видеофону... — заикаясь, проговорил он.

— Да, это я, — ответил резко Моран. — А вы один из тех молокососов, которым место в детском саду, так, что ли?

Глаза прохожего округлились.

— Да, да, конечно...

— О'кей. Ну-ка, быстро вызовите «мотор»!

— Сейчас, сейчас. Не волнуйтесь.

— А я и не волнуюсь, — ухмыльнулся Моран и, поиграв пистолетом, добавил: — Ну-ка, живее поворачивайтесь!

Через минуту из-за угла вывернулось такси и, подкатив прямо к ним, ткнулось в обочину тротуара.

Дверца открылась.

— Быстро вставьте в щель свою универсальную карточку.

Пока прохожий выполнял приказ, Моран взобрался на заднее сиденье «мотора».

— Теперь прижмите к экрану большой палец, — прорычал он, сорвал у прохожего с запястья видеофон и сунул его себе в карман. Вытащив кредитную карточку из щели автомата, он вручил ее перепуганному пешеходу.

— Держите и не говорите, что я не добрый.

Машина рванула вперед.

— Как можно быстрее, пожалуйста, — проговорил он в экран.

— Слушаюсь, сэр, — ответил синтезированный голос робота.

Когда уличное движение замерло по сигналу автомата-регулятора, он открыл дверцу и на полпути выскочил из машины, бросив ее на произвол судьбы.

Вдруг он услышал, как в кармане запищал украденный видеофон. Он вытащил его и нажал на одну из кнопок, чтобы лицо не

передалось по экрану вызывающему. Полицейский чиновник оповестил всех, что Рекса Морана видели в той части города, где он заказывал такси. Видимо, ограбленный уже успел сообщить о нападении. Но ведь это также означает, что полиции известно об украденном наручном видеофоне и они могут в любую минуту засечь его местонахождение по нулевому пленку. Он бросил аппарат в канаву, затоптал его каблуком в грязь.

Надо немедленно смотаться отсюда, подумал Моран, решительно вошел в подъезд и поднялся на самый последний этаж, где в «пентхаузе» располагался ресторан, известный под названием «Место для гурманов». Чиновники высшего ранга гурьбой валили в ресторан обедать, расталкивая друг друга локтями.

Моран старался ничем себя не выдать. Он был подавлен роскошью и величием демонстрируемого здесь благосостояния и благодарил свою звезду за то, что догадался заказать и переодеться в элегантное платье. К нему неуверенно подошел метрдотель. За всю свою жизнь Рекс Моран ни разу не бывал в ресторане, обслуживаемом настоящими официантами, и сейчас старался держаться как можно непринужденнее.

— Столик на одного, сэр? — спросил метрдотель.

— Да, будьте добры, — ответил Моран, стараясь плавно модулировать голосом, как человек, для которого такая обстановка — дело привычное. — Если можно, то где-нибудь в сторонке. Мне нужно заняться кое-какими расчетами.

— Разумеется, сэр. Пожалуйста, вот сюда.

Его усадили в небольшом алькове.

Метрдотель щелкнул пальцами, призывая официанта.

— Сэр, у нас сегодня превосходные гратин-де-лангустин, — сказал официант маслянистым голосом.

Рекс Моран даже отдаленно не представлял, что это за штука, но сделал вид, будто обдумывает предложение.

— А еще что могли бы вы рекомендовать? — спросил он.

— Сегодня наш шеф превзошел себя с пулет-докте.

— Что ж, звучит премило.

Официант сделал пометку.

— А как насчет полбутылки сильванера или хутрина?

— Не возражаю.

На столе появились холодные закуски, десерт, и наконец метрдотель и официант исчезли.

Рекс Моран, облегченно вздохнув, огляделся по сторонам, вытащил из кармана кассету с пленкой и, сняв с плеча фотоаппарат, зарядил его. Затем из внутреннего кармана он достал универсальную кредитную карточку, экспропрированную у Фрэнка Весайлиса, и принялся тщательно осматривать ее, уделив особое внимание отпечатку большого пальца правой руки, отгиснутого в правом верхнем углу карточки. Потом он прислонил карточку к небольшой вазе, стоявшей на краю стола с одинокой черной розой, и нацелил фотоаппарат. Щелкнув, он извлек из камеры готовый снимок и стал его изучать. Снимок оказался неудачным. Придвинув аппарат чуть ближе, Рекс щелкнул еще раз. Ему пришлось сделать дюжину снимков, прежде чем удалось получить почти точную копию отпечатка

пальца Весайлиса, копию, которая ему была нужна чрезвычайно.

Он отложил в сторону кредитную карточку, убрал в чехол фотоаппарат, вытащил перочинный ножик и обрезал фото по краям так, чтобы оно было размером как раз с отпечаток в кредитной карточке. В эту минуту показался официант с дымящимся на подносе супом.

Незадолго до десерта Рекс внезапно вскочил из-за стола и спешно направился к кассовой стойке, где, по его мнению, должен был находиться платежный экран этого фешенебельного ресторана.

Там как раз находился метрдотель, который взглянул на Морана, вопросительно подняв брови.

Рекс торопливо произнес:

— Я только что вспомнил об одном неотложном деле. Пожа-луйста, не убирайте со стола до моего возвращения и присмотрите за фотоаппаратом, я сейчас вернусь.

— Да, конечно, сэр,— ответил метрдотель.

Рекс Моран покинул ресторан с видом человека, внезапно вспомнившего о деле, которое необходимо выполнить.

Очутившись на улице, он усмехнулся. Ради этой сцены пришлось пожертвовать фотоаппаратом, впрочем, он ему больше не нужен. Прикрывая лицо носовым платком, он направился в ближайшую гостиницу. В это время дня на улице появлялись лишь редкие прохожие. Зайдя в гостиницу, Рекс Моран подошел к сидящему за конторкой одинокому клерку. Рисковать так рисковать.

— Мне бы номер на одного, не особо шикарный. Спальня, гостиная, ванная. Могу я получить это у вас? — спросил он.

— О чем говорить, сэр,— ответил клерк и посмотрел за спину Морана.

— А где же ваш багаж, сэр?

— У меня нет багажа,— произнес Рекс небрежно.— Я только что вернулся после отдыха с западного побережья и надеялся здесь кое-что купить для пополнения своего гардероба. Я всегда так делаю — в Калифорнии мода невообразимо дикая.

— О да, сэр, вы правы.

Клерк сделал движение в направлении щели экрана, стоявшего у конторки телевидеофона.

— Будете регистрироваться?

— Я вначале хотел бы посмотреть номер, а потом решить,— ответил Моран.— Если он меня устроит, я зарегистрируюсь прямо из номера.

— О-о, я уверен, сэр, что вам понравится. Позвольте предложить вам «Бис-А».

— «Бис-А»? — повторил Моран.— Отлично. Пусть будет так.

И он направился к кабинам лифта.

— Номер «Бис-А».

— Слушаюсь, сэр,— ответил робот.

Номер находился несколькими этажами выше. Рекс Моран вышел из лифта, посмотрел указатели на стенах и направился к нужной двери. Номер оказался самым роскошным из всех,



в каких ему доводилось бывать в своей жизни. Он подошел к экрану телевидеофона и сказал:

— Номер мне подходит, и я оставляю его за собой.

Механический голос робота ответил:

— Прекрасно, сэр. Будьте добры, вставьте в щель экрана вашу универсальную кредитную карточку.

Рекс Моран, глубоко вздохнув, вытащил из кармана карточку Фрэнка Весайлиса и сунул ее в щель автомата. Потом быстро достал фотокопию отпечатка большого пальца правой руки Весайлиса, приложил ее к экрану и моментально отдернул.

Механический голос произнес:

— Благодарю вас, сэр.

Рекс Моран еще раз сделал глубокий вдох и медленно, сквозь зубы выдохнул:

— О, бессмертные боги, вот не думал, что сработает.

### III

Он позвонил по видеофону, чтобы узнать время. Три часа дня. Если ничего больше не случится, дело сделано.

Он набрал номер коридорного и сказал прямо в экран:

— Пришлите-ка мне несколько бутылок различных напитков. Скажем, бутылку шотландского виски, настоящего коньяку, матеи, бенедиктина, бутылку шерри-херинга, шартреза, разумеется, не зеленого, а золотистого, потом бутылку Перно, затем абсента или какого-нибудь ординарного вина.

Синтезированный голос робота ответил:

— Сэр, в нашем отеле все это можно получить в бар-автомате, который стоит у вас в номере.

— Но я хочу составить коктейль по собственному рецепту.

— Хорошо, сэр. Будет сделано, сэр. Через бар-автомат, сэр.

— Проследите, чтобы все было наивысшего сорта.

— Обязательно, сэр.

Продолжая улыбаться, Моран подошел к бару-автомату, достал бутылку шотландского виски «Глен-Гранд» и восхищенно посмотрел на нее. За всю свою жизнь ему только раз пришлось попробовать такое виски. Штука сия стоила на вес золота с тех пор, как фирме «Сентрал продакшен» запретили использовать зерно для гонки спирта. Он добавил содовой в стакан и, вышагивая по номеру, размышлял, чем бы еще заняться.

Что бы еще сделать такого, чего он прежде не мог себе позволить? А-а, вспомнил! Икра! Черная икра! Он никогда досыта не ел черной икры. Если признаться по совести, икры, которую он съел за свою жизнь, вряд ли хватило бы заполнить стограммовую баночку.

Он снова позвонил коридорному, и огромная банка икры была доставлена наверх вместе с настоящим сливочным маслом. Уписывая всю эту благодать за обе щеки, он заказал еще тушку копченой осетрины и семгу.

В ожидании заказа он соорудил себе второй стакан виски с содовой. «Глен-гранд»! Надо запомнить название. Вдруг еще раз выпадет такой случай.

Остаток дня он занимался тем, что производил дегустацию

тех лакомств и напитков, которые ему когда-то очень хотелось отведать. И когда пришло время обеда, к великому его негодованию, есть совершенно не хотелось. А он-то собирался заказать обед, достойный Гаргантюа.

Моран еле дотащился до спальни и завалился спать. Ночь он проспал как убитый.

Утром проснулся с тяжелой головой, но боги еще не бросили его. На бутылке «Глен-Гранда» появилось несколько новых отметок мелом. Он лежал и улыбался, глядя в потолок. На стоявшем возле кровати телевидеофоне набрал время. Синтезированный голос робота произнес: «Когда зазвенит колокольчик, будет ровно без девяти минут восемь».

Эге, осталось-то всего ничего. Девять минут. Отлично. Он заказал по номеронабирателю такой обильный завтрак, что хватило бы слону. Свежий сок манго, ананасовый напиток, яйца всмятку, снова черная икра, гренки, жареные помидоры, кофе — все двойными порциями.

Он принялся есть, рыча от удовольствия.

Завтрак был закончен ровно в восемь.

Отлично! Моран торжественно рассмеялся — пора приступить к делу.

Он не спеша принял душ, затем набрал номер ультрасупермаркета, отдел мужской одежды, и стал со знанием дела заказывать один предмет за другим, чтобы тут же, по мере поступления, распаковать и осмотреть.

Постепенно из вещей образовалась изрядная гора. Наконец часов в десять Рекс решил опустошить счет Весайлиса основательно. Набрав номер отдела по продаже «моторов», он заказал себе спортивную модель персональной машины, приказав доставить ее к стоянке возле гостиницы.

Через десять минут в дверях загорелся экран: у входа в номер стояло два человека — один в штатском, другой в полицейском мундире.

Штатский возмущенно сказал Морану:

— Пройдемте.

Полицейский же удивленно разглядывал гору покупок, оборточную бумагу и обрывки веревок, разбросанных по комнате.

Морана доставили в лифт, спустили в вестибюль и вывели на улицу, где стояла патрульная машина.

Полицейский сел за руль, а Рекс Моран и штатский забрались на заднее сиденье.

Последний спросил мрачно:

— Ну как, насладился жизнью?

Моран усмехнулся.

— Хорошую шутку отмочил, — заметил сидящий за рулем. — Мы почти схватили тебя в кафетерии. Нам следовало сразу же засесть тебя по нулевому пеленгу.

— Я тоже удивился, почему вы этого не сделали, — сказал Моран. — Полицейская расхлябанность.

Его доставили в местное отделение службы распределения жизненных благ, где он предстал пред светлые очи самого Мэрвина Рехлинга, начальника отдела.



При виде Морана Мэрвин произнес:

— Ну и нахал! Даже спортивную машину купил. Вот сукин кот. Что ты там натворил у Весайлиса? Он весь кипит от злости.

Рекс весело рассмеялся:

— Да ничего особенного. Пусть только он останется в неведении, что произошло на самом деле. А так все обошлось благополучно.

— Благополучно?! Ничего себе! Если бы он умер от разрыва сердца, тогда что? А потом, пешеход, которого ты перепугал...

— Но вы же сами хотели убедиться, вот и убедились,— отвечал Моран.

— Убедиться-то убедились,— заметил человек в штатском.— Да только теперь нужно нейтрализовать наше сообщение о твоём розыске. А то выйдешь на улицу, и тебя кто-нибудь прихлопнет.

— Ну, и какие твои выводы? — спросил Морана Рехлинг.

— Нам придется что-то сделать с этими кредитными карточками. Надо иметь гарантию, что отпечаток пальца подлинный. Иначе настоящий грабитель найдет какого-нибудь богача, одинокого, без родных и друзей, отвезет куда-нибудь подальше и прибьет, труп зароет, а затем возьмет его карточку, отправится в другой конец страны и, пользуясь моим методом с фотокопией, будет себе спокойно получать доходы с дивидендов, поступающих на счет покойника.

Мэрвин Рехлинг серьезно посмотрел на него.

— Что можно сделать, по-твоему?

— Почему я знаю. Это — дело ученых и инженеров. Пусть они думают. Может быть, сделать на карточке или на экране, скажем, детектор биотепла. Я не знаю. Я доказал, что в существующей сегодня кредитно-денежной системе есть лазейки для воров и мошенников.

— Что еще?

Рекс Моран призадумался немного.

— Ну, я уже говорил по дороге Фреду. Арест по телевидеофону себя не оправдал. Конечно, я согласен: в обыкновенных случаях это экономит время и силы, но когда имеешь дело с настоящим преступником или бандитом, да еще вооруженным, тут надо сразу засекаеть его местонахождение по нулевому пеленгу наручного видеофона, если, конечно, он настолько глуп, что будет таскать с собой эту штуковину.

— Очевидно, Рекс прав,— произнес человек в штатском.

Мэрвин Рехлинг глубоко вздохнул:

— Ладно, Моран, пари ты выиграл. Сумел почти без гроша прожить с комфортом целых двадцать четыре часа.— Он взглянул на своего подчиненного и добавил: — Но уверяю, что через шесть месяцев я ликвидирую все лазейки, которые ты использовал в своих похождениях.

Рекс Моран усмехнулся:

— Пари?



ФОТОСССР



Из работ,  
представленных  
на Всесоюзной  
фотовыставке

'89

Н. ПЕТРОВ.  
Старость —  
не радость. 1904 г.





# ЛЕНИН - КОМИН- ТЕРН - ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

*К. Е. ВОРОШИЛОВ, Н. И. ПОДВОЙСКИЙ,  
М. С. ЧУДОВ, М. И. КАЛИНИН  
во время митинга  
на Ходыньском поле,  
1927 г. Москва (ЦГАКФД)*

*А. ШАЙХЕТ.  
«Единоголосно!» 1929 г.*







А. ЕГОРОВ.  
Бои в Донбассе, 1942 г.





**В. СОКОЛАЕВ.**  
*Хлебопекарня села Ангудай.*





*М. БАРАНАУСКАС. Равнение налево.*



*С. КИПАДЗЕ. Как и сто лет назад.*

**А. ДЕГТЯРЕВ.**

**Жертва культа личности.**





**Н. МЕДВЕДЕВА.**  
**Из серии «Плач».**





# РЕНЕССАНС В ГОД ЮБИЛЕЯ

В столичном Манеже прошла выставка, посвященная 150-летию фотографии. Около двух тысяч работ вместили ее стенды: от первых русских дагерротипов до злободневной фотопублицистики и произведений современного фотоискусства, включая самые авангардные его направления. Это самая представительная фотоэкспозиция, когда-либо демонстрировавшаяся в нашей стране. Устроители ставили перед собой цель отразить весь почти полуторавековой путь отечественной фотографии. Не все в этой попытке «объять необъятное» удалось. Не лучшим образом, к примеру, было представлено творчество некоторых корифеев советской фотожурналистики, не попали в экспозицию работы ряда

самобытных фотохудожников из советских республик, сомнительным был эстетический уровень части авангардистских работ, серьезные нарекания вызвал «доморощенный» дизайн выставки. Но эти огрехи больше волновали специалистов. У публики же выставка имела несомненный успех: целый месяц не иссякал поток зрителей на праздник Фотографии. Конечно, во многом этот интерес связан с тем, что выставка стала настоящим детищем перестройки. Впервые мы встретились с истинной фотолетописью страны. Из множества фотографий-фрагментов, запечатлевших известные и забытые, надолго вычеркнутые из памяти народной события и лица, складывалось единое мозаичное панно нашей истории, не той, переписанной «по Сталину», а подлинной,

объективно отраженной объективами фотомастеров разных поколений.

Каждое время извлекает из «копилки прошлого» свои, созвучные ему сюжеты. И не случайно, видимо, сегодняшнего зрителя привлекала в исторических разделах именно социальная и политическая тематика. В пору, когда в обществе возрождается интерес к своей истории, к таким общечеловеческим ценностям, как гуманизм и милосердие, мы по-новому прочитываем классические сюжеты М. Дмитриева о нижегородском ночлежном доме или народной столовой в голодающей деревне; с удивлением обнаруживаем, что керченский детский приют прошлого века мог бы послужить образцом и современному детдому, что государственные деятели дооктябрьского периода вовсе не поголовно выглядели дегенератами и выродками, что соратники Ленина, а позже «враги народа», были в свое время и со Сталиным «на дружеской ноге»... А какой трагический смысл в новом историческом контексте обретает кадр А. Шайхета 1929 года, запечатлевший обреченное «единодушие» крестьян, голосующих за колхоз... Так же впервые на этой Всесоюзной выставке мы увидели настоящую фотопублицистику, без купюр и прикрас рассказывающую о дне сегодняшнем. На смену благостно-героическим репортажам о «запланированных событиях» — перекрытиях сибирских рек, вручениях переходящих знамен и забиваниях «золотых костылей» — пришла суровая правда жизни со всеми ее

проблемами и противоречиями. За первым «перестроечным» увлечением сенсационностью вновь открытых тем, когда все бросились снимать тюрьмы, наркоманов, проституток, к репортерам пришло наконец осознание своей журналистской миссии, чувство личной ответственности за все происходящее в нашем обществе. И, взглядываясь в репортажи о чернобыльской аварии и землетрясении в Армении, о трагических событиях в Тбилиси, Нагорном Карабахе, Фергане, в кадры, посвященные проблемам экологии, социального неравенства, дефицита милосердия, явственно ощущаешь стремление фотографов не просто бесстрастно зафиксировать явление, но донести до зрителя собственную гражданскую позицию, заставить его думать, чувствовать, сопереживать. Наступивший ренессанс советской фотожурналистики обусловлен, конечно же, не только революционными преобразованиями в нашей жизни. Корнями он опирается на традиции честной фотографии, заложенные далекими и недавними предшественниками наших фотомастеров, что наглядно подтвердила выставка в Манеже. Хочется верить — лучшие работы современных фотожурналистов перекинут мостик этих традиций в день завтрашний и станут для будущих поколений правдивым зеркалом нашей непростой эпохи.

**НИКОЛАЙ ПАРЛАШКЕВИЧ,**  
первый секретарь Союза  
фотохудожников СССР





**Владимир Зюкин:**

# “НЕ БОЮСЬ ОТСТАВКИ..”

113

Редкая королева красоты способна соперничать с секретаршами из ЦК комсомола. Это касается тех, что украшают собой приемные заведующих отделами. Если же иметь в виду девушек из приемных секретарей ЦК — они вне любой конкуренции.

Приятно согреть себя такими мыслями, стоя на студеном ноябрьском ветру у парадного подъезда ЦК. В девять часов мне нужно появиться в кабинете секретаря.

ЛИЦА

ря ЦК ВЛКСМ Владимира Зюкина. Еще есть время в запасе, и я продолжаю наблюдение за теми, кто открывает массивную дверь в трех метрах от меня.

По заключению Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются люди, еще не перешагнувшие сорокачетырехлетний рубеж. Большинство из тех, кого я провожаю глазами, соответствуют этой классификации, однако неумолимо приближаются к роковой возрастной черте. По упитанности и степенности они превосходят среднестатистического гражданина СССР.

Пожилой вахтер, кропотливо изучавший сменовское удостоверение, на три минуты сдвинул мой график.

Зюкин вышел из-за стола мне навстречу, огромный, как медведь, взглянул на часы, видимо, зафиксировал мою непунктуальность, но от комментариев воздержался. Пока мы обменивались рукопожатиями, я прикидывал в уме, удобно ли второго секретаря ЦК сравнивать с медведем. Зюкина раньше я никогда не видел и в кабинете его не бывал, один лишь раз говорил с ним по телефону в бытность его еще первым секретарем Хабаровского крайкома комсомола.

Кабинет не поразил ни размерами, ни интерьером. Мне доводилось видеть шикарно обставленные лакированные апартаменты первых секретарей райкомов, украшенные коврами, знаменами, грамотами, сувенирами и никогда не открываемыми томами Собрания сочинений В. И. Ленина. Этот кабинет был скромнее, как сейф. Ничем не примечательный письменный стол, стол для заседаний; на стенах, выкрашенных тусклой белой краской, — три больших портрета: над Зюкиным — портрет Ленина,

на другой стене — Горбачева и Рыжкова.

Импортный кнопочный телефонный аппарат рядом с обычными «мастодонтами». На столе в специальном приборе двумя гвардейскими рядами выстроились аккуратнейшим образом заточенные карандаши, устремленные острыми носами в потолок. Рядом — желтая, с перламутровыми переливами штукавина для скрепок, резинки и ручек. На правой руке Зюкина из-под манжеты выглядывал такой же, как у меня, японский магнитный браслет.

Я вынул из «дипломата» маленький японский диктофон, один из пяти полученных недавно редакцией за всю шестидесятипятилетнюю историю ее существования, и поставил его на стол. Зюкин заулыбался и из ящика стола вытащил еще более миниатюрный японский диктофончик, работающий на микрокассетах.

— А у меня вот какой!..

Один — ноль.

Я вздохнул и заявил, что таких кассет в нашей природе не существует, обычных-то в помине нет, поэтому мне такое заморское чудо без надобности.

Первый вопрос был заготовлен особый, дабы собеседника слегка шокировать.

— *Владимир Михайлович, — начал я уверенным голосом, — ходят слухи, что вас хотят назначить первым секретарем ЦК ВЛКСМ...*

— *Хорошенький вопросик!..* — Зюкин, похоже, не подозревал подвоха.

Один — один.

Настроенный на серьезный разговор, он не ожидал такого поворота, но теперь, распознав розыгрыш, тоже улыбнулся и, качая головой, сказал:

— Давай перейдем к делу.

О чем можно говорить с секретарем ЦК ВЛКСМ, как не о комсомоле? Однако я не собирался беседовать только о молодежном союзе. С Зюкиным, равно как о комсомоле, можно было с успехом поговорить и о музыке: в прошлом он играл в рок-группе. Но все же мы начали разговор не с музыки.

— Сегодня говорят: перестройка — это революция. А проводятся ли революционные реформы в комсомоле?

— Наверное, полное равенство между перестройкой и революцией ставить нельзя, учитывая наше традиционное понимание революции. Для нас революция — это Октябрь, когда долго-долго готовились, а потом быстро революцию совершили. Сейчас ситуация другая. Общество готовилось, но иначе — копилась противоречия, назревали конфликты. То же самое и в комсомоле. События в стране заставили и руководство ВЛКСМ, и всех комсомольцев думать: что делать? С другой стороны, период эволюционных преобразований в ВЛКСМ, по-моему, закончился. Те предложения, которые сегодня коллективно зрют к XXI съезду, носят, конечно, революционный характер. Ведь предстоит кардинальное изменение образа организации, ее модели и структуры.

Дверь приоткрылась, и в проеме показалась голова юноши лет тридцати пяти.

— Можно, Владимир Михайлович? — деликатно спросила голова. — Я на минуточку.

— Я занят. Зайди попозже, — сказал Зюкин.

— Извините, Владимир Михайлович, — пробормотала голова и исчезла.

— Не кажется ли вам странным, что союз молодежи, находясь в кризисе, ведет разговор о создании российского комсомола? Появится новый аппарат, новые должности...

— Тут дело не в аппарате. Решение этих проблем будет проведено за счет аппарата ЦК ВЛКСМ. Часть функций от ЦК перейдет к комитету российскому, он станет ближе к территориям. Это объективный процесс. Изменение структуры должно идти параллельно с конкретными делами. Хотя конкретные дела в традиционном звучании — целая проблема. Раньше мы считали, что направить несколько тысяч на ударную стройку — конкретное дело. Ошибались. Сегодня конкретные дела — это попытаться выиграть на выборах в местные и республиканские Советы, «влезть» во все законодательные акции через Комитет по делам молодежи Верховного Совета СССР. Конечно, в первичке уровень конкретных дел скромнее, но там тоже борьба за то, чтобы в трудовом коллективе без комсомола не решалось ничего.

Идет политизация комсомола. И конкретные дела будут совершенно на новом уровне. Будущая модель комсомола должна дать такой уровень свободы, который позволит ЦК не тратить время на вопросы, которыми мы сегодня занимаемся. А мы и ставки распределяем, и права райкомам даем, и штаты, и структуры утверждаем... В результате на политическую деятельность у нас не останется времени. А ЦК ВЛКСМ должен определять позицию по самым острым проблемам и защищать ее, а не размениваться по мелочам. Политизация и создание новой модели — два взаимосвязанных процесса. Затормозишь один — приостановится другой.



Несколько лет назад Виктор Мироненко, став первым секретарем ЦК ВЛКСМ, начал энергично призывать комсомольцев обращаться друг к другу и себе лично на «ты» и без отчества. В теле- и газетных интервью журналисты смело «тыкали» ему, подавая героические примеры демократизации остальным. Но что-то не привилось. Побывав несколько раз на заседаниях секретариата и бюро ЦК, я воочию убедился: нет, не привилось, аппаратчики упорно величали Мироненко Виктором Ивановичем и обращались к нему на «вы». Причем с большой буквы.

Два года назад, разговаривая с Зюкиным по телефону, я называл его Володей, а сейчас язык вставал колом и не поворачивался. Зюкин обращался ко мне на «ты», и я, учитывая то, что он лишь на несколько лет старше меня, готовился перестроиться, как вдруг подумал: а если завтра его изберут секретарем ЦК КПСС, тогда как?..

*— Не ощущаете ли вы усталости и раздражения?*

— Порой возникает и усталость, и раздражение. Это сменяется удовлетворением, когда удается что-то.

*— Что, например?*

— Сегодня ЦК комсомола — очень сложный организм: сотни взглядов, причем возможность выражать их гласно привела к тому, что каждый считает свое мнение истиной. И, бывает, трудно найти компромисс. Люди понимают, что терпимость нужна, но проявить ее не могут: они впервые получили возможность высказаться. И когда удалось, например, на последнем пленуме ЦК принять новый порядок выдвижения делегатов, а это — фундамент под будущий ЦК, когда удалось определить новые

принципы формирования выборных органов и начать подготовительную работу с ними, — это уже победа, хотя далась она очень непросто.

*— Чтобы вернуть доверие молодежи, комсомолу нужно получить самостоятельность. В какой степени вы зависимы от партии?*

— Во взаимоотношениях с ЦК КПСС в большей степени работает сдерживающий синдром с нашей стороны. Никаких официальных решений, которые сдерживали бы или регламентировали нашу работу, ЦК партии в последние годы не принимал.

*— С кем чаще всего вам приходится общаться в ЦК КПСС?*

— С работниками сектора комсомольских организаций.

*— Как это происходит?*

— Мы не устанавливаем дни встреч. В рабочем порядке.

А чаще всего с заведующим сектором Юрием Григорьевичем Ошлаковым. Он тоже раньше работал в комсомоле. Но мы «комсомольцы» разных поколений, и зачастую наши точки зрения на нынешние проблемы очень не совпадают. Если бы ты услышал, как мы спорим, то просто удивился бы. Но, честно говоря, мне нравится такой стиль взаимоотношений — на равных.

*— Как вы представляете себе молодежную политику?*

— На этот счет я разделяю позицию Саши Бека. Ряд политиков строят свою деятельность так, чтобы оторвать от общего пирога кусок побольше. Но пирог-то не увеличивается, а уменьшается! Есть политики, которые говорят: давайте вместе этот пирог нарастим, а потом по справедливости всем разделим. Поначалу мы тоже хотели оторвать кусок побольше. Сейчас приходит понимание, что надо создать условия в государстве, чтобы молодежь могла уве-

личить этот пирог, а потом на равных сесть за общий стол.

Я поинтересовался, сколько времени у нас осталось для беседы. Оказалось, что в десять начинается совещание, которое ведет Зюкин.

Без десяти десять секретарша принесла нам по чашке чая. На блюде рядом с чашкой лежали два кусочка сахара и две сушки. Зюкин отложил их в сторону и принялся за чай, отвечая на вопросы. Мне очень хотелось съесть сушки. Однако я не мог решить, этично ли будет хрустеть в присутствии второго секретаря ЦК. Украдкой попытался вкусную сушку разломить, но она не поддавалась.

— Совещание примерно на час, — сказал Зюкин. — Хочешь, посиди тут, а потом закончим.

Без одной минуты десять он вышел из кабинета, но вскоре вернулся и, сообщив, что к двенадцати ему надо в ЦК партии, предложил, если меня устраивает, приехать к двум.

Меня устраивало. На этот раз я явился за десять минут до срока — по-японски, и сел в приемной. Без двух минут два появился Зюкин и распахнул передо мной дверь кабинета. Я вошел туда уже совершенно спокойно, как в свой.

Зюкин вытянул длинные ноги под столом и достал аж до моих. Он уже успел переодеться. Теперь его мощный торс облегал белый свитер. В нем он выглядел совсем неофициально. Года три назад такая форма одежды для работника ЦК ВЛКСМ была бы совершенно неприемлемой.

— Существуют ли такие вопросы, которые секретарь ЦК ВЛКСМ решить не может?

— За два года, которые

я здесь, в аппарате все кардинально изменилось. Те же кадровые вопросы. Раньше выносили вопрос на пленум, народ сразу поддерживал. Сейчас я знаю, что могу предложить десяток человек, которых забаллотировать, хотя меня и уважают. Предлагая кандидата, надо предварительно посоветоваться с теми, кому предстоит его избрать, показать человека, убедить, что именно он нужен организации. А вслепую номер не пройдет.

— Не считаете ли вы неправомерным то, что, когда работник ЦК комсомола высокого уровня переходит работать в ЦК партии, то опускается на несколько ступенек ниже?

— Конечно, люди, прошедшие здесь хорошую школу, могли бы дать значительно больше, нежели на посту инструктора ЦК партии. На мой взгляд, в партии пока не выработана по-настоящему эффективная система работы с кадрами. Думаю, она нуждается в изменении.

— А как с этим у вас? Чтобы попасть в аппарат, надо пройти все ступени?

— Сдвиги есть. Вот, например, Олег Воронцов, недавно работающий у нас, не комсомольский работник, но он знает пять языков, у него интересные проекты! В отдел стали брать секретарей комитетов комсомола заводов. Раньше такого быть не могло. В социально-экономический отдел берут ребят, которые что-то представляют из себя в науке и близки к молодежным проблемам.

— Поднимаясь по служебной лестнице, вы не растеряли желание работать?

— Да, я прошел в комсомоле все, что можно пройти. Секретарь комитета комсомола леспромпхоза, заворг райкома, второй, первый секретарь райкома, завотделом,



второй, первый секретарь крайкома, заворг, секретарь ЦК. Плюсы в том, что я понимаю беды и нужды первичек. Если кто-то кричит, чувствую, в каком месте у него болит. С другой стороны, к тому времени, когда я пришел сюда, желания и энергии имел на порядок меньше, чем пять—семь лет назад, когда от меня отдачи здесь могло быть значительно больше.

...Система подбора кадров в аппарат была такой. Главным кадровик ЦК — заворг. Пришло время ему уходить. Надо кого-то брать. А это должен быть уровень первого. Приехал он в Хабаровск, где я работал, переговорил с полунамеком. Не поймешь: то ли расстрелять хотят, то ли в аппарат забрать. И уехал. После этого — резкое предложение: как смотришь на переход? Посмотрел очень положительно: к тому времени уже было понимание того, что можно сделать.

— *Не намечается ли тенденция к омоложению аппаратов комитетов ВЛКСМ?*

— Все понимают, что надо. Года три назад этот процесс начался, поскольку была установка: молодняк, вперед! Но как только вышли на многокандидатурное избрание, опять резко пошло старение руководителей. Ведь люди выбирают тех, кто успел о себе заявить, кто имеет авторитет. Что касается аппарата ЦК, то ко мне с предложениями по кадрам, если кандидаты старше 1959—1960 года рождения, уже не подходят. Это не значит, что я дуболом. Если человек очень нужен, но старше желаемого, мы его берем все равно.

Секретариат ЦК тоже должен быть помоложе. Секретарю начинать работать здесь надо в двадцать шесть—двадцать семь лет. В нашей державе таких людей

много, просто нет практики их выдвижения.

Дверь опять отворилась, вошел человек, с которым я встречался два с лишним года назад, когда меня утверждали членом редколлегии «Смены». Прощупывая на собеседовании мою биографию, он смотрел на меня очень пронизательно, как ему казалось (не дай бог, не соответствую каким-либо параметрам!), и с чувством большого собственного достоинства... Судя по возрасту, он старой закалки: в кабинет второго секретаря вошел бархатной походкой, положил перед Зюкиным пачку документов на подпись и, как помощник пианиста на сцене, переворачивающий ноты, быстро откладывал в сторону каждую подписанную бумажку. Закончив процедуру, поблагодарил Владимира Михайловича, деликатно извинился перед нами за прерванный разговор и бесшумно удалился.

Не удержавшись, я спросил Зюкина, как ему нравится такое подобострастное отношение к себе. Он ответил, что сам никогда не кланялся и не любит, если другие кланяются, и что стиль этот уходит в прошлое, но вот что касается «посетителя», его уже, наверное, не исправить...

Лет пять назад, помню, один из секретарей ЦК комсомола отчитывал по телефону, как мальчишку, пятидесятивосьмилетнего заместителя главного редактора «Смены». В тот момент я оказался в кабинете нашего зама и испытал и боль, и стыд за этого пожилого человека, с красным от волнения лицом стоящего навтыяжку с телефонной трубкой в руке. Кстати, этот секретарь ЦК и поныне на своем посту.

Вспомнив об этом случае, спро-



сил у Зюкина, что означает картонка рядом с телефоном, на которой написано «Спокойно!». Он пояснил: чтоб не заводиться.

— Есть ли, по вашему мнению, пределы гласности?

— Если говорить о фактическом положении дел — то есть. Почитай, например, что писали газеты о Румынии в начале года и какими терминами они оперируют сейчас.

— Общаетесь ли вы со своими старыми друзьями из Хабаровска?

— Да!.. И порой у меня дома бывает очень тесно.

— Ваше отношение к предстоящему съезду комсомола?

— Это не тот съезд, что поставит точку в перестройке ВЛКСМ. В обществе обстановка нестабильная, грядут кардинальные изменения, и говорить о создании стройной, законченной и стабильной на продолжительное время модели ВЛКСМ — дело, по-моему, гиблое. Главное, что, на мой взгляд, должен сделать съезд, — затвердить новую модель и поставить перед комсомолом такие задачи, которые отвечали бы динамике перемен, происходящих в стране. Для того, чтобы комсомол вписался в них. Может, через год-два придется еще один съезд проводить.

— Не считаете ли вы, что пора уравновесить общественно-политическую и хозяйственно-политическую функции комсомола? В этом случае он мог бы приобрести большую самостоятельность.

— Мне кажется, вариант, когда мы сами кормимся, плох. В большинстве стран все молодежные структуры — забота государства. Оно заинтересовано, чтобы молодежь занималась политикой, воспитывала новых лидеров, представляющих разные взгляды, что в итоге приводит к поиску новых

путей развития общества. У нас по-другому. Сложилось так, что с 1959 года мы работаем без дотации государства и комсомол полностью содержит себя сам.

Сейчас ВЛКСМ отказывается от монополии в молодежном движении. Но пока это декларация, ибо мы не можем субсидировать другие организации. Поэтому хозяйственная деятельность необходима в связи с объективными условиями, хотя, думаю, мы не будем ее сильно развивать.

Вот тут я с Зюкиным не согласен. Пусть в других странах государство содержит свои молодежные организации. Но разве молодым приятно чувствовать себя нахлебниками? Да и политика-то, как известно, — концентрированная экономика. Значит, хозяйственно-политическая деятельность — это школа политиков, руководителей, наконец, конкретное дело для молодых.

— Портреты Ленина, Горбачева и Рыжкова на стенах вашего кабинета помогают вам в жизни или это традиция?

— Традиция... Портреты тут с незапамятных времен, их заботливо обновляют после смены политического руководства. Но ничего плохого в этом не вижу. В политическом институте вполне могут висеть портреты политических лидеров, если еще и уважаешь их. Не могу сказать, что на сто процентов разделяю все точки зрения Горбачева и Рыжкова, но отношусь к ним с уважением.

— Ваш прогноз: будет ли комсомольская организация страны единой?

— Думаю, да. Единство определяется не единством всех организационных норм, а прежде всего идейным единством и лишь самыми необходимыми организацион-

ными нормами, например, единым членством.

Вот литовский комсомол вышел из ВЛКСМ. Но это результат не состояния комсомола, а состояния общества. Сделана попытка решать экономические, национальные проблемы путем вычленения структур. Политических в том числе. Поэтому рассматривать литовскую ситуацию вне контекста происходящего в обществе нельзя.

— С кем бы из секретарей ЦК ВЛКСМ пошли в разведку?

— Не раздумывая — с Елифанцевым. Это честный, открытый человек.

— Какие современные музыкальные группы вам нравятся?

— С большим уважением отношусь к творчеству Бориса Гребенщикова, люблю «Машину времени».

— Если бы вам предоставилась возможность что-то изменить в стране, какой бы шаг вы приняли?

— Прежде всего надо на порядок ускорить демократизацию в партии. Претендуя на лидерство в перестройке, нельзя отставать самим.

Формирование выборных партийных органов должно быть демократичней. В комсомоле уже два года избирают секретарей комитетов с альтернативой, с предварительными программами, а в партии это только-только появляется.

Мне кажется, и процесс передачи прав хозрасчетным образованиям идет очень медленно. Правительство недостаточно занимается вопросами развития кооперации. Разрешают что-то кооператорам понемногу. Вот тут разрешили, тут, а потом сверху смотрят, как они будут из этой ситуации выплывать. Хотя логичнее сделать ставку на принцип наибольшего благоприятствования. Разрешительная же

система приводит к тому, что в кооперативы бегут те, кто хочет хватануть, пока лавку не прикрыли, и возникают всякие негативные явления. А если бы развитие кооперации шло широким фронтом и с государственной программой помощи, была бы совершенно иная картина.

— Если бы вам было сейчас четырнадцать лет, вы вступили бы в комсомол?

На что я рассчитывал, задавая этот вопрос? Что Зюкин ответит: «Нет»? А способен ли вообще четырнадцатилетний школьник оценить: нужен он комсомолу и нужен ли комсомол ему? Как я сам поступил бы на месте восьмиклассника и на месте Зюкина, задумавшегося сейчас над вопросом? Другое было время, другой комсомол. Наверное, я ответил бы: не знаю. Это было бы честно по крайней мере.

Зюкин опять закурил. Дымит, как паровоз.

— Четырнадцатилетнему пацану сориентироваться в нынешней ситуации очень трудно. Определятся совсем немногие. Прежде всего потому, что плюрализм в молодежном движении — пока только лозунг. Когда будут разные организации и на первичном уровне можно будет выбрать приемлемые ценности, вот тогда и можно будет говорить о выборе. Сейчас у подростков выбора нет. Что касается меня, мне уже не четырнадцать лет, и, отвечая на этот вопрос, я или себя, или тебя обману.

— Сегодня утром, когда вы проснулись, о чем подумали?

— О том, что надо успеть приготовить завтрак.

— Что, сами готовите?

— Да, завтрак люблю готовить сам.

— Кто из депутатов вам импонирует больше других?

— Собчак.

— Как коммунист Зюкин относится к совмещению постов генсека и президента?

— Не очень хорошо. Считаю это явление неперспективным.

— Сколько лет вы считаете возможным для себя проработать в комсомоле?

— Минимум — пять месяцев, максимум — год с небольшим.

— Какие причины могут вынудить вас уйти в отставку?

— Если на съезде будут приняты решения, которые лишь подмажут фасад ВЛКСМ. Когда старое вино наливают в новый кувшин, оно все равно прокисает. Нужны изменения самой модели организации.

Каких ответов я ждал? На острые вопросы хотелось получить острые ответы. Таковыми они были не всегда. Но прекрасно понимаю, что нахожусь в неравных условиях с Зюкиным: могу позволить себе больше, чем он. Как бы он ни критиковал комсомол, он — в системе. Какие бы новаторские предложения ни делал — опять же в рамках системы.

Да, мне хотелось, чтобы на вопрос «какой тип политиков — радикалов или сторонников малых шагов — ему ближе и к какому он относит себя?» он ответил бы: к радикалам. А он нашел более мягкий вариант, сказал, что за золотую середину.

Сейчас, перелистывая распечатку нашей беседы, еще раз думаю о том, насколько искренне он отвечал. Да, Зюкин не лукавил. Его мнение не всегда совпадает с моим, но он не выкручивался, как это нередко делают его коллеги.

Я не просто брал интервью

у Зюкина — в какой-то степени ставил свои оценки секретарю ЦК. И он, понимая это, не мог не волноваться.

В половине четвертого мы попрощались. До конца рабочего дня Зюкина оставалось четыре часа.

**ЮРИЙ РАГОЗИН**



# ЧИТАТЕЛЬ «СМЕНА» ЧИТАТЕЛЬ

## Г Инвалид просит помощи

Г Здравствуйте! Пишет вам матрос Балтийского флота, служивший во время войны на лидере «Минск».

То, что натворили эти фарцовщики, называющие себя рабочими, поистине дикий случай надругательства над святой памятью об «Авроре» («Смена» № 21 за 1989 г.).

Сразу после войны, в 45-м или в 46-м году, на Кронштадтском рейде, да и в самой «Купеческой гавани» проходили съемки кинофильма «Крейсер «Варяг». Вместо «Варяга» для съемок использовалась «Аврора». Она в то время еще не была историческим памятником (официально). На «Аврору» поставили четвертую трубу, наварили нос — форштевень, чтобы он выглядел таким же, как на подлиннике, и стали снимать фильм.

После «Аврору» затащили в Линкоровский док в Кронштадте и стали подготавливать ее к вечной стоянке — как памятник Октября.

Мне по счастливой случайности удалось побывать на «Авроре». Машины, механизмы стояли на местах. Уди-

вило то, что днище корабля во внутренней его части заливалось жидким бетоном. Мы спросили у рабочих: зачем они это делают? Нам ответили, что это делается с целью сохранения на вечные времена подводной части корабля. Мы поняли их намерение и подумали, что, пожалуй, так действительно лучше.

Скажу этим барахольщикам, что рабочие Кронштадта, несмотря на голодное послевоенное время — буханка хлеба стоила 400 р., — ни винтика и ни болтика не стащили с корабля. В то время они были куда как порядочнее. И культурнее.

**СЕМЕНОВ А. Г.,**  
г. Киров

Г В последнее время часто читаю, слышу по радио, как много внимания уделяет наше государство инвалидам. И мне, инвалиду детства, два года назад бесплатно выделили мотоколяску. Я очень обрадовался, но моя радость оказалась напрасной, так как на этой коляске я мало езжу: за два года уже два раза ремонтировал двигатель, и вообще

- Г Еще одна исповедь кооператора
- Г За «мудрое» руководство — персональная пенсия
- Г О библиотекаре замолвите слово...

по нашим дорогам невозможно ездить на таком механизме.

Нам, инвалидам, нужна не скоростная техника, самое главное для нас — надежность в эксплуатации, мощный двигатель. Иной раз плакать хочется — маленькая горочка, а ты на своей мотоколяске не можешь ее преодолеть. Вот и проклинаешь конструкторов и изготовителей. Прошу — помогите мне. Помогите всем инвалидам.

**М. СОГОТАЕВ,**  
с. Пешгол Таштынского р-на  
Красноярского края

Г Прочитала статью «Стрижка под ноль» («Смена» № 21, 1989 г.), и стало мне очень горько. Ведь живешь надеждой, что когда-нибудь наша экономика пойдет в гору. Появится в магазинах наконец-то что тебе необходимо. Ну, а когда узнаешь, как у нас «поддерживают» работу по-настоящему деловых, энергичных людей, хочется плакать. Нет, не любят у нас, когда человек самым честным образом начинает много зарабатывать. Кому-то, видимо, становится

очень неудобно от этого...

**РАМИЛЯ ГИЛЯЗЕДИНОВА,**  
Стерлитамак

Г Мое мнение: правильно сделали, что прикрыли кооператив «Техника» — сборище рвачей и жуликов, которые решили набить себе карманы деньгами (незаработанными) за счет нашей беды — беспхозйственности. Непонятно только, почему автор статьи стоит за них горой, вот, мол, какие они хорошенькие, инициативные.

Да если бы они были хорошенькие, то боролись бы с нашей бедой, не сплавляя за рубеж все, что плохо лежит, и снабжая компьютерами Внешторг и Минюст, а направили бы свою энергию на то, чтобы этого «плохо лежит» у нас не было, и снабжали бы компьютерами школы. Но у членов кооператива одна цель: как можно быстрее и больше урвать денег, а, как известно, со школ взять нечего. Вот какие они хорошенькие! Это первое.

И второе. Как вы можете печатать такие бредовые статьи, как статья П. Хме-



линского «Ненападение» («Смена» № 21, 1989 г.)? Где-то и в чем-то все-таки должна быть граница плюрализма?

**РЯБОВ,**  
офицер запаса,  
п. Кокошкино, Московская область

Первоначальная фантазия, что пенсионеры и инвалиды будут шить тапочки, трусы и завалят ими дыру под названием «рынок», не оправдалась. Слишком много у нас людей талантливых, умных, но не находящих себе применения в условиях нашей страны. Они, а не пенсионеры, компьютеры, а не тапочки стали основой нового дела. О жуликах, грязи и прочем чуть ниже.

Из «тапочек» выросло ужасное детище, не предусмотренное заранее. Пришлось срочно душить новорожденного. Закрытие видео- и издательских кооперативов насторожило всех кооператоров; последующий разгул «святой инквизиции» — Минфина — выбил последнюю веру в закон.

У нас оказалась непорядочный партнер — правительство. Дальше — больше. ВЦСПС натравливает народ на кооперацию, в ход идут приемы «черной сотни» — ищи врага! А впереди — закон о собственности, закон об аренде и прочее! Кто в них поверит?

Когда мы регистрировали свой художественный кооператив, открыто заявили свое кредо: независимость. Какое глухое бешенство было в глазах местных вождей!.. Какие издевательства

пришлось перенести — от кликушества райисполкомовских чиновников («Закроем!») до обыска в моем личном сарае! Да, я не Тарасов. До миллионов мы бы никогда не доросли, а уж доллар и в глаза не видели, как и компьютер, но мы типичны для кооперации — и по положению, и по той травле, что бушует по стране. Проверки нашей отчетности не устраивали местную власть: не ворует, нет повода для расправы. Тут, кстати, и приходит закон о новых налогах. 45 плюс 25 плюс 7 плюс 10 плюс 13 процентов вместо прежних 2 плюс 7 плюс 10 плюс 13. Сосчитали? Кого вспомнили? Швондера? Правильно.

С какой радостью мне подсунули для подписи эту швондеровскую бумажку!..

Все, друзья! Лемкин Николай Егорович, 39 лет, выпускник Горьковского художественного училища 1976 года, бывший слесарь, художник, директор детской художественной школы, стал бывшим председателем кооператива!

Кстати, я еще и бывший сторонник перестройки. Да, есть в кооперации нечестные люди, но никакими законами их не вытравить — они будут, ибо бесчестны те, кто обещает одно, а делает другое. Бесчестна система, кормящая руководителей бездельников и бющая по рукам работающих.

Жалко Артема Тарасова — умница; жалко академика Тихонова и профессора Федорова — умницы; жалко народ, обозленный дефицитом, убогой жизнью, натравлен-



ный на «жулика-кооператора».

**НИКОЛАЙ ЛЕМКИН,**  
Горьковская область

▮ Спасибо за статью «Непрожиточный минимум» в № 15 за прошлый год. Спасибо, я уверен, скажут вам десятки миллионов пенсионеров. Вот только мало вы коснулись персональных пенсионеров: сколько их всего в нашей стране и кто они в прошлом? Они куда более обеспечены материально. И в магазине регулярно спецпайки только для них. А вот, спрашивается, за что общество должно их содержать на более высоком материальном уровне? Ведь подавляющее их большинство — это номенклатурные работники, которые разрабатывали «генеральную линию», и те, кто эту «линию» ретиво проводил в жизнь, ни на сантиметр не уходя в сторону. И это ведь по их вине сейчас мы имеем то, что имеем. А вернее, ничего не имеем: ни в сфере материальной, ни в духовной, ни в моральной. Это под их «мудрым» руководством мы шли к пропасти. И теперь десятки миллионов наших сограждан нищие или на грани нищеты: трудились-трудились, но к концу жизни оказались у разбитого корыта и вынуждены, доведенные до отчаяния, преодолевать барьер человеческого достоинства, гордости, стыда, протягивать руку за подаянием.

Я лично знаю многих персональных пенсионеров, и нет среди них ни одного, кто производил бы материальные

ценности. Эти персональные и детей-то заводили по одному, а многие и ни одного, жили в свое удовольствие. Так спрашивается, чьи же дети работают, чтобы персональные потребляли по повышенной норме? Ведь это же кричащий факт. В доверительной беседе на вопрос: «За что дали персональную?», — отвечают с ухмылкой: «Уметь надо работать». И вот теперь, пока мы говорим да спорим, они, персональные, как тот кот: «слушает да ест», причем побольше и повкуснее, чем другие.

Сердце сжимается от боли и обиды, от несправедливости, когда видишь жалких стариков, всю жизнь отдавших от зари до зари работе, без выходных, и теперь доживающих свой век в нищете, голоде и холоде.

**А. ТАБАЦКОВ**  
**ЧИАССР,**  
**ст. Шелковская**

▮ Я всегда внимательно читаю «Смену», особенно публикации рубрики «Читатель» — «Смена» — читатель». И вот подумала: почему практически никогда в прессу не обращаются с жалобами (а в основном к вам обращаются именно с жалобами) библиотекари? Вы поняли, конечно, я — библиотечкарь. Образование высшее, зарплата низшая — оклад 110 рублей. У меня двое детей: сын — студент, дочь — школьница. На нее имею от государства пособие 25 рублей, стипендия у старшего, вот и все наши доходы.

Что же меня ждет в ста-

126

рости? Велика ли будет пенсия с такого оклада? И как жить на эти деньги нам троим сейчас? А главное, почему наша работа так низко ценится? Неужели она никому не нужна? Ведь задача библиотекаря прививать любовь к чтению, открывать горизонты, сеять разумное, доброе, вечное. И мы стараемся делать все возможное. Знаете, сколько труда стоит мне подготовить и провести обзор художественной литературы на заданную тему в школе? Неделя кропотливой подготовки. Надо прочитать горы книг, выбрать из них наиболее яркие, убедительные строки, связать между собой порой разные произведения, изучить критический материал, высказать и свое мнение по тому или иному произведению, наконец, отрепетировать, чтобы уложиться в сорок пять минут, и только тогда выходить к детям. И таких «мероприятий» приходится проводить до 25—30 в год. Это все помимо основной работы по обслуживанию населения, по выполнению плана по книговыдаче, по количеству читателей и посещений. И отойти от этого никак нельзя. План есть план. Считается, что работа наша легкая — говори да говори. Но к концу дня так устаешь отвечать на вопросы, запросы, требования, что вечером дома нет сил радио послушать. Целый день мечешься из зала выдачи в хранилище — стопку книг туда, стопку оттуда, на стул или по лесенке — на стеллажи. Легко, не правда

ли? А если пришла установка на списание ветхой или устаревшей литературы — горы книг перевернешь. Новые привезут, ты и за грузчика работаешь. Если же кто-то на работу не вышел или, еще хуже, уволился (текучесть кадров страшная), то нагрузка, ранее распределявшаяся на трех человек, ложится на двух-одного. И это без всяких доплат, без премий.

Так какой же он, сегодняшний библиотекарь? Как правило, это женщина, страдающая от постоянной нехватки денег, едва сводящая концы с концами, стремящаяся вырастить своих детей порядочными людьми, честно работающая, что называется, на голом энтузиазме. А душа за нашу молодежь болит. Почему растет подростковая преступность? Почему молодежь все больше пьет, увлекается порнографией, тупеет? Почему в наше время столько малограмотных, ленивых, равнодушных молодых людей? Есть в этом часть и нашей вины. Но я уверена, что библиотекари, люди, в большинстве своем образованные, эрудированные, готовы поделиться своими знаниями, работать с максимальной отдачей, если вырвутся из тисков своего жалкого, униженного существования. Где найти силы, чтобы говорить подросткам о прекрасном, возвышенном, одновременно думая: господи, у кого бы занять пятерку до зарплат?

**Е. П. ПЕТРОВА,**  
Рязань



# СИНИМ ПО БЕЛОМУ

СЕРГЕЙ РОМЕЙКОВ

Да откуда же взялось слово такое, трудное для иностранных туристов?

Сказывали старики детям, а те, посевев, своим, что были мужики. Что ходили они в поисках жизни лучшей по земле, да и забрели в леса подмосковные. В лесах тех привольно было птицам, зверью всевозможному. И мужикам приглянулось место. Решили поселением здесь остановиться. А пока посылали гонцов за женами да детишками, начали бородатые лес вокруг выжигать помаленьку — приспособлять пространство под жилье да под хозяйство. Сменялись поколения, менялось и слово это: из Жжели в Жгель превратилось, а до нас уже Гжелью дошло.

Так или по-другому это было — нам сейчас судить трудно, но именно это имя — Гжель — упомянуто в завещании князя Ивана Даниловича Калиты, по которому

отписывалась она старшему из сыновей, Семену.

Было это 650 лет назад.

...Иду по цехам производственного объединения «Гжель». Предприятие, слава о котором давно разошлась по миру, — сердцевина промышленной гжельской зоны. Продукция — чайники и самовары, замысловатые кумганы и подсвечники, шкатулки, вазы, статуэтки... Всего не перечислить — изделия 300 различных наименований выпускаются здесь.

Голубым, лазурным, синим — по белому. Милы и любы нам эти незатейливо, порой даже словно неумело, расписанные изделия. Но за видимым примитивизмом росписи — традиция и высочайший вкус. Так в старину писали беличьей шерсткой — по горшку ли, по какой другой утвари.

Глина. С нее началась Гжель. Из нее вышла.



«Во гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов приискать глины, которая глина годица к аптекарским судам». Век XVII, царь Алексей Михайлович повелел.

А вот еще: «Едва ли есть земля живая и без примешивания где на свете, кою химики девственной называют, разве между глинами, для фарфора употребляемыми, какова у нас гжельская или еще исетская, которой нигде не видал я белизною превосходнее». — Михайло Ломоносов.

Цитаты эти — из книги «Новь древней Гжели» Виктора Логинова, генерального директора объединения.

А вот свидетельство дня сегодняшнего.

— Неразумное хозяйствование, строительство бездумное, где ни попадя, — все это сделало невозможным использовать местное сырье, — говорит главный художник «Гжели» Нелли Якимчук. Добавляет: — Глину теперь с Украины привозят...

Первое, что испытываешь, видя эту кобальтовую, золотую и розовую красоту, — восторг, радость. Потом обывательски трезвеешь: в магазине-то красоты этой не купишь... И успокаиваешь себя рассуждением: появишься гжель в каждом доме — перестанет быть гжелью, в посуду превратится.

Искусство — вещь штучная. Иначе получается ширпотреб. Думал об этом, глядя на тысячи чашечек и чайничков, расставленных на специальных стеллажах-тележках и готовых к многочасовому обжигу. Мастерство и ремесло, неповторимость и — конвейер. Как уживаются, совмещаются эти понятия?

Говорим об этом с Сергеем Симоновым, художником, в тесной мастерской; повернуться, страш-

но — не задеть, не разбить бы чего! А мастерскую эту крохотную они с женой, Катей Осташковой, делают. И не только они, все художники, работающие в творческих группах, ютятся в таких же каморках.

— Но не это главная беда. — Сергей скользит взглядом по коллекционному, выставочным работам. — Беда в том, что мы, по сути, крепостные, даже нет, хуже крепостных. Тем меценат или просто богатей работу заказывал и — платил за нее. У нас же между заказчиком и исполнителем бюрократических звеньев не сосчитать...

Не только это его тревожит. С болью говорит, что с каждым днем трудней уберечь традиции той, древней Гжели. «Мы ведь сами с Катей после Абрамцевского училища переучивались...»

Говорит о том, как в недоброй памяти годы, раскулачивая все и вся, едва ли не подчистую истребили не в меру ретивые «комиссары» мало-мальски зажиточных мастеров. За что? Да за то, выходит, что какое-никакое хозяйство вели, а к нему — поди ж ты! — имели все, что для гончарного промысла требуется. Ну чем не враг? Самый что ни на есть контра-собственник!

...Помнит об этом молодой художник Симонов, помнят его товарищи, единомышленники. И живет память о Мастерах.

Познакомлю вас с генеральным директором объединения Виктором Михайловичем Логиновым. И не только потому, что директор. Что справно дело ведет, план выполняет и перевыполняет. Есть поважней причина. Он, Логинов, подвижник. И понимает; жизнь древнейшего русского промысла, продление этой жизни — в будущих мастерах. В том, чтобы опытные, напряженно и плодотворно

работающие сегодня художники не унесли с собой высокое и редкое умение работать с глиной, с краской, с огнем. Сказать острее — чтобы было кому это мастерство да выучку передать.

Не хитрое дело — посадить рядом ученика, дать ему беличью кисть: учись! Так можно вышколить сноровистого подельщика, проворного копировалящика — не более.

Откуда берутся мастера?

Природным художником нужно родиться. Тут никто пособить не может. А вот попытаться выявить, помочь состояться нераскрытому, неведомому пока еще таланту — это задача посильная.

И пошли художники в общеобразовательные школы близлежащих деревень. Пошли и в художественную школу. Уроки изобразительного искусства — лепка из пластилина, фарфоровой массы — стали привычными в здешних детских садах. Не все из сегодняшних мальчишек и девчонок вырастут в искусных умельцев. Но сквозь умело раскинутые «сети» не ускользнет настоящее дарование, задержится, прикипит сердцем к дедову делу.

Логинову этого мало. Он делает следующий шаг. Создается первое в стране учебно-производственное объединение — к промышленным мощностям «подключили» Гжельский художественный техникум.

Рассказывает:

— Вчерашние восьмиклассники занятия на 1-м курсе начинают не в учебных аудиториях — четырехнедельной практикой. И так все время учебы: теоретические знания ежедневно закрепляются на рабочих местах, рядом с профессионалами, наставниками.

И потому в каталоге выставки, посвященной 650-летию Гжели, рядом с именами прославленных, всему миру известных художни-

ков-гжельцев лауреата премии Ленинского комсомола В. Розанова, Т. Душановой, Н. Бидак, В. Авдонина и многих других появились имена совсем юных, тех, на кого рассчитывает Логинов, — восьмилетних Вики Морозовой и Оли Павлюшиной, одиннадцатилетних Ромы Хлудова, Маши Удовиченко, Саши Строгова... Они уже **чувствуют** глину, они уже **видят** в бело-синем небе сюжеты своих будущих фантазий.

Кто-кто, а Виктор Михайлович с полным на то правом мог бы повторить за Достоевским: красота спасет мир. И добавить: не сама по себе красота, но возвращенное, взлеянное умение **творить** ее.

...В выполненные по эскизам художников формы подается глина. Аккуратно, фарфоровой смесью крепятся ручки, носики, ножки — собирается изделие. Готовое черне расписывается кобальтом. Это подглазурная роспись, после глазуровки — эту операцию из-за сложности конфигураций изделий проводят вручную — в печь...

И вот тогда расцветают синие цветы Гжели.

Оживают петухи и чудные рыбы. Заводят за чаем беседы бокастые тетки.

Продолжается промысел.

МИЛОВАН ДЖИЛАС

«РАЗГОВОРЫ  
СО  
СТАЛИНЫМ»

(фрагменты из книги) \*

\* Печатается  
с любезного  
разрешения  
автора.



Парадокс состоит в том, что, несмотря на мировую известность — сначала в качестве политического деятеля, затем литератора-публициста и, наконец, автора интереснейших воспоминаний, — Милован Джилас нуждается тем не менее в представлении нашему читателю.

До недавнего времени имя Джиласа если и появлялось на страницах нашей прессы, то неизменно и единогласно сопровождалось резкой критикой, а называя вещи своими именами — безудержной руганью как в его адрес, так и в адрес его произведений, из которых, понятно, ни одно не было опубликовано.

Надеясь, что в скором времени книги Джиласа будут изданы и более подробное жизнеописание их автора станет само собой необходимым, мы ограничиваемся лишь некоторыми этапами его биографии.

Милован Джилас родился в 1911 году в Черногории; изучал юриспруденцию в Белградском университете; в 1932 году вступил в Коммунистическую партию Югославии, за что — употребим современный термин — репрессирован. Выйдя из тюрьмы и примкнув к группе Тито, в 1937 году Джилас становится членом ЦК КПЮ. Разумеется, в годы войны он оказывается в рядах активнейших борцов с фашизмом. После победы занимал крупные политические и государственные посты, с 1953 года Джилас — председатель Союзной народной скупщины. Позже — исключение из партии, тюрьма (1954—1957). И снова семь лет тюрьмы — за публикацию книги «Новый класс». Но освобожденный досрочно в 1961 году Джилас вновь становится узником, на этот раз причина — публикация книги «Разговоры со Сталиным», официально же — «разглашение государственных тайн». Почему для первого знакомства мы выбрали именно эту работу Джиласа?

Говорят: о Сталине уже приелось. Возможно, если, конечно, понимать дело так, что сталинизм — это только Сталин, а не историческое явление, якобы завершенное. С этим трудно согласиться. Но есть другие причины. В самое последнее время книги Джиласа начинают буквально «раздирать» на цитаты. Говорим это не в упрек современному авторам, но понимая, что, будучи непосредственным свидетелем и участником событий, Джилас видел ТО и ТАК, как не могло видеть и осмысливать их большинство из нынешних несвольных создателей «сталинизма» (да простится нам столь высокий и предмету разговора не соответствующий, конечно, термин!). Впрочем, касается это не только отечественных публицистов и историков. Так, читатель, познакомившийся с книгой Р. Конквеста «Большой террор», не мог, конечно, не обратить внимания на постоянные ссылки и обращения автора к книге Джиласа. Пора, как нам кажется, познакомиться и с первоисточником.

Книга эта «событийна», можно даже сказать — сюжетна, однако пусть не смущает читателя столь явная фрагментарность нашей публикации, ибо в данном случае наиболее интересным нам представляется именно взгляд и живые наблюдения участника, а не последовательность событий, охватывающих период конца войны и первые годы после победы.

Было около пяти часов пополудни — я только что закончил доклад во Всеславянском комитете и начал отвечать на вопросы, — когда мне шепнули, что надо немедленно кончать, что есть важное и неотложное дело. Этому моему докладу придавали особое значение не только мы, югославские работники, но и советские — избранной публике меня представил помощник Молотова А. Лозовский. Проблема Югославии явно становилась все более неотложной и для союзников.

Я извинился — или кто-то извинился за меня, — и с недосказанными мыслями меня вместе с генералом Терзичем вывели на улицу и усадили в чужой и довольно потрепанный автомобиль. Машина двинулась, и только тогда незнакомый полковник госбезопасности сообщил нам, что мы будем приняты Иосифом Виссарионовичем Сталиным. <...>

Быть принятым у Сталина — это было наивысшим признанием героизма и страданий партизанских бойцов и нашего народа. Для тех, кто побывал в тюрьмах, участвовал в военной резне и пережил жестокие душевные переломы и борьбу против внутренних и внешних противников коммунизма, Сталин был чем-то большим, чем вождь в борьбе. Он был воплощением идеи, был претворен в коммунистических головах в чистую идею, а тем самым в нечто непогрешимое и безгрешное. Сталин был нынешней победной борьбой и грядущим братством человечества. Я знал, что только благодаря случайности именно я — первый югославский коммунист, которого он принимает. <...>

132 Читатель должен знать, что я тогда верил, что троцкисты, бухаринцы и другие партийные оппозиционеры были действительно шпионами и вредителями и что этим самым были оправданы и жестокие меры по отношению к ним — так же, как и к другим, так называемым классовым врагам. <...>

Я еще не успел внутренне подготовиться, как автомобиль был уже у кремлевских ворот. Здесь нас перенял другой офицер, и машина двинулась по холодным площадям, на которых не было ничего живого, кроме тоненьких нераспустившихся деревьев. <...>

Низкий, полный, рыхлый пожилой служащий предложил нам сесть, а сам медленно поднялся из-за стола и ушел в соседнее помещение.

Все произошло неожиданно быстро: служащий скоро вернулся и сообщил, что можно войти. Я думал, что надо будет пройти еще по крайней мере три кабинета, пока увижу Сталина, но, открыв дверь и переступив порог, я сразу его увидел — он выходил из небольшой соседней комнаты, сквозь открытые двери которой виднелся громадный глобус. Молотов тоже был здесь — плотный и белотелый, в прекрасном темно-синем европейском костюме, он стоял возле длинного стола для заседаний.

Сталин нас встретил посреди помещения — я подошел первым и представился. То же самое сделал и Терзич, произнес весь свой титул и щелкнув каблуками, на что наш хозяин — это было почти смешно — ответил Сталин. <...>

Сталин был в маршальской форме и мягких сапогах, без орденов, кроме Золотой Звезды Героя Советского Союза на



левой стороне груди. В его поведении не было ничего искусственного, не было никакой позы. Это не был величественный Сталин с фотографии или из документальных фильмов — с замедленной продуманной походкой и жестами. Он ни на минуту не оставался спокойным — занимался трубкой с белой точкой английской фирмы Данхилл, очерчивал синим карандашом основное слово темы разговора и потом его постепенно перечеркивал косыми линиями, когда дискуссия об этом приближалась к концу, поворачивал туда-сюда голову, вертелся на месте.

И еще одно меня удивило: он был маленького роста, тело его было некрасивым: туловище короткое и узкое, а руки и ноги слишком длинные — левая рука и плечо как бы слегка ограничены в движениях. У него был порядочный животик, а волосы редкие, хотя совсем лысым он не был даже на темени. Лицо у него было белым с румяными скулами — я узнал потом, что цвет этот характерен для тех, кто подолгу сидит в кабинетах, на советских верхах его называли «кремлевским». Зубы у него были черные и неправильные, загнутые внутрь. Даже усы не были густыми и представительными. Все же голова его не была отталкивающей: что-то было в ней народное, крестьянское, хозяйское — быстрые желтые глаза, смесь строгости и плутоватости. <...>

Одно для меня не было неожиданным: Сталин обладал чувством юмора — юмора грубого, самоуверенного, но не без изощренности и глубины. Он реагировал быстро, резко, без колебаний и, по-видимому, не был сторонником долгих разъяснений, хотя собеседника он выслушивал. Характерно было его отношение к Молотову — очевидно, Сталин считал его своим ближайшим сотрудником. Как я убедился позже, Молотов был единственным из членов Политбюро, к которому Сталин обращался на «ты»; это значит много, если принять во внимание, что русские часто обращаются на «вы» даже к довольно близким людям.

Разговор начался с того, что Сталин поинтересовался нашими впечатлениями о Советском Союзе. Я сказал:

— Мы воодушевлены!

На что он заметил:

— А мы не воодушевлены, хотя делаем все, чтобы в России стало лучше.

Мне врезалось в память, что Сталин сказал именно «Россия», а не «Советский Союз». Это означало, что он не только инспирирует русский патриотизм, но и увлекается им, себя с ним идентифицирует. <...>

Сталин спросил, на ком женился югославский король Петр II. Когда я сказал, что на греческой принцессе, он шутя заметил:

— А что, Вячеслав Михайлович, если бы я или ты женились на какой-нибудь иностранной принцессе, может, из этого вышла бы какая-нибудь польза?

Засмеялся и Молотов, но сдержанно и беззвучно. <...>

Встреча продолжалась около часа.

Но у меня тогда была еще одна более значительная и интересная встреча со Сталиным.

Доставили меня в здание, где нас принимал Сталин, но в другие помещения. Там Молотов собирался к отъезду — наде-



вал легкое пальто и шляпу и сказал, что мы едем на ужин к Сталину. <...>

Автомобиль шел со сравнительно большой скоростью — около восьмидесяти километров в час — без задержек. Очевидно, регулировщики узнавали его по какому-то признаку и пропускали вне очереди. Выехав из Москвы, мы двинулись по асфальтированному шоссе. Позже я узнал, что оно называется Правительственным шоссе, по которому еще долго после войны — а может быть, и сегодня? — разрешено было ездить только правительственным автомобилям. Вскоре мы подъехали к заставе. Офицер, сидевший возле шофера, повернул какую-то табличку за ветровым стеклом, и охрана пропустила нас без всяких формальностей. Правое окно было опущено, Молотов заметил, что мне мешает сквозняк, и начал поднимать окно — только тогда я заметил, что оно очень толстое, и сообразил, что мы едем в бронированном автомобиле. Думаю, что это был «паккард», потому что точно такую машину Тито получил в 1945 году от Советского правительства. <...>

Мы проехали около сорока километров, свернули влево на боковую дорогу и вскоре оказались в молодом ельнике. Снова шлагбаум, затем через короткое время — ворота. Мы были перед небольшой дачей, тоже в густом ельнике.

Как только мы из прихожей вошли в небольшой холл, появился Сталин — на этот раз в ботинках, в своем простом, застегнутом доверху сюртуке, известном по довоенным картинам. В нем он казался еще меньше ростом и еще более простым, совсем домашним. Он ввел нас в небольшой и, как ни странно, почти пустой кабинет — без книг, без картин, с голыми деревянными стенами. Мы сели возле небольшого письменного стола, и он сразу начал расспрашивать о событиях вокруг югославского Верховного штаба.

По тому, как он этим интересовался, само собою обнаруживалось и различие между Сталиным и Молотовым.

У Молотова нельзя было проследить ни за мыслью, ни за процессом ее зарождения. Так же и характер его оставался всегда замкнутым и неопределенным. Сталин же обладал живым и почти беспокойным темпераментом. Он спрашивал — себя и других — и полемизировал — сам с собою и с остальными. Не хочу сказать, что Молотов не проявлял темперамента или что Сталин не умел сдерживаться и притворяться — позже я и того и другого видел и в этих ролях. Просто Молотов был всегда без оттенков, всегда одинаков, вне зависимости от того, о чем или о ком шла речь, в то время как Сталин был совсем другим в своей коммунистической среде. Черчилль охарактеризовал Молотова как совершенного современного робота. Это верно. Но это только внешняя и только одна из его особенностей. Сталин был холоден и расчетлив не меньше, чем Молотов. Но у Сталина была страстная натура со множеством лиц — причем каждое из них было настолько убедительно, что казалось, что он никогда не притворяется, а всегда искренне переживает каждую из своих ролей. Именно поэтому он обладал большей проницательностью и большими возможностями, чем

Молотов. Создавалось впечатление, что Молотов на все — в том числе на коммунизм и его конечные цели — смотрит, как на величины относительные, как на что-то, чему он подчиняется не столько по собственному хотению, сколько в силу неизбежности. Для него как будто не существовало постоянных величин. Преходящей, несовершенной реальности, ежедневно навязывающей нечто новое, он отдавал себя и всю свою жизнь. И для Сталина все было преходящим. Но это была его философская точка зрения. Потому что за преходящим и в нем самом — за данной реальностью и в ней самой — скрываются некие абсолютные великие идеалы, его идеалы, к которым он может приблизиться, конечно, исправляя и сменяя при этом саму реальность и находящихся в ней живых людей.

Глядя в прошлое, мне кажется, что Молотов со своим релятивизмом и способностью к мелкой ежедневной практике и Сталин со своим фанатическим догматизмом, более широкими горизонтами и инстинктивным ощущением будущих, завтрашних возможностей идеально дополняли друг друга. Больше того, Молотов, хотя и маломочный без руководства Сталина, был последнему во многом необходим. Хотя оба не стеснялись в выборе средств, мне кажется, что Сталин их все-таки внимательно обдумывал и сообразовывал с обстоятельствами. Для Молотова же выбор средств был заранее безразличен и неважен. Я думаю, что он не только подстрекал Сталина на многое, но и поддерживал его, устранял его сомнения. И хотя главная роль в претворении отсталой России в современную промышленную имперскую силу принадлежит Сталину — благодаря его многогранности и пробивной силе, — было бы ошибочно недооценивать роли Молотова, в особенности как практика.

Молотов и физически был как бы предназначен для такой роли: основательный, размеренный, собранный и выносливый. Он пил больше Сталина, но его тосты были короче и нацелены на непосредственный политический эффект. Его личная жизнь была незаметной, и когда я через год познакомился с его женой, скромной и изящной, у меня создалось впечатление, что на ее месте могла быть и любая другая, способная выполнять определенные, необходимые ему функции. <...>

В своих воспоминаниях Черчилль образно описывает импровизированный ужин в Кремле у Сталина. Но у Сталина постоянно так ужинали.

В просторной, без украшений, но отделанной со вкусом столовой на передней половине длинного стола были расставлены разнообразные блюда в подогретых и покрытых крышками тяжелых серебряных мисках, а также напитки, тарелки и другая посуда. Каждый обслуживал себя сам и садился куда хотел вокруг свободной половины стола. Сталин никогда не сидел во главе, но всегда садился на один и тот же стул: первый слева от главы стола.

Выбор еды и напитков был огромным, — преобладали мясные блюда и крепкие водки. Но все остальное было простым, без претензий. Никто из прислуги не появлялся, если Сталин не звонил, а понадобилось это только один раз, когда я захотел



пива. Войти в столовую мог только дежурный офицер. Каждый ел, что хотел и сколько хотел, предлагали и понуждали только пить — просто так и под здравицы.

Такой ужин обычно длился по шесть и более часов — от десяти вечера до четырех-пяти утра. Ели и пили не спеша, под непринужденный разговор, который от шуток и анекдотов переходил на самые серьезные политические и даже философские темы. <...>

Сотрудники Сталина тоже привыкли к такому образу жизни и работы, проводя ночи на ужинах у Сталина или у кого-нибудь из других руководителей. В своих кабинетах они до обеда не появлялись, зато обыкновенно оставались в них до поздней ночи.

Не было никакой установленной очередности присутствия членов Политбюро или других высокопоставленных руководителей на этих ужинах. Обычно присутствовали те, кто имел какое-то отношение к делам гостя или к текущим вопросам. Но круг приглашаемых был очевидно узок и бывать на этих ужинах считалось особой честью. Один лишь Молотов бывал на них всегда — я думаю, потому, что он был не только наркомом (а затем министром) иностранных дел, но фактически заместителем Сталина.

На этих ужинах советские вожди были наиболее близки между собой, наиболее интимны. Каждый рассказывал о новостях своего сектора, о сегодняшних встречах, о своих планах на будущее. Богатая трапеза и большие, хотя не чрезмерные, количества алкоголя оживляли дух, углубляли атмосферу сердечности и непринужденности. Неопытный посетитель не заметил бы почти никакой разницы между Сталиным и остальными. Но она была: к его мнению внимательно прислушивались, никто с ним не спорил слишком упрямо — все несколько походило на патриархальную семью с жестким хозяином, выходок которого челядь всегда побаивалась.

Сталин поглощал количества еды, огромные даже для более крупного человека. Чаще всего это были мясные блюда — здесь чувствовалось его горское происхождение. Он любил и различные специальные блюда, которыми изобилует эта страна с разными климатами и цивилизациями, но я не заметил, чтобы какое-то определенное блюдо ему особенно нравилось. Пил он скорее умеренно, чаще всего смешивая в небольших бокалах красное вино и водку. Ни разу я не заметил на нем признаков опьянения, чего не мог бы сказать про Молотова, а в особенности про Берия, который был почти пьяницей. Регулярно обедавшие на таких ужинах советские вожди днем ели мало и нерегулярно, а многие из них один день в неделю для «разгрузки» проводили на фруктах и соках. <...>

Рассказывая о способах ведения борьбы и жестокости войны в Югославии, я пояснил, что мы не берем немцев в плен, потому что и они каждого нашего убивают. Сталин перебил с улыбкой:

— А наш один конвоировал большую группу немцев и по дороге перебил их всех, кроме одного. Спрашивают его, когда он



пришел к месту назначения: «А где остальные?» — «Выполняю,— говорит,— распоряжение Верховного командующего: перебить всех до одного — вот я вам и привел одного». <...>

Рассказывали и анекдоты, и Сталину особенно понравился один, который рассказал я. Разговаривают турок и черногорец в один из редких моментов перемирия. Турок интересуется, почему черногорцы все время затевают войны. «Для грабежа,— говорит черногорец,— мы люди бедные, вот и смотрим, нельзя ли где пограбить. А вы ради чего воюете?» — «Ради чести и славы»,— отвечает турок. На это черногорец: «Ну да, каждый воюет ради того, чего у него нет».

Сталин с хохотом прокомментировал:

— Ей-богу, глубокая мысль: каждый воюет ради того, чего у него нет!

Смеялся и Молотов, но опять скупно и беззвучно — действительно, у него не было способности ни создавать, ни воспринимать юмор. <...>

Мир, в котором жили советские вожди — а это был и мой мир,— постепенно начинал представлять передо мною в новом виде: ужасная, непрекращающаяся борьба на всех направлениях. Все обнажалось и концентрировалось на сведении счетов, которые отличались друг от друга лишь по внешнему виду и где в живых оставался только более сильный и ловкий. И меня, исполненного восхищения к советским вождям, охватывало теперь головокружительное изумление при виде воли и бдительности, не покидавших их ни на мгновение.

Это был мир, где не было иного выбора, кроме победы или смерти.

Таков был Сталин — творец новой социальной системы. <...>

В апреле в Советский Союз должна была отправиться делегация для подписания договора о взаимопомощи. Делегацию возглавлял Тито, а сопровождал его министр иностранных дел Шубашич. В делегации были два министра экономики — Б. Андреев и Н. Петрович. В нее включили и меня. <...>

Молотов, возглавлявший прием, холодно пожал мне руку, даже не улыбнувшись, чтобы не показать, что мы знакомы. Было неприятно и то, что Тито отвезли в специальную дачу, а нас, остальных, в гостиницу «Метрополь». Соблазн и искушения все усиливались. Они даже приобрели формы целевой акции.

На следующий день или через день в моей комнате зазвонил телефон. Послышался обольстительный женский голос:

— Здесь Катя.

— Какая Катя? — спрашиваю.

— Ну, Катя, как будто вы меня не помните? Я хотела бы с вами встретиться, я обязательно должна с вами встретиться!

Напряженно думаю: «Катя... Катя... нет, я не знаком ни с одной», — и сразу подозрение — советская разведка устраивает мне ловушку, чтобы потом шантажировать: в коммунистической партии Югославии строго следят за личной моралью. Для меня

не было ни новым, ни странным, что «социалистическая» Москва, как и любой миллионный город, кишит незарегистрированными проститутками. Но я прекрасно знал, что с иностранцами высокого ранга — о которых здесь заботятся и которых охраняют лучше, чем где-либо в мире, — они могут связаться только по желанию разведки. Я делаю, что сделал бы и без этого — говорю спокойно и коротко:

— Оставьте меня в покое! — и опускаю трубку.

Я думал, что этот незамысловатый и грязный прием применили только ко мне. Но поскольку я занимал руководящее положение в партии, я считал своей обязанностью проверить, не было ли чего подобного с Петровичем и Андреевым. Хотелось мне и пожаловаться им, как людям. Да, им также звонила, но не Катя, а Наташа или Вава! Я им все разъяснил и почти приказал не входить ни с кем в контакт.

А у самого смешанные чувства — облегчение, что прицел взят не только на меня, и одновременно усиление тревоги: почему, зачем все это?

Мне даже в голову не приходило спросить у д-ра Шубашича, не пытались ли подойти и к нему. Он не коммунист, и мне неудобно раскрывать перед ним в неприглядном виде Советский Союз и его методы — тем более что они направлены против коммунистов. Но в то же время я был убежден, что Шубашичу никакая Катя не звонила. <...>

Вокруг договора о союзе между Югославией и СССР ничего значительного не произошло. <...>

138 Подписание происходило в Кремле 11 апреля вечером, в очень узком официальном кругу. Из общественности — если это выражение допустимо для тамошней обстановки — были только советские киносъемщики.

Живописный эпизод произошел, когда Сталин с бокалом в руке обратился к официанту, предложив ему чокнуться. Официант стал конфузиться, но Сталин спросил:

— Ты что, не хочешь выпить за советско-югославскую дружбу? — И тот послушно взял бокал и выпил до дна.

Во всей сцене чувствовалась демагогия и еще больше — гротеск. Но все блаженно заулыбались, как бы видя в этом доказательство, что Сталин не гнушается простого народа, что он близок к нему. <...>

После ужина мы смотрели фильмы. Сталин сказал, что ему надоела стрельба — показывали не военный, а колхозный фильм с плоским юмором. Во время фильма Сталин делал замечания, реагировал на ход действия примерно так, как это делают необразованные люди, принимающие художественную реальность за подлинную. Второй фильм был довоенный, на военную тему: «Если завтра война...». В этом фильме война ведется с применением ядовитых газов, а в тылу агрессоров-немцев вспыхивают восстания пролетариата. После окончания фильма Сталин спокойно заметил:

— Разница с тем, как это было на самом деле, небольшая — не было только ядовитых газов и не восстал немецкий пролетариат.



Все устали от здравниц, от еды, от фильмов. Сталин снова молча пожал мне руку, но я чувствовал себя уже спокойней и беззаботней, хотя и не знал, почему. Может, из-за сносной атмосферы? Или потому, что во мне созрели какие-то решения и я успокоился? Вероятно, и потому и поэтому. Во всяком случае, жить можно и без сталинской любви.

Но через день или два, на торжественном обеде в Екатерининском зале Кремлевского Дворца Сталин оттаял — он вообще оживал и приходил в хорошее настроение, когда ел и пил.

По тогдашнему советскому церемониалу Тито досталось место слева от Сталина и справа от Калинина, тогдашнего председателя Верховного Совета. Мне — слева от Калинина. Молотов и Шубашич сидели напротив Сталина и Тито, а все остальные югославские и советские деятели — вокруг.

Атмосфера была неестественной и сдержанной: присутствующие, кроме д-ра Шубашича, были коммунистами, а обращались друг к другу во время тостов «господин» и точно придерживались международного протокола, как будто эта встреча представителей различных систем и идеологий. <...>

Сталин нарушил официальную атмосферу — он один мог это сделать, не рискуя подвергнуться критике за «ошибку». Он просто встал, поднял бокал и, обратившись к Тито, назвал его «товарищ», добавив, что не хочет называть его «господином». Это снова всех сблизило и оживило атмосферу. Радостно заулыбался и д-р Шубашич, хотя трудно было поверить, что он делал это искренне — впрочем, притворство не было несвойственно этому политику без идей и каких бы то ни было устойчивых принципов. Сталин начал шутить, острить и поддевать через стол, весело ворчать. Оживление не прекращалось.

Старик Калинин, который был почти слеп, с трудом находил бокал, посуду, хлеб, и я ему все время старательно помогал. Тито за день или за два до этого был у него на официальном приеме и сказал мне, что старик еще не совсем сенилен\*. Но по подробностям, на которые обратил внимание Тито, и по замечаниям Калинина на банкете, можно было скорее заключить обратное.

Сталин, конечно, знал о дряхлости Калинина, и неуклюже подшутил над ним, когда тот заинтересовался югославскими сигаретами Тито.

— Не бери — это капиталистические сигареты! — сказал Сталин, и Калинин в смятении выронил сигарету из дрожащих пальцев.

Сталин засмеялся, став похожим на фавна. Через несколько минут все тот же Сталин поднял тост в честь «нашего президента» Калинина, но это были пустые громкие слова в адрес человека, уже ничего, кроме пустой фигуры, собою не представляющего.

Здесь в более широком официальном окружении обожествление Сталина ощущалось сильнее и непосредственней.

Сегодня я мог бы сказать: обожествление или, как теперь

\* Сенильный — старческий (Примечания редакции)



говорится, «культ личности» Сталина создавал не только он сам, а в такой же, если не в большей степени сталинское окружение и бюрократия, которым такой вождь был необходим.

Отношения, конечно, изменились: превращенный в божество, Сталин со временем стал настолько силен, что перестал обращать внимание на изменения в нуждах и потребностях тех, кто его возвеличил.

Маленький неуклюжий человек шествовал по золотым и махитовым царским палатам, перед ним открывался путь, его провожали горящие восторженные взгляды, слух придворных напрягался, чтобы запомнить каждое его слово. А он, уверенный в самом себе и своем деле, как будто не обращал на все это внимания. <...> Сталин знал, что он — одна из наиболее деспотичных личностей человеческой истории. Но его это нимало не беспокоило: он был уверен, что вершит суд истории. Ничто не отягощало его совесть, несмотря на миллионы уничтоженных от его имени и по его распоряжению, несмотря на тысячи ближайших сотрудников, которых он истребил как предателей, когда они усомнились в том, что он ведет страну и народ к благосостоянию, равенству и свободе. Борьба была опасной, долгой и все более коварной по мере того, как противники становились малочисленнее и слабее. Но он победил, а практика единственный критерий истины! И что такое совесть? Существует ли она вообще? Для нее нет места в его философии и практике. И человек, между прочим — результат производственных сил.

Поэты им вдохновляются, оркестры гремят кантатами о нем, философы и институты пишут тома о произнесенных им фразах, а казнимые мученики умирают, выкрикивая его имя. Сейчас он победитель самой большой войны в истории, и его абсолютная власть над шестой частью земного шара неудержимо ширится дальше. Поэтому он верит, что в его обществе нет противоречий и что оно во всем превосходит любое другое общество.

И он шутит со своими придворными — «товарищами». Он шутит не только из царского великодушия. Царственность лишь в том, как он это делает: он никогда не шутит над самим собой. Он шутит потому, что ему нравится спускаться с олимпийских высот — показать, что он живой человек среди людей, время от времени напомнить, что личность без коллектива — ничто.

И я увлечен Сталиным и его шутками. Но краешек мозга и мое моральное существо трезвы и взволнованы: я замечаю и уродливое и не могу помириться с тем, как Сталин шутит и как он сознательно не хочет сказать мне человеческого товарищеского слова.

И все же я был приятно удивлен, когда на интимный ужин на даче Сталина пригласили и меня. Д-р Шубашич, разумеется, об этом даже не подозревал — из югославов там были только мы, югославские министры-коммунисты, а с советской стороны — ближайшие сотрудники Сталина: Маленков, Булганин, генерал Антонов, Берия и, конечно, Молотов.

Как обычно, около десяти часов вечера мы собрались за столом у Сталина — я приехал вместе с Тито. Во главе стола сел Берия, справа Маленков, затем я и Молотов, потом Андреев

и Петрович, а слева Сталин, Тито, Булганин и генерал Антонов, заместитель начальника Генерального штаба.

Берия был тоже небольшого роста — в Политбюро у Сталина, наверное, и не было людей выше его. Берия тоже был полный, зеленовато-бледный, с мягкими влажными ладонями. Когда я увидел его четырехугольные губы и жабий взгляд сквозь пенсне, меня как током ударило — настолько он был похож на Вуйковича, одного из начальников белградской королевской полиции, особой специальностью которого было мучить коммунистов. Только усилием воли я отогнал от себя неприятное сравнение, напрашивавшееся так назойливо еще потому, что сходство было не только внешнее, а и в выражении — смесь самоуверенности, насмешливости, чиновничьего раболепия и осторожности. Берия был грузин, как и Сталин, но это нельзя было заключить по его внешности — грузины обычно костистые и бронеты. Он и тут был неопределенным — его можно было принять за славянина или литовца, а скорее всего за какую-то смесь.

Маленков был еще более низкорослым и полным, но типичным русским с монгольской примесью — немного рыхлый брюнет с выдающимися скулами. Он казался замкнутым, внимательным человеком без ярко выраженного характера. Под слоями и буграми жира как будто двигался еще один человек, живой и находчивый, с умными и внимательными черными глазами. В течение долгого времени было известно, что он неофициальный заместитель Сталина по партийным делам. Почти все, связанное с организацией партии, возвышением и снятием партработников находилось в его руках. Он изобрел «номенклатурные списки» кадров — подробные биографии и автобиографии всех членов и кандидатов многомиллионной партии, которые хранились и систематически обрабатывались в Москве. Я использовал встречу, чтобы попросить у него произведение Сталина «Об оппозиции», которое было изъято из открытого употребления из-за содержащихся в нем многочисленных цитат Троцкого, Бухарина и других. На следующий день я получил подержанный экземпляр — он и сейчас в моей библиотеке.

Булганин был в генеральской форме. Крупный, красивый и типично русский, со старинной бородкой и весьма сдержанный в выражениях. Генерал Антонов был еще молод — красивый и стройный брюнет, в разговор вмешивался только когда дело его касалось.

Очутившись лицом к лицу со Сталиным, я вдруг почувствовал уверенность в себе, хотя он ко мне и здесь долго не обращался.

Только когда атмосфера оживилась благодаря напиткам, тостам и шуткам, Сталин посчитал, что наступило время покончить распрю со мной. Он сделал это полущутливым образом: налил мне стопку водки и предложил выпить за Красную Армию. Не сразу поняв его намерение, я хотел выпить за его здоровье.

— Нет, нет, — настаивал он, усмехаясь и испытующе глядя на меня, — именно за Красную Армию! Что, не хотите выпить за Красную Армию?



Разумеется, я выпил, хотя у Сталина я избегал пить что-либо, кроме пива, потому что я не люблю алкоголь и потому, что пьянство не вязалось с моими взглядами. <...>

Затем Сталин спросил: что там было с Красной Армией? Я ему объяснил, что вовсе не хотел оскорблять Красную Армию, а хотел указать на ошибки некоторых ее служащих и на политические затруднения, которые нам это создавало.

Сталин перебил:

— Да. Вы, конечно, читали Достоевского? Вы видели, какая сложная вещь человеческая душа, человеческая психология? Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда — тысячи километров по своей опустошенной земле, — видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов? Вы Красную Армию представляли себе идеальной. А она не идеальная и не была бы идеальной, даже если бы в ней не было определенного процента уголовных элементов — мы открыли тюрьмы и всех взяли в армию. Тут был интересный случай. Майор-летчик пошалил с женщиной, а нашелся рыцарь-инженер, который начал ее защищать. Майор за пистолет: «Эх ты, тыловая крыса!» — и убил рыцаря-инженера. Осудили майора на смерть. Но дело дошло до меня, я им заинтересовался и — у меня на это есть право как у Верховного командующего во время войны — освободил майора, отправил его на фронт. Сейчас он один из героев. Войну надо понимать. И Красная Армия не идеальна. Важно, чтобы она была немцев — а она их бьет хорошо, все остальное второстепенно. <...>

Сталин намеренно — одновременно и шутливо и зло — поддразнивал Тито: плохо отзывался о югославской и хорошо о болгарской армии. Недавно, прошедшей зимой, югославские части, пополненные свежемобилизованными новобранцами, впервые участвовали в серьезных регулярных боевых операциях и терпели неудачи. Сталин, очевидно, имевший обо всем точные сведения, извил:

— Болгарская армия лучше югославской. У болгар были недостатки и враги в армии. Но они расстреляли десяток-другой — и сейчас все в порядке. Болгарская армия очень хороша — обученная, дисциплинированная. А ваша, югославская, — все еще партизаны, не способные к серьезным фронтовым сражениям. Один немецкий полк зимой разогнал вашу дивизию! Полк — дивизию!

Немного погодя Сталин предложил тост за югославскую армию, не забыв при этом прибавить:

— Но за такую, которая будет хорошо драться и на равнине!

Тито воздерживался от реакций на замечания Сталина. Когда Сталин отпускал какую-нибудь остроту по нашему адресу, Тито со сдержанной улыбкой молча поглядывал на меня, а я его взгляд встречал с солидарностью и симпатией. Но когда Сталин сказал, что болгарская армия лучше югославской, Тито не выдержал и воскликнул, что югославская армия быстро устранил свои недостатки.



В отношениях между Сталиным и Тито было что-то особое, недосказанное — как будто между ними существовали какие-то взаимные обиды, но ни один, ни другой по каким-то своим причинам их не высказывал. Сталин следил за тем, чтобы никак не обидеть лично Тито, но одновременно мимоходом придирался к положению в Югославии. Тито же относился к Сталину с уважением, как к старшему, но чувствовалось, что он дает отпор в особенности сталинским упрекам по поводу положения в Югославии.

В какой-то момент Тито сказал, что в социализме существуют новые явления и что социализм проявляет себя сейчас по-иному, чем прежде, на что Сталин заявил:

— Сегодня социализм возможен и при английской монархии. Революция нужна теперь не повсюду. Тут недавно у меня была делегация британских лейбористов, и мы говорили как раз об этом. Да, есть много нового. Да, даже и при английском короле возможен социализм.

Как известно, Сталин никогда открыто не становился на такую точку зрения. Британские лейбористы вскоре после этого получили большинство на выборах и национализировали свыше 20 процентов промышленности. Но все-таки Сталин никогда не признал эти меры социалистическими и не назвал лейбористов социалистами. Я думаю, что он не сделал этого главным образом из-за несогласия и столкновений с лейбористским правительством во внешней политике.

Во время разговора об этом я сказал, что в Югославии, в сущности, советская власть — все ключевые позиции в руках коммунистической партии, и никакой серьезной оппозиционной партии нет. Но Сталин с этим не согласился:

— Нет, у вас не советская власть — у вас нечто среднее между Францией де Голля и Советским Союзом.

Тито добавил, что в Югославии происходит нечто новое. Но дискуссия осталась неоконченной.

Я внутренне не согласился с точкой зрения Сталина и думаю, что мое мнение не отличалось от мнения Тито. <...>

Кто-то высказал мысль, что немцы не оправятся в течение следующих пятидесяти лет. Но Сталин придерживался другого мнения:

— Нет, оправятся они, и очень скоро. Это высокоразвитая промышленная страна, с очень квалифицированным и многочисленным рабочим классом и технической интеллигенцией — лет через двенадцать — пятнадцать они снова будут на ногах. И поэтому нужно единство славян. И вообще, если славяне будут едины — никто пальцем не шевельнет.

В какой-то момент он встал, подтянул брюки, как бы готовясь к борьбе или кулачному бою, и почти в упоении воскликнул:

— Война скоро кончится, через пятнадцать — двадцать лет мы оправимся, а затем — снова!

Что-то жуткое было в его словах: ужасная война еще шла. Но импонировала его уверенность в выборе направления, по которому надо идти, сознание неизбежного будущего, которое предостойт миру, где он живет, и движению, которое он возглавляет.

Все остальное, что он сказал в тот вечер, едва ли стоило запоминать — много ели, еще больше пили и поднимали бесчисленные и бессмысленные тосты.

Возвращаясь на свою дачу, Тито, тоже не переносивший больших количеств алкоголя, заметил в автомобиле:

— Не знаю, что за черт с этими русскими, что они так пьют — прямо какое-то разложение!

Я, конечно, с ним согласился, в который раз напрасно пытаюсь уяснить себе, почему верхи советского общества так отчаянно и систематически пьют. <...>

...Мы возвращались через Киев и по взаимному желанию нашего и Советского правительства остановились на три дня, чтобы нанести визит украинскому правительству.

Секретарем Компартии Украины и председателем правительства был Никита Хрущев, а его наркомом иностранных дел — Мануильский. С ними мы провели все три дня.

Тогда, в 1945 году, еще шла война и можно было выражать кое-какие желания — Хрущев и Мануильский запрашивали: не могла бы Украина установить дипломатические связи с «народными демократиями»?

Но из этого ничего не вышло — Сталин вскоре и сам натолкнулся в «народных демократиях» на сопротивление, так что ему даже в голову не могло прийти укреплять самостоятельность УССР. А краснойбай, живой старичок Мануильский — министр без министерства еще два-три года пустословил в Объединенных Нациях, чтобы потом внезапно исчезнуть и оттуда и утонуть в безымянной массе жертв сталинской или чьей-то другой злой воли.

Совсем иной была судьба Хрущева. Но о ней в тот момент никто не мог даже догадываться.

Он уже тогда — с 1939 года — был в высшем политическом руководстве, хотя считалось, что он не так близок к Сталину, как Молотов или Маленков, или даже Каганович. На советских верхах он считался очень ловким практиком, с большим талантом в экономических и организационных делах, но как оратор или автор был совершенно неизвестен. На руководящие посты Украины он выдвинулся после чисток середины тридцатых годов, но какое он в них принимал участие, мне совершенно неизвестно — впрочем, тогда меня это и не интересовало. Зато хорошо известно, как в сталинской России вообще выдвигались: нужна была решительность и изворотливость в кровавых «антикулацких» и «антипартийных» кампаниях. В особенности на Украине, где к упомянутым «смертным грехам» добавлялся еще и «национализм».

Карьера Хрущева, хотя он выдвинулся еще сравнительно молодым, не была необычной для советских условий: как работник он проходил школы — политические и иные — и поднимался по партийным ступенькам с помощью преданности, ловкости и ума. Он, как большинство руководства, был из нового, послереволюционного, сталинского поколения партийных и советских работников. Война застала его на наивысшем посту Украины. Но когда Красная Армия вынуждена была с Украины отсту-



пить, он получил в ней высокую, но не самую высокую политическую должность — он все еще носил форму генерал-лейтенанта, вернувшись после отступления немцев на место хозяина партии и правительства в Киеве.

Мы слышали, что по рождению он был не украинцем, а русским. Но об этом молчали, избегал говорить на эту тему и он сам, так как было неудобно, что на Украине даже председатель правительства не украинец! Было действительно странно для нас, коммунистов, способных оправдать и объяснить все, что могло бы испортить идеальную картину, изображающую нас самих, что между украинцами (нации, размерами превышающей французскую и кое в чем более культурной, чем русская) не нашлось личности на место председателя правительства.

И от нас нельзя было скрыть, что украинцы часто покидали Красную Армию, как только немцы занимали их родные места,— после того, как немцев выбили, в Красную Армию было мобилизовано два с половиной миллиона украинцев. Против украинских националистов все еще велись небольшие операции — одной из жертв пал талантливый русский генерал Ватутин,— и нас не могло удовлетворить объяснение, что все это — только последствие живучего украинского национализма. Напрашивался вопрос: а откуда этот национализм, если нации в СССР действительно равноправны?

Смущало и удивляло явное русифицирование общественной жизни — в театре говорили по-русски, некоторые газеты выходили на русском языке.

Но мы были далеки от мысли обвинять в этом или в чем-либо другом предупредительного хозяина Н. С. Хрущева, который, как хороший коммунист, мог лишь выполнять распоряжения своей партии, ленинского ЦК и вождя и учителя И. В. Сталина.

Все советские руководители отличались практичностью, а в своем коммунистическом окружении часто и непосредственностью — Н. С. Хрущев и в том, и в другом среди них выделялся.

Ни тогда, ни сегодня — после того как я внимательно прочел его выступления — у меня не создалось впечатления, что его знания выходят за пределы русской классической литературы, а его теоретические познания превышают уровень средних партийных школ. Но, кроме этих поверхностных, набранных на различных курсах знаний, гораздо важнее те, которые он приобрел как самоучка, неустанной работой над собой и еще больше на опыте живой и разносторонней практики. Количество и характер этих знаний определить невозможно, потому что поражает как его знание некоторых малоизвестных подробностей, так и незнание некоторых элементарных истин. Его память превосходна, а способ выражения живой и образный.

В отличие от других советских вождей он отличался необузданной говорливостью, и хотя он, как и все остальные, охотно употреблял народные пословицы и изречения — это был тогда такой стиль для доказательства связи с народом,— у него это звучало не так фальшиво из-за его и без того простого и естественного поведения и речи.



И он обладал чувством юмора. Но в отличие от Сталина, юмор которого был главным образом интеллектуальный и потому неуклюжий и циничный, — юмор Хрущева был типично народным и потому зачастую вульгарным, но живым и неисчерпаемым. Сейчас, когда он на вершине власти<sup>1</sup> и на него смотрит весь мир, видно, что он следит за своим поведением и выражениями, но в основе своей он не изменился, и в нынешнем хозяине Советского государства не трудно узнать человека из народных низов. Следует добавить, что он меньше, чем любой из коммунистических самоучек и недоучек, страдает комплексом малоценности. Банальности, которые он в таком количестве излагает, указывают или на подлинное невежество, или на вызубренные марксистские схемы, но излагает он их непосредственно и убежденно. Его язык и способ выражения доступен более широкому кругу слушателей, чем тот, к которому обращался Сталин, хотя Сталин обращался к той же самой, партийной, публике.

В не новой и вовсе не отчужденной генеральской форме, он был единственным из советских руководителей, кто входил в мелочи, в ежечасную работу рядовых коммунистов и граждан. Конечно, он это делал не для того, чтобы поколебать основы, а, наоборот, чтобы их укрепить — чтобы усовершенствовать существующее положение. Но он узнавал и исправлял, в то время как другие отдавали распоряжения из кабинетов, в которых принимали и отчеты.

Никто из советских руководителей не ездил в колхозы, а если случайно ездил, так только ради пирушек и парада. Хрущев же ездил с нами в колхоз и, твердо веря в правильность колхозной системы, чокался с колхозниками громадными стаканами водки. Но одновременно он осмотрел парники, заглянул в свинарник и начал обсуждать практические вопросы. По дороге назад в Киев он все время возвращался к неоконченной дискуссии в колхозе и открыто говорил о недостатках.

Необыкновенные практические его способности в больших масштабах мы ощутили на заседании хозяйственных ведомств украинского правительства — его комиссары, в отличие от югославских министров, отлично разбирались в проблемах и, что еще важнее, реальнее оценивали возможности.

Небольшого роста, толстый, откормленный, но живой и подвижный, он был как бы вырублен из одного куска. Он почти заглатывал большие количества еды — как будто берег свою искусственную стальную челюсть. Но в то время, как Сталину и его окружению было присуще скорее гурманство, если не прямой культ еды, то Хрущеву, как мне показалось, почти безразлично, что он ест, и что самое важное для него, как для каждого переутомленного работой человека, — просто хорошо наесться. Конечно, если у него такая возможность есть. И его стол был богатым — государственным, но безличным. Хрущев не гурман, хотя ест не меньше, а пьет даже больше Сталина.

Он чрезвычайно витален и, как все практики, обладает боль-

<sup>1</sup> Написано в 1961 году.

шой способностью приспособляться. Я думаю, что он не стал бы очень церемониться в выборе средств, если бы это было ему практически выгодно. Но как все демагоги из народа, которые часто и сами начинают верить в то, что говорят, он с легкостью отрекся бы от невыгодных методов и был бы готов объяснить это моральными причинами и самыми высокими идеалами. Он любил послушью: когда драка — дубину не выбирают. Эта послушья оправдывает для него дубину и тогда, когда драки нет.

Все, что я здесь сказал, несколько не отвечает тому, что надо было бы сказать о Хрущеве сегодня. Но я излагаю свои прежние впечатления и только мимоходом — нынешние размышления.

Тогда я не заметил у Хрущева никакого возмущения Сталиным или Молотовым. О Сталине он говорил с почтением и подчеркивал свою близость с ним. Он рассказывал, как Сталин накануне немецкого нападения сказал ему из Москвы по телефону, что надо быть осторожнее, так как есть данные, что немцы могут завтра — 22 июня — начать операции. Сообщаю это просто как факт, а не для того, чтобы опровергать слова Хрущева о том, что в неожиданности немецкого нападения виновен Сталин. Эта неожиданность — следствие ошибочных политических оценок Сталина.<...>

В третий раз я встретился со Сталиным в начале 1948 года. Эта встреча была самой значительной, потому что состоялась накануне конфликта между советским и югославским руководством.<...>

Мы сели в автомобиль Сталина, как мне показалось, тот же самый, в котором мы с Молотовым ехали в 1945 году. Жданов сел сзади, справа от меня, а перед нами на вспомогательных сиденьях — Сталин и Молотов. Во время поездки Сталин на перегородке перед собой зажег лампочку, под которой висели карманные часы, — было около двадцати двух часов, и я прямо перед собой увидел его уже ссутулившуюся спину и костлявый затылок с морщинистой кожей над твердым маршалским воротником. Я подумал: вот это один из самых могущественных людей нашего времени, здесь и его сотрудники — какая бы это была сенсационная катастрофа, если бы сейчас между нами взорвалась бомба и разнесла бы нас в куски! Но это была мгновенная нехорошая мысль и настолько неожиданная для меня самого, что я пришел в ужас и в Сталине, с печальной симпатией, увидел дедушку, который в течение всей своей жизни, и сейчас вот тоже, заботился об успехе и счастье всего коммунистического рода.

Жидая приезда остальных, Сталин, Жданов и я остановились возле карты мира в холле. Я снова засмотрелся на Сталинград, очерченный синим карандашом, — Сталин снова это заметил, и от меня опять не ускользнуло, что это ему приятно. Жданов тоже уловил этот обмен взглядами и заметил:

— Начало Сталинградского сражения.

Насколько я помню, Сталин начал отыскивать на карте Кёнигсберг, потому что его следовало переименовать в Калининград, и мы натолкнулись на места вокруг Ленинграда, которые еще с екатерининских времен назывались по-немецки. Сталину это не понравилось, и он сказал кратко Жданову:

— Переименовать — глупо, что эти места до сих пор носят немецкие названия!



Жданов вынул записную книжечку и карандашиком записал сталинское распоряжение.

После этого мы с Молотовым прошли в уборную, находившуюся в подвале дачи,— там было несколько уборных и писсуаров. Молотов начал уже на ходу расстегивать брюки, комментируя: «Это мы называем разгрузкой перед нагрузкой!»

А я, хотя мне подолгу пришлось бывать в тюрьмах, где человек вынужден забывать стыд, застенялся Молотова, как пожилого человека, зашел в уборную и закрыл за собой дверь. Затем мы вошли в столовую, где уже собрались Сталин, Маленков, Берия, Жданов и Вознесенский.

Двое последних — новые лица в этих моих воспоминаниях.

Жданов был небольшого роста, с каштановыми подстриженными усами, с высоким лбом, острым носом и болезненно красноватым лицом. Он был образованным человеком и в Политбюро считался крупным интеллектуалом. Несмотря на его общеизвестную узость и начетничество, я сказал бы, что его знания были достаточно обширны. Но несмотря на то, что он понемногу разбирался во всем, даже в музыке, я не думаю, чтобы он обладал обширными знаниями в одной определенной области,— это был типичный интеллектуал, который накапливал сведения из разных областей посредством марксистской литературы. Он был вдобавок интеллигентом-циником, что еще более отталкивало, так как за подобной интеллигентностью неизбежно скрывался сатрап, «великодушный» к людям духа и литературы. Это было время «постановлений» советского ЦК по вопросам литературы и других видов искусства, то есть жестоких атак на ту минимальную свободу выбора темы и формы, которая еще сохранилась или выскользнула во время войны из-под бюрократического партийного контроля. Жданов в этот вечер, помню, рассказал в виде нового анекдота, как в Ленинграде уразумели его критику в адрес Зощенко: у писателя просто отняли продуктовые карточки и вернули их только после великодушного вмешательства Москвы.

Вознесенский, председатель Госплана СССР, которому едва ли перевалило за сорок, был типичным русским, блондином с выдающимися скулами, довольно высоким лбом и вьющимися волосами. Он оставлял впечатление аккуратного, культурного и прежде всего замкнутого человека, который мало говорил, но все время радостно внутренне улыбался. Я уже читал его книгу о советской экономике во время войны, и у меня осталось впечатление об авторе, как о добросовестном и думающем человеке,— позже эту книгу в СССР раскритиковали, а Вознесенский был ликвидирован по причинам, которые до сих пор остались неизвестными.

Я довольно хорошо знал старшего брата Вознесенского, профессора университета, как раз в это время назначенного министром просвещения РСФСР.

Со старшим Вознесенским у меня были очень интересные дискуссии во время Всеславянского съезда в Белграде зимой 1946 года. Мы с ним сошлись на том, что официально признанная теория «социалистического реализма» узка и одностороння.



Еще более единодушно мы считали, что в социализме, вернее, коммунизме, после создания новых социалистических стран замечаются новые явления и что в капитализме есть перемены, еще теоретически не изученные. Вероятно, и его красивая умная голова пала в безумных чистках.

Ужин начался с того, что кто-то — думаю, что сам Сталин, — предложил, чтобы каждый сказал, сколько сейчас градусов ниже нуля, и потом, в виде штрафа, выпил бы столько стопок водки, на сколько градусов он ошибся. Я, к счастью, посмотрел на термометр в отеле и прибавил несколько градусов, зная, что ночью температура падает, — так что ошибся всего на один градус. Берия, помню, ошибся на три и добавил, что это он нарочно, чтобы получить побольше водки.

Подобное начало ужина породило во мне еретическую мысль: ведь эти люди, вот так замкнутые в своем узком кругу, могли бы придумать и еще более бессмысленные поводы, чтобы пить водку, — длину столовой в шагах или число пядей в столе. А кто знает, может быть, они и этим занимаются! От определения количества водки по градусам холода вдруг пахнуло на меня изоляцией, пустотой и бессмысленностью жизни, которой живет советская верхушка, собравшаяся вокруг своего престарелого вождя и играющая одну из решающих ролей в судьбе человеческого рода. Вспомнил я и то, что русский царь Петр Великий устраивал со своими помощниками похожие пирушки, на которых жрали и пили до потери сознания и решали судьбу России и русского народа.

Ощущение опустошенности такой жизни не исчезало, а постоянно ко мне во время ужина возвращалось, несмотря на то, что я гнал его от себя. Его особенно усугубляла старость Сталина с явными признаками сенильности. И никакие уважение и любовь, которые я все еще упрямо пестовал в себе к его личности, не могли вытеснить из моего сознания этого ощущения.

В его сенильности было что-то трагическое и уродливое.

Но трагическое не было на виду — трагическими были мои мысли о неизбежности распада даже такой великой личности. Зато уродливое проявлялось ежеминутно.

Сталин и раньше любил хорошо поесть, но теперь он проявлял такую прожорливость, словно боялся, что ему не достанется любимых блюд. Пил же он сейчас, наоборот, меньше и осторожнее, как бы взвешивая каждую каплю. <...>

Еще более заметным был упадок его мысли. Он охотно вспоминал свою молодость — ссылку в Сибири, детство на Кавказе, новое же каждый раз сравнивал с чем-нибудь из прошедшего:

— Да, помню, то же самое было...

Непостижимо, насколько он изменился за два-три года. Когда я видел его в последний раз, в 1945 году, он был еще подвижным, с живыми и свежими мыслями, с острым юмором. Но тогда была война, и ей, очевидно, Сталин отдал последнее напряжение сил, достиг своих последних пределов. Сейчас он смеялся над бессмысленными и плоскими шутками, а политический смысл рассказанного мною анекдота, в котором он перехитрил Черчилля и Рузвельта, не только до него не дошел, но мне

показалось, что он по-старчески обиделся — на лицах присутствующих я увидел неловкость и озадаченность.

В одном лишь он был прежним Сталиным: резкий, острый, подозрительный при любом несогласии с ним. Он прерывал даже Молотова, и между ними чувствовалась напряженность. Все ему поддакивали, избегая излагать свое мнение прежде, чем он выскажет свое, спешили с ним согласиться.

Как обычно, разговор перескакивал с темы на тему — так я его и буду извлекать из памяти.

Сталин заговорил об атомной бомбе:

— Это сильная вещь, силь-ная!

На его лице было выражение восхищения, ясно было, что он не успокоится до тех пор, пока и сам не добудет эту «сильную вещь». Но он ничего не сказал, есть ли она уже у СССР, идет ли над нею работа.<...>

В эту ночь и потом, на встрече с болгарской делегацией, Сталин говорил, что Германия остается разделенной:

— Запад из западной Германии сделает свое, а мы из восточной Германии свое государство!

Эта его мысль была новой, однако понятной — она исходила из всего курса советской политики по отношению к Западу. Непонятным для меня было заявление Сталина и советских руководителей в присутствии болгар и югославов летом 1946 года, что вся Германия должна быть нашей, то есть советской, коммунистической. Один из присутствующих, когда я его спросил: — А как русские думают это осуществить? — ответил мне: — Вот этого и я не знаю!

Я думаю, что не знали и те, кто произносил это заявление, и что они еще были опьянены военными победами и надеждой на экономический и иной распад Западной Европы.

Сталин меня внезапно, в конце ужина, спросил, почему в югославской партии мало евреев и почему они не играют в ней никакой роли? Я попытался объяснить:

— Евреев в Югославии вообще немного, и в большинстве они принадлежали к среднему слою. — Я добавил: — Единственный выдающийся коммунист-еврей — это Пияде, но и он больше чувствует себя сербом, чем евреем.

Сталин начал вспоминать:

— Пияде, небольшой, в очках? Да, помню, он был у меня. А какая его функция?

— Член Центрального Комитета, старый коммунист, переводчик «Капитала», — объяснил я.

— А у нас в Центральном Комитете евреев нет! — прервал меня он и начал вызывающе смеяться: — Вы антисемиты! И вы, Джилас, и вы антисемит!

Этот смех и его слова я понял, как и следовало, в обратном смысле — как выражение его антисемитизма и вызов, чтобы я высказал свое мнение о евреях, в особенности о евреях в коммунистическом движении. Я молчал и посмеивался — это мне было нетрудно, поскольку я антисемитом никогда не был, а коммунистов разделял только на хороших и плохих. Но Сталин вскоре и сам оставил эту скользкую тему, удовлетворившись циничным вызовом.



Слева от меня сидел молчаливый Молотов, а справа много-словный Жданов. Последний рассказывал о своих контактах с финнами и с уважением говорил об их аккуратности при поставке репараций.

— Все точно вовремя, в прекрасной упаковке и отличного качества.

Он закончил:

— Мы сделали ошибку, что их не оккупировали, — теперь бы все было уже кончено, если бы мы это сделали.

Сталин:

— Да, это была ошибка — мы слишком оглядывались на американцев, а они и пальцем бы не пошевелили.

Молотов:

— Ах, Финляндия — это орешек!

Жданов как раз в это время организовывал встречи с композиторами и готовил «постановление» о музыке. Он любил оперы и, между прочим, спросил меня:

— А у вас в Югославии есть оперные театры?

Удивленный его вопросом, я ответил:

— В Югославии оперы идут в девяти театрах! — и одновременно подумал: как мало они знают о Югославии. Видно, что они ею интересуются только как географической областью.

Жданов, единственный из всех,пил апельсиновый сок. Объяснил, что из-за болезни сердца. Я его спросил:

— А какие последствия могут быть от этой болезни?

Сдержанно улыбнувшись, он ответил с обычной иронией:

— Могу умереть в любой момент, а могу прожить очень долго.

Действительно, было заметно, что он чрезмерно возбуждается, что у него нервная, повышенная реакция.

Новый план был только что принят, и Сталин, не обращаясь ни к кому определенно, подчеркнул, что надо бы повысить заработную плату преподавательскому составу. Затем он сказал мне:

— Наши преподаватели очень хороши, а зарплата у них низкая — надо что-то предпринимать.

Все согласились с ним, а я не без горечи вспомнил про низкое жалование и плохие условия жизни югославских работников просвещения и про свое бессилие им помочь.

Вознесенский все время молчал — он держался как младший среди старших. Сталин обратился к нему непосредственно только один раз:

— Можно ли вне плана выделить средства для постройки канала Волга — Дон? Дело очень важное! Мы должны изыскать средства! Страшно важное дело и с военной точки зрения: в случае войны нас могли бы вытеснить из Черного моря — наш флот слаб и еще долго будет слабым. А что бы мы в таком случае делали с судами? Подумайте, как пригодился бы нам черноморский флот, если бы мы его во время Сталинградского сражения имели на Волге! Этот канал имеет первостепенную — первостепенную важность!

Вознесенский согласился, что средства необходимо изыскать, вынул записную книжечку и записал.



Меня уже давно занимали два вопроса — почти частные,— и я хотел узнать мнение Сталина.

Одно было из области теории: ни в марксистской литературе, ни в другой я не нашел объяснения разницы между словами «народ» и «нация», а поскольку Сталин давно считался среди коммунистов знатоком национального вопроса, я спросил его мнение, добавив, что об этом он не говорил в своей книге о национальном вопросе. Она была опубликована еще до первой мировой войны, и с тех пор считалось, что в ней выражена подлинная большевистская точка зрения.

В мой вопрос сначала вмешался Молотов:

— Это одно и то же — народ и нация.

Но Сталин не согласился:

— Нет, вздор! Это разные вещи! — и начал разъяснять: — Нация — это уже известно что: продукт капитализма с определенными характеристиками, а народ — это трудящиеся определенной нации, то есть трудящиеся с одинаковым языком, культурой, обычаями.

А насчет своей книги «Марксизм и национальный вопрос» он заметил:

— Это точка зрения Ильича, Ильич книгу и редактировал.

Второй вопрос относился к Достоевскому. Я с ранней молодости считал Достоевского во многом самым большим писателем нашего времени и никак не мог согласиться с тем, что его атакуют марксисты.

Сталин на это ответил просто:

— Великий писатель — и великий реакционер. Мы его не печатаем, потому что он плохо влияет на молодежь. Но писатель великий!

Мы перешли к Горькому. Я сказал, что считаю самым значительным его произведением <...> «Жизнь Клима Самгина». Но Сталин не согласился:

— Нет, лучшие его вещи те, которые он написал раньше: «Городок Окуров», рассказы и «Фома Гордеев». Что же касается изображения русской революции в «Климе Самгине» — так там очень мало революции и всего один большевик — как бишь его звали: Лютиков, Лютов?!

Я поправил:

— Кутузов — Лютюв совсем другое лицо.

Сталин продолжал:

— Да, Кутузов! Революция там показана односторонне и недостаточно, а с литературной точки зрения его ранние произведения лучше.

Мне было ясно, что Сталин и я не понимаем друг друга и что мы не сошлись бы во вкусах, хотя я и раньше слышал мнения крупных писателей, которые, как и он, считали названные им произведения Горького наилучшими.

Говоря о современной советской литературе, я — как более или менее все иностранцы — указал на Шолохова. Сталин сказал:

— Сейчас есть и лучшие, — и назвал две неизвестных мне фамилии, одну из них женскую.

Дискуссии по поводу «Молодой гвардии» Фадеева, которую тогда уже критиковали из-за недостаточной партийности ее героев, я избегал. Мои упреки в ее адрес были как раз противоположного свойства — схематизм, отсутствие глубины, банальность. То же самое я думал и об «Истории философии» Александра.

Жданов рассказал о замечании Сталина по поводу любовных стихов К. Симонова: «Надо было напечатать всего два экземпляра — один для нее, второй для него!» — на что Сталин хрипло рассмеялся, сопровождаемый хохотом остальных.

Вечер не мог обойтись без пошлости, конечно, со стороны Берии. Меня заставили выпить стопку перцовки. Берия, скаля зубы, объяснил, как эта водка плохо воздействует на половые железы, употребляя при этом самые грубые выражения. Пока Берия говорил, Сталин внимательно смотрел на меня, готовый расхохотаться. Заметив мою кислую реакцию, он остался серьезным.

Но и без этого я никак не мог отогнать от себя это поразительное сходство между Берией и королевским белградским полицейским Вуйковичем — оно усилилось до такой степени, что я просто физически ощущал, будто нахожусь в мясистых и влажных лапах Вуйковича — Берии.

Но выразительнее всего была атмосфера, царившая независимо от произнесенных слов и даже вопреки им, во время всего этого шестичасового ужина. За всем, что говорилось, постоянно ощущалось что-то более важное — нечто, что надо было высказать, но что начать высказывать никто не умел или не смел. Натянутость беседы и выбора тем способствовала тому, что это нечто ощущалось как реальность, почти доступная слуху. Внутренне я даже безошибочно знал его содержание: критика Тито и югославского Центрального Комитета — в данном положении равносильная вербовке меня на сторону Советского правительства. Особенную активность проявлял Жданов, не чем-то конкретным, осязаемым, а внесением какой-то особой сердечности, искренности в отношения и в разговор со мной.

Берия смерил меня своими полузакрытыми зеленоватыми жабыми глазами, а выражение самодовольной иронии не сходило с его четырехугольных мягких губ. Над всем и над всеми был Сталин — внимательный, весьма размеренный и холодный.

Безмолвные паузы между двумя темами были все более длительными, напряжение во мне и вокруг меня все росло. Я быстро выработал тактику обороны — она, очевидно, уже до этого сама подготавливалась во мне полусознательно — я просто скажу, что не вижу расхождения между югославским и советским руководством, что цели их совпадают и тому подобное. Глухо, упрямо росло во мне сопротивление, хотя я и прежде не ощущал в себе никаких колебаний. Зная себя, я понимал, что из обороны мог легко перейти в наступление, если бы Сталин и остальные поставили бы меня перед моральной дилеммой — выбрать между ними и моей совестью, в данном случае между их и моей партией, между Югославией и СССР. Чтобы заранее подготовить свои позиции, я как бы невзначай несколько раз



упомянул имя Тито и свой Центральный Комитет — но так, чтобы мои собеседники не могли начать свой разговор.

Напрасна была также попытка Сталина внести личные, интимные элементы. Он спросил меня, вспомнив свое приглашение в 1946 году, переданное через Тито:

— А почему вы не приехали в Крым? Почему вы отказались от моего приглашения?

Я ждал этого вопроса, но все же был несколько неприятно удивлен, что Сталин про это не забыл. Я объяснил:

— Ждал приглашения через советское посольство, мне было неудобно навязываться самому, надоедать.

— Нет, чепуха, при чем тут надоедать? Вы просто не хотели приехать! — испытывал меня Сталин.

Но я замкнулся в себя — в холодную сдержанность и молчание.

Так ничего и не произошло. Сталин и его группа холодных, расчетливых заговорщиков — а я их ощущал именно такими — несомненно, учуяли мое сопротивление. А я как раз этого и хотел. Я избежал разговора, а они не решились спровоцировать меня на сопротивление. Они, конечно, считали, что не сделали преждевременного и поэтому ошибочного шага. Но и я распознал эту подлую игру и ощутил в себе какую-то внутреннюю, незнакомую мне до тех пор силу, способность отказаться даже от того, чем до тех пор жил.

Ужин закончил Сталин, подняв тост в память Ленина:

— Выпьем за память Владимира Ильича, нашего вождя, учителя — наше все!

Мы все встали и выпили в немой сосредоточенности — о ней мы, подвыпившие, быстро забыли, в то время как у Сталина все еще было растроганное, торжественное, но одновременно сумрачное выражение лица.

Мы отошли от стола, но до того, как расходиться, Сталин запустил громадный автоматический проигрыватель. Он пытался и танцевать, как на своей родине, — видно было, что он не лишен чувства ритма, но вскоре он остановился, сказав удрученно:

— Стареем, и я уже старик!

Но его помощники — чтобы не сказать, бояре — начали его убеждать:

— Ах, нет, что вы! Вы прекрасно выглядите, вы прекрасно держитесь, ей-богу, для ваших лет...

Затем Сталин пустил пластинку, на которой колоратурные трели певицы сопровождал собачий вой и лай. Он смеялся над этим с преувеличенным, неумеренным наслаждением, а заметив на моем лице изумление и недовольствие, стал объяснять, чуть ли не извиняясь:

— Нет, это все-таки хорошо придумано, чертовски хорошо придумано.

После моего ухода все еще остались, но уже готовые к отъезду — действительно, что можно было еще говорить после столь продолжительной пирушки, на которой было высказано все, кроме того, для чего она собиралась. <...>



Многие — и среди них, конечно, Троцкий — особо подчеркивают преступные, кровожадные инстинкты Сталина. Я не хочу этого ни отрицать, ни подтверждать, так как недостаточно знаком с фактами. Недавно в Москве объявлено, что он, по всей вероятности, убил ленинградского секретаря Кирова, чтобы создать повод для расправы с внутривластной оппозицией. Горький умер, вероятно, не без его содействия — слишком уж назойливо сталинская пропаганда изображала эту смерть как дело оппозиции. Троцкий подозревает его даже в убийстве Ленина, якобы чтобы избавить от мучений. Утверждают, что он убил свою жену или по меньшей мере довел ее своей грубостью до самоубийства. Потому что слишком уж наивна романтическая легенда, распространявшаяся агентами Сталина — которую я слышал, — что она отравилась, пробуя еду, приготовленную для своего достойного супруга.

Сталин мог совершить любое преступление, и не было ни одного, которого бы он не совершил. Каким мерилом его ни меряй, ему всегда — будем надеяться, что до конца времен — будет принадлежать слава величайшего преступника в истории. Потому что в нем сочетается бессмысленная преступность Калигулы с утонченностью Борджа и жестокостью Ивана Грозного.

Больше всего я задумывался и задумываюсь над вопросом, как такая мрачная, коварная и жестокая личность могла руководить одной из величайших и мощных держав — не год, не два, а тридцать лет! Именно это должны разъяснить сегодняшние критики-наследники Сталина. Пока они этого не делают, именно это обстоятельство будет подтверждать, что во многом они продолжают его дело, питаются его соками, используя те же идеи, формы и средства, что и он. <...>

Если смотреть с точки зрения человечности и свободы — история не знает деспота, столь жестокого и циничного, как Сталин. Он методичнее, шире и тотальнее как преступник, чем Гитлер. Он один из тех редких жутких догматиков, способных уничтожить девять десятых человеческого рода, чтобы «осчастливить» оставшуюся. <...>

И все же низвержение Сталина — как бы опереточно и непосредственно оно ни проводилось — подтверждает, что правда выходит на поверхность, пусть даже после смерти тех, кто за нее боролся, — совесть человеческую нельзя ни успокоить, ни уничтожить.

Но, к сожалению, и сегодня, после так называемой десталинизации, можно сказать то же, что и до нее: общество, созданное Сталиным, существует в полном объеме — и тот, кто хочет жить в мире, отличном от сталинского, должен бороться.

**БЕЛГРАД**

Сентябрь — ноябрь

1961 года

**Предисловие и публикация  
АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА.**



## ИГОРЬ КОНОВОВ

В десять лет его выгнали из теннисной секции родного города Леймена, пожелав на прощание заняться чем-нибудь другим — футболом, например. Так и сказали: «Ты слишком глуп для такой умной игры, как теннис». А через пять лет он стал чемпионом ФРГ среди juniоров, а еще через два года заставил стонать от восторга чопорных завсегдаев центрального корта Уимблдона...

# МЕТАМОРФОЗЫ БОРИСА БЕККЕРА

Еще накануне того сенсационного уимблдонского финала мало кто мог угадать в Борисе будущую теннисную звезду. Особых успехов в турнирах он не добивался и, занимая лишь 70-ю строчку в мировой классификации, числился крепким середнячком — легкой добычей «сеянных» на пути к главным матчам. Долговязый и довольно неуклюжий (но только не на корте!) подросток выделялся среди сверстников лишь смешной привычкой самому стричь себе волосы (причем довольно плохо, что служило поводом для бесконечных подначек), а в теннисе тем, что умудрялся в каждой игре превратить шорты и майку в нечто невообразимо грязное, совершая головоломные прыжки за мячом.

Но даже эта «теннисная» подробность не привлекала к нему внимания ни журналистов, ни самих теннисистов. Беккера считали просто «неплохим парнем», но ни-

как не серьезным конкурентом в борьбе за победы.

А между тем, изводя кучу денег на новую амуницию взамен безнадежно испорченной, рыжий Беккер шлифовал технику, которой впоследствии будет дано множество определений: «акробатический теннис», «стиль Беккера», «теннис XXI века» и пр. Шлифовал подачу, которая чуть позже будет нагонять глубокую тоску на признанных асов.

Метаморфоза произошла быстро, но отнюдь не вдруг. Первой ступенькой лестницы, ведущей к теннисному Олимпу, стала для Беккера встреча с Гюнтером Бошем. Известный в Западной Германии тренер не слишком-то горел желанием сделать из подростка, разрывающегося между футболом и теннисом, суперзвезду. Однако настойчивость отца будущего чемпиона и самоотверженность Бориса на тренировках сделали свое



дело, и для Беккера, привыкшего к достаточно вольному режиму, начались суровые будни.

Если даже кошку, практически не поддающуюся дрессировке, можно заставить выступать в цирке, то уж из любого человека можно сделать весьма приличного теннисиста посредством ежедневных — без выходных! — 6-часовых тренировок по самым совершенным методикам. Весьма приличного, но не чемпиона! Чемпион — это труд плюс талант или, точнее, талант плюс труд. Старая как мир истина легла фундаментом теннисного феномена Беккера. Бош научил Беккера безупречной технике подачи — Беккер привнес в нее сокрушительную силу; Бош научил Беккера тактической мудрости игры — Беккер наполнил ее импровизацией и артистизмом; Бош научил Беккера самоотдаче — Беккер показал всем, как можно работать *играя*. Это был редкий союз, когда учитель должен был поспевать за учеником — настолько быстро тот усваивал уроки и стремился дальше, дальше...

Курок был взведен, и по правилам жанра ружье должно было выстрелить. Но Бош не торопился. Он медленно, словно присматриваясь, «подпускал» Беккера сначала к малозаметным, не приносящим много очков турнирам: юношеским, юниорским, потом взрослым.

Одно дело отрабатывать пушечную подачу в уютной тишине тренировочного зала — совсем другое, когда по ту сторону сетки реальный противник и ему не меньше, чем тебе, нужна победа. Здесь важно не сломаться, не перегореть, особенно когда тебе всего 16. Сколько несостоявшихся талантов закончили карьеру в этом возрасте!

Бош был терпелив и устремлял взор в будущее. Будущее рисова-

лось ему в весьма оптимистических красках.

Беккер был молод и нетерпелив, а поэтому не хотел оставаться в засаде. 1983 год он закончил 563-м в мировой классификации, 1984-й — уже 65-м. Но по-прежнему его имя ничего не говорило теннисному миру. Пора было штурмовать вершины.

85-й год Беккер начал так, как будто это был последний год в его теннисной карьере. Сначала он вышел в четвертьфинал открытого первенства Австралии, потом одержал победу на престижном турнире молодых мастеров в Бирмингеме. В мае он — полуфиналист открытого первенства Италии, а за неделю до Уимблдона Беккер выиграл сильный по составу турнир в Англии, который называют прологом Уимблдона. Американец Йохан Крик, «снесенный» в финале, так и остался единственным провидцем, предсказав: «Беккер выигрывает Уимблдон. И довольно легко». Поначалу эти слова расценили как попытку оправдать проигрыш, да и потонули они в предстартовых перепевах супердостоинств «суперзвезд».

Однако, как вскоре выяснилось, Беккера такое невнимание мало смущало. Начался Уимблдон, и после первого же круга разгромленный им Пфистер поставил Беккера выше Борга и Макинроя, имея в виду их игру в том же возрасте, оценив его силу редким для тенниса словом — «пугающая».

После этого матча Беккер получил еще одно прозвище — Бэббимолоток. О нем наконец-то заговорили, и кто-то в шутку даже предложил установить у входа на центральный корт, где играют лишь сильнейшие теннисисты мира, специально для них табло с надписью «Осторожно — Беккер!».

Пока шутники состязались

в остроумии, перед Беккером сложили оружие шведы Нюстрем и Яррид, француз Леконт — все опытные турнирные бойцы из первого зшелона.

Кевин Каррен, выбивший из турнира самого Макинроя, едва успев разделаться в полуфинале с фаворитом № 2 Джимми Коннорсом, сразу устремился к корту, на котором в другом полуфинале Беккер сражался с Ярридом, будто этот матч интересовал его больше, чем собственный: «Давай, Яррид, давай, — шептал Каррен, — ты мой единственный шанс».

Но Беккера было уже не остановить. Бэбби-молоток выиграл последнее очко, пожал Ярриду руку и похлопал шведа по плечу: «Вообще-то ты молодец, ничего бо-ролся».

Каррен все видел. Он понял, какая необузданная стихия обрушится на него. И потому нервничал...

Игра Беккера в финале подавляла мощью и разнообразием. Он дожимал соперника, проявляя удивительное разнообразие, сочетая редкие по силе удары справа, после которых мячи со свистом проносились мимо опешившего Каррена и словно по команде ложились в считанных сантиметрах от задней линии, с непредсказуемыми кроссами слева, реактивной игрой у сетки и чудовищной силы подачи. К четвертому сету знаменитый, изумрудного цвета центральный корт Уимблдона превратился в кашу из дерна и грязи. Беккер носился по этому месиву легко и уверенно, время от времени сбрасывая с себя прилипшие куски грязи. В кульминационные моменты решающего в своей жизни матча Беккер держался столь раскрепощенно, что позволял себе во время пауз ловить мяч на грудь и даже несколько раз пожонглировал голо-

вой и ногами, как заправский футболист. Это злило, не могло не злить Каррена. «Он что, не понимает, что здесь финал Уимблдона, а не отборочный турнир!» — то и дело восклицал американец.

Он ошибался. Беккер понимал. Но в экстремальной ситуации проявил себя тончайшим психологом, намеренно выводил противника из равновесия самоуверенностью, агрессивностью и демонстрацией своего превосходства.

И Каррен рухнул.

На самой многочисленной за последние годы пресс-конференции в Уимблдоне один из журналистов задал тренеру Беккера вопрос: «Кто последний в столь же юном возрасте буквально пугал окружающих масштабом своего дарования? Моцарт?» Гюнтер Бош не растерялся: «О, к сожалению, я не видел Моцарта на корте, но, думаю, общее у них есть: обоих не сразу признали».

Теперь Беккера признали. Ворвавшись, словно слаломист, в теннисную элиту, он на одном дыхании выиграл свой следующий Уимблдон и попутно десяток других крупнейших турниров. К третьему в своей жизни Уимблдону он пришел вторым после Ивана Лендла в мировом рейтинге. Но, приобретя славу и титулы, потерял главное — Гюнтера Боша. Просто Беккеру показалось, что он уже достаточно силен, чтобы самому нести бремя лидерства. Что ж, куда более великие становились жертвами самоуверенности.

Как и на двух предыдущих турнирах, Гюнтер Бош занимал место в ложе и на Уимблдоне-87. Ни тени эмоций не было на его лице, когда на корт выходил бывший ученик. Лишь однажды он воскликнул: «Я не узнаю подачу. Я этому его никогда не учил!»

Для кого-то, возможно, резуль-



таты турниров, сыгранных Беккером в 1987 — 1988 годах, покажутся пределом мечтаний, для Беккера эти два года были кошмарными. Нет, он по-прежнему выигрывал, но не было уже той давящей на соперника уверенности. А случалось, что и выбывал из турнира уже во втором круге.

В женском теннисе есть 4—5 игроков, которые конкурируют между собой, отводя другим роль статистов. Конечно, и статисты порой добиваются успеха, но это уже из области сенсации. В мужском же порядковый номер в первой десятке — вещь весьма условная. Уровень мастерства первых десяти примерно равен, и вопрос лишь в стабильности и удачливости. Вот именно этого не всегда хватало Борису Беккеру.

После двух лет лихорадочного поиска своей игры, череды побед и обидных поражений теннисная звезда Беккера опять стала всходить. В 88-м году он опять финалист Уимблдона, потом следует серия удачных выступлений в турнирах Гран-при. Рейтинг его опять растет, и к Уимблдону-89 он приходит третьим. Но это уже другой Беккер: повзрослевший, не столь импульсивный и открытый, как раньше. Да и игра не похожа на ту, которой восхищались зрители год-два назад. Что ж, не до седых же волос «рыбкой» за мячом бросаться! Это уже школа Боба Брета — нового тренера Беккера, более рациональная, более вдумчивая, когда теннисист дорожит каждым выигранным мячом, но, не тратя сил понапрасну, отдает без борьбы мяч заведомо проигранный. Какой Беккер вам больше нравится? Лично мне — тот, двухлетней давности сорвиголова, не ставящий ни в грош авторитеты, сделавший из тенниса не просто игру, а шоу, принесший праздник в каждый дом, где те-

**Желаю  
всем читателям  
«Смены»  
счастливого Нового года  
и всего хорошего.  
БОРИС БЕККЕР**

левизор был настроен на волну Уимблдона.

Таких игроков не так много в теннисе. Неувядающий Джимми Коннорс, в свои 37 лет не собирающийся сдавать позиций и неизменно покидающий корт под аплодисменты зрителей независимо от исхода матча. Джон Макинрой — сущее наказание для судей, но предмет неизменных симпатий поклонников тенниса. Все. Был еще Беккер. Был?..

На последнем Уимблдоне все увидели прежнего Беккера. Слово не было этих злополучных двух лет, словно только вчера мы расстались с ним, держащим высоко над головой бесценную уимблдонскую вазу — первую в его жизни. В финале против Ивана Лендла он продемонстрировал игру, от которой успели отвыкнуть зрители, и чаша Уимблдона заходилась от вздохов восхищения и признательности. Это был его день, и зрители жалели только об одном: все закончилось так быстро. А Лендл, первая ракетка мира и вечный уимблдонский неудачник, выглядел просто спаррингом у игрока, который пришел, чтобы сказать: «Я вернулся. Где тут моя серебряная ваза?»

И он имел на это право, потому что еще очень давно признался: «В теннисе я больше всего люблю сам теннис, а не место в классификации. Я просто играю и стараюсь получать от этого удовольствие».



# ФЕТ

ВЛАДИМИР ТУРБИН

О Фете вдруг... Почему? Родился он в 1820 году, круглой даты никак не выкроишь, юбилей не учинишь. А ушел из жизни на пороге зимы 1892 года, годовщина тут явно напрашивается, назревает; через два-три годика юбилей и устроили бы. А просто так, без декларированного повода о нем говорить... До него ли сейчас, до Фета ли? Тут перестройка, восстановление мрачноватой исторической правды, экономические реформы. А он?

*Шепот, робкое дыханье.*

*Трели соловья.*

*Серебро и колыханье*

*Сонного ручья.*

«Шепотом» и «робким дыханьем» попрекали, дразнили Фета на все лады. Пародировали, переименовывали. Но тем самым и пропагандировали. Давно уже всякий знает, что Фет написал про шепот — стихи без глаголов, стало быть, и без действия, без движения; что был он поэтом «чистого искусства». И всегда как-то так оборачивалось, что не приходился он ко двору. Сейчас, казалось бы, уж тем более. Но о Фете, однако же, именно сейчас уместно было бы вспомнить, посмотрев на творчество его так, что он наконец ко двору соотечественникам придется: в нем, в его тихом, озаренном лучами мерцающих звезд, овечьем запахом полей и лесов мире можно, можно найти актуальное.

Фет раздвоен, на этом сходятся все исследователи. И они имеют в виду не одну лишь раздвоенность лирического мира поэта, переменчивого, колеблющегося, а раздвоенность его жизни, уклада ее, всей ее демонстративно открытой структуры: поэт

«чистого искусства», необъявленный лидер этого отверженного течения русской словесности, певец звезд, соловьев и роз и... помещик. Оно, может статься, и ничего — простили же мы и Пушкину, и Тургеневу то, что помещиками были они; деликатно постарались этого не заметить. Но с Фетом — просто беда: ничего, ничего не обойдешь, не замнешь: Афанасий Афанасьевич Фет-Шеншин был, если можно так выразиться, убежденным помещиком. Чем далее жил, тем более открыто и настойчиво подчеркивал, когда говорил или писал о себе: он — рачительный землевладелец, хозяин, очевидно, неплохой агроном, а в пределах, необходимых ему, еще и практик-экономист. Свое помещичье «я» поэт афишировал, зыставлял напоказ, бравировал им, откровенно вызывая своих литературных и идейных недругов на новые фейерверки пародий и обличений (в этом, по моему, есть особая радость: ты даешь противнику тему для сердитых острот, и он язвит да ярится, простодушно не подозревая о том, что он выполняет намеченную тобой программу).

Очень точно замечено было, что лирика Фета — это, в частности, и лирика... запахов: ароматов, благоуханий. Вкус и такт в этой сфере художественных мотивов требуется сугубый, легко сбиться на некую лирическую парфюмерию: роза, сирень, жасмин; стоит лишь нарушить неуловимую меру, и поэзия превратится в галантерейную лавочку. Вкус Фету не изменял никогда; но, продолжая счастливое наблюдение, полноты ради надо добавить: ароматам и благоуханиям в лирике Фета в его жизни сопутствовал запах навоза, конского пота, псины; соловьиным переливчатым трелям аккомпанировало ржание, мычание, бляение, хрюканье, а невнятному шепоту вдохновенно влюбленных — та лексика, в которой испокон веков изощрился русский крестьянин и «от которой дух в груди спирает и глаза на лоб лезут» (Горький). Раздвоенность Фета была абсолютной: коль помещик, то, стало быть, он держал и работников (дело было, конечно, уже после отмены на Руси крепостного права; работников нанимали). Работать-то они к новоявленному помещику шли, подражались; а уж как они между собой изъяснялись где-нибудь на скотном дворе, представить себе нетрудно. В то же время жить раздвоенно Фету нравилось, и он резко подчеркивал свою вызывающую раздвоенность. А она бросалась в глаза тем более явно, чем более явно выкристаллизовывались художественные принципы лирики замечательного поэта и обозначались традиции литературного направления, им гениально продолженные.

Литературные направления — основа наших национальных духовных богатств: классицизм, романтизм, реализм в XVIII и в XIX столетиях, а в XX — вообще пестрота: символизм, футуризм, акмеизм, имажинизм, конструктивизм. Непрестанные споры, борения. И в борениях различных трактовок литературы — где место Фета? Фет, кто он?

Всего чаще можно услышать, что Фет — романтик. Он — романтик, пронесший огонь романтизма до конца XIX столетия, до предсмертно создаваемых им сборников, объединенных в своеобразную серию «Вечерние огни»:

Allen Lesern von  
"Smena"  
wünsche ich ein schönes  
neues Jahr und alles Gute!

DD





**СИНИМ  
ПО БЕЛОМУ**  
(ЧИТАЙТЕ СТР. 131)



Фото ВЛАДИМИРА ЧЕЙШВИЛИ



Молодое  
поколение  
мастеров —  
художник  
Екатерина  
Осташкова.







Рисунок  
ГЕННАДИЯ  
НОВОЖИЛОВА



*Жизнь пронеслась без явного следа.  
Душа рвалась. Кто скажет мне, куда?  
С какой заране избранною целью?  
Но все мечты, все буйство первых дней  
С их радостью — все тише, все ясней  
К последнему подходят новоселью.*

Умирал поэт, как видим, как истый романтик, художественно: наблюдая за угасанием в себе воли к жизни, соотнося его с угасанием воли к жизни в природе, с осенью, с русским предзимьем. Но художественно и жил он: открыто, с первых строк и до последних служа красоте. И, конечно, тут уж как бы само собою напрашивается: ро-ман-тизм.

Романтизм? Да, не может быть спору. Но грешно прикреплять какого бы то ни было художника слова к одному направлению, и всегда что-то в нас сопротивляется привычному словечку «относится»: такой-то поэт «относится» к романтизму, такой-то «относится» к классицизму. Вся сила художника — в борьбе, в преодолении себя самого, в диалектическом отрицании даже высших, признанных своих достижений. И при этом не так-то уж обязательно уходить куда-то вперед, от романтизма к реализму, положим. Можно в сторону уходить, а можно даже назад, к тому, что кажется пройденным, преодоленным, отброшенным.

По мере своего художественного развития Фет шел и к... сентиментализму, к заветам литературного направления, светочем вспыхнувшего в конце XVIII и в начале XIX столетий и, казалось бы, вскоре угасшего под градом насмешек, пародий. Насмешки над сентиментализмом стали традицией, дошедшей до наших дней. Явился стереотип: сентиментализм — это «Бедная Лиза» Карамзина, несколько неплохих для своего времени стихотворений, романсов. А вообще-то он назойливо обилен слезами, незэнергичен и, главное, асоциален: на фоне внедряемого в общественное сознание реализмом XIX столетия идеала борца, трезвого аналитика-футуролога элегии и чувствительные романсы выглядели и в самом деле нелепо:

*Стонет сизый голубочек,  
Стонет он и день и ночь;  
Миленький его дружок  
Отлетел далеко прочь.  
Он уж боле не воркует  
И пшенички не клюет;  
Все тоскует, все тоскует  
И тихонько слезы льет.*

Это очень милый поэт Иван Дмитриев сочинил. Сочинил за сто лет до кончины Афанасия Фета, в 1792 году. И с тех пор летал да летал голубочек по закоулкам удаленных от умственных центров провинциальных усадеб, по городским окраинам. Через весь XIX век пролетел он, хотя шикали, улюлюкали ему вслед очень умные люди, читатели Генри Томаса Вокля и Джона Стюарта Милля, молодые люди в очках и в клетчатых пледах и эмансипированные девушки-«нигилистки». Как-то не вязался меланхолический голубочек с сарказмами Дмитрия Писарева и с пространными рассуждениями Николая Добролюбова, трак-

товавшего произведение искусства как ряд свидетельств о язвах общественной жизни. Впрочем, сентиментализм стал претить господствующему направлению общественной мысли еще на самых первых порах своего существования: радикалы-декабристы отвергали его за отсутствие в его программе идей вольности, гражданской свободы. И сентиментализм сконфуженно отступал, растворяясь в творчестве Пушкина, Гоголя, Лермонтова, позднее же — Достоевского и Тургенева, а в послереволюционные годы он бесспорно затеплился у Константина Паустовского: оказался он, сентиментализм, жизнестойким; и корифей реализма, пародируя его крайности, все же не чурался его; и простые бесхитростные люди с тоскующим голубком расставаться не торопились.

И вдруг — в наши дни! — полузабытое литературное направление о-жи-ло. Карамзин, основоположник сентиментализма, оказался едва ли не наиболее популярным писателем XIX столетия: «Бедная Лиза» появилась на сцене одного из наиболее авторитетных драматических театров, а необходимейшим чтением многих и многих стала «История Государства Российского». Стенающий голубочек, с коего все и началось, был, оказывается, не так-то уж нелепо слащав и асоциален. «И именно сейчас становится заметной тяга к лирическим произведениям, которые будят в читателе всегда вечные общечеловеческие чувства добра, теплоты, милосердия, сочувствия, сострадания, соучастия», — очень точно характеризует преобладающее ныне состояние сердец и умов писатель Анатолий Ананьев. И нельзя не увидеть: он же прямо по пунктам излагает программу основательно позабытого нами «слезливого сентиментализма»!

Но из сферы литературы сентиментализм стал внедряться и в жизнь. В повседневный быт. Замелькало, зажглось: «милосердие», «благотворительность», «сострадание». Но именно эти понятия и лежали в основе нравственных устремлений европейского и русского сентиментализма. Из индивидуальной морали они переходили в политику: милосердие ко всему человечеству как основа всевозможных разоружений. Милосердие к природе. Милосердие к бедняку, к увечному, к старцу. Константин Батюшков, первый из продолжателей Карамзина, повествуя о своей «хижине убогой», об ее бесхитростном убранстве и желанных гостях, отказывал от дома «развратным счастливым», по-нашему сказать, изолировав себя от народа бюрократизированной элите. Ей дорога к поэту закрыта.

*Но ты, о, мой убогой  
Калека и слепой,  
Идя путем-дорогой  
С смиренною клюкой,  
Ты смело постучися,  
О, воин, у меня,  
Войди и обсушися  
У яркого огня.*

В стихотворении-манифесте «Мои пенаты» поэт зовет к себе в гости годами и трудом убежденного старца, война-инвалида. И пишется это в 1811 и в начале 1812 года, незадолго до



нашествия на Россию Наполеона, словно бы в предвидении появления новой волны искалеченных, раненых, коих, впрочем, на Руси и всегда бывало в избытке. Добрыми, отзывчивыми, сострадательными хотел видеть сентиментализм всех на свете людей — так ли уж это плохо? Нет, совсем, оказывается, не плохо; и программа сентиментализма на удивление полно и точно соответствует общественно-нравственным нормам, коим мы в меру нашей забытой, замороженной доброты и пытаемся следовать. Стало быть, литературное направление полтора столетия спустя после того, как было оно осмеяно и отвергнуто, вдруг вошло в жизнь? Не диво ли?

Язык поэта-сентименталиста для нас архаичен и морфологически, и лексически: утомляют усеченные прилагательные и причастия, и чужда нам ориентация на ныне прочно забытую нами античность. Но понятия, которыми обменивались друг с другом поэты карамзинского толка, оказались сегодня — как раз сегодня! — актуальнейшими; и заменивши хотя бы одно лишь слово, действительно неудачное слово «чувствительность» современным словом «духовность», мы увидим это воочию. Что мы делаем сейчас? Да только и делаем, что в меру наших сил воскрешаем программу, заданную нам в начале прошлого века, в соответствии с духом времени и с возможностями его придавая ей более или менее индустриальный облик: номера банковских счетов различных благотворительных фондов, репортажи по телевидению, миллионные тиражи журналов. И тут-то, оказывается, очень нужен нам Фет. Для самопознания нужен.

Историческое значение Фета, если даже ограничиться только его поэзией, открывается нам чрезвычайно определенно: Фет в суровых литературных условиях прошедшего века, завещавшего нам в числе прочих своих мыслительных достижений и свирепейшую нетерпимость, оказался единственным, кто сумел, ничем ни разу не поступившись, донести до нас заветы сентиментализма. Опираясь на признание его Достоевским и Львом Толстым, Некрасовым и особенно умнейшим и независимым критиком Николаем Страховым, но всего, пожалуй, основательнее опираясь на собственные духовные силы, вопреки пародиям, язвительнейшим насмешкам, он пытался продолжить и завершить, доведя до художественного совершенства, то, что начато было Карамзиным, Дмитриевым, Батюшковым, ранним Жуковским.

Сентиментализм — что-то интимное, камерное: элегии, небольшие романсы. Но в своем содержании он огромен. Сентиментализм возник на стыке двух верований, двух мировоззрений: религии и атеизма; всего прежде этим-то и объясняется его внутренняя прочность и жизнестойкость. И взамен конфронтации он пытался достичь примирения их, их согласия. Эклектично? Конечно, но нам, насквозь эклектичным, убеждения свои формирующим с бору по сосенке, не след говорить об эклектичности как о чем-то исключительно нехорошем. Эклектика — неизбежный этап колебаний индивидуальной и общественной мысли; и с идеями классовой борьбы расставаться не хочется, и во храм дорогу найти бы, уж хотя бы ребеночка окрестить,



и к комфорту влечет нас, настрадавшихся в бедности коммунальных клоповников, истерзавшихся в злобных очередях, в духовности тоже алчем, даже толком не зная, какая она, духовность, потому что создание целостной материалистической теории духовности — где-то далеко-далеко впереди. Эклектизм во всем: в социальной морали, в экономике, в праве, в быту. Но он все-таки лучше угрюмой чугунной цельности догматов тов. И. В. Сталина.

Художнический подвиг Фета — в последовательности и смелости, с которыми запечатлевал он эклектику избегающего догматов и прямолинейных доктрин сознания.

*Богачи, кулаки жадной сворой  
Расхищают тяжелый твой труд.  
Твоим потом жиреют обжоры;  
Твой последний кусок они рвут.*

*Голодай, чтоб они пировали!  
Голодай, чтоб в игре биржевой  
Они совесть и честь продавали,  
Чтоб ругались они над тобой, —*

писал, обращаясь к народу, современник Фета известный публицист и поэт Петр Ткачев; и подобными стихами полнилась отечественная поэзия в середине прошлого века. Ничего не скажешь, тут-то уж цельность. И с глаголами все в полном порядке: безликие унифицированные богачи рвут у добрых людей кусок изо рта, продают честь и совесть, ругаются и наливаются жиром; а ты — голодай. И:

*Вставай, подымайся, рабочий народ!  
Вставай на врагов, брат голодный!  
Раздайся крик мести народной!  
Вперед!*

Нетерпимость — великий эстетический грех; мы должны стараться понять в Ткачева, переиначившего классическую «Марсельезу», и тех, кто его распевал и читал. Но понятнее станет и литературная участь Фета: на подобном фоне он, разумеется, не смотрелся. Его лирика тоже обильна императивами — а уж здесь-то, в императиве, в повелительном наклонении глаголы являются во всем их величии, во всей несомненности их. Но фетовские императивы — императивы благолепные, мирные:

*О друг мой, скажи, что с тобою?  
Я знаю давно, что со мной!*

(«Шумела полночная вьюга...»)

*Не бойся вечернего сада,  
На дом оглянися назад, —  
Смотри-ка: все окна фасада  
Зарею вечерней горят.*

(«Вечерний сад»)

*У неостывшего гнезда  
Ночная песнь гремит и тает.  
О, погляди, как та звезда  
Горит, горит и потухает.*

(«Как ярко полная луна...»)

Смысловой диапазон императивов у Фета поистине необъятно широк: от мольбы до дружеского совета, от страдальческого стога до радостных приветствий утру, дню, вечеру, звездам, солнцу, возлюбленной, ангелу. Говорят, он был атеистом. Что ж, один только акт ухода его из жизни в 1892 году — свидетельство его атеизма: было задумано самоубийство, особенно нелепое, даже просто карикатурное для человека, шагнувшего за порог восьмого десятилетия; и по сути дела оно состоялось: Фет хотел покончить с собой, острый нож-стилет у него из рук вырвали, он же все равно своего добился — если не покончил *с собой*, то покончил *себя*; умерев от им же созданного потрясения, стресса. Грех страшный, но с точки зрения неверующего логически допустимый, да и вообще атеизм категории греха не знает и знать принципиально не может: коли я, человек, хозяин своей жизни, я волен делать с ней все, что мне заблагорассудится. Но именно у атеиста Фета — умнейшие стихи о Боге, по велению коего светлый серафим однажды «громадный шар возжег над мирозданьем». И, обращаясь к творцу миров, человек говорит:

*Нет, ты могуч и мне непостижим  
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,  
Ношу в груди, как оный серафим,  
Огонь сильней и ярче всей вселенной.*

*Меж тем как я, добыча суеты,  
Игралище ее непостоянства,—  
Во мне он вечен, вездесущ, как ты,  
Ни времени не знает, ни пространства.*

У Фета — прекрасные стихи о Христе, об искушении его сатаной в пустыне («Когда Божественный бежал людских речей...»). Они созданы почти одновременно с «Братьями Карамазовыми» Достоевского, и они напрямую перекликаются с легендой о Великом Инквизиторе, составляющей идейный центр романа. Перечитываешь их и за одно лишь боишься, выражаясь в стилистике Фета, трепещешь: не стал бы Фет модным, заносным, наподобие суетно выставляемых напоказ нательных крестиков или ставших ходячими цитат из евангельских глав «Мастера...» Михаила Булгакова. Атеизм атеизмом, но Фет ощущал мир как высшее художественное творение и себя как персонаж некоего грандиозного, не постижимого разумом сюжета; и здесь он договорил, довел до завершения то, что брезжило у сентименталистов начала XIX столетия. Но всего прежде их родство проглядывает в главенствующем образе лирики Фета, в образе души человеческой.

«Душа» — понятие, в истолковании которого отражается вся эклектичность сентиментализма, а вместе с тем и наша, теперешняя эклектичность. Для верующего здесь все стоит на своих местах: душа бессмертна, и это ее основное свойство. Человек причастен к движению всего мироздания, ответствен за него; душа объединяет его с необъятным космосом. Малейшее прегрешение, даже невольное, влияет на всю вселенную: так даже

крохотный изъясн в зернышке, в прозябающем семени скажется на качестве произросшего из этого семени злака; а затем, глядишь, больной злак начнет заражать и все поле — возделываемую богом ниву. Что такое «душа» в понимании нашем, никто никогда не определил и определить ни за что не сможет. И Фет бросается в стихию неясностей с тихой, но всегда заметной отвагой, ему присущей:

*Душа в тот круг уже вступила,  
Куда невидимая мгла  
Ее неволей увлекла.*

(«На корабле»)

*Чего хочу? Иль, может статься,  
Бывалой жизнью дыша,  
В чужой восторг переселиться  
Заране учится душа?*

(«Бал»)

*Струился теплый ветерок,  
Покровы колыхая,  
И мне казалось, что душа  
Парила молодая.*

(«Был чудный майский день...»)

Поэт просто-таки... видит душу. Не то, чтобы проявления жизни ее в чем-то материальном: в природе ли, на лице ль человека. Нет, душа для него — какая-то совершенно самостоятельная реальность, субстанция, наблюдаемая поэтом при всех ее трансформациях, странствиях, мытарствах, воплощениях. А так видеть ее может только человек, пронизанный верой, живущий ею и по-другому жить не умеющий. Так что ж, атеист ли Фет? Да, все-таки атеист; но такой атеист, который в диалоге с богом, в ощущении бога не уступит и людям, проникнутым органичной для них верой.

Честный, осознанный эклектизм в особенном изобилии порождает вопросы. Одно из характернейших стихотворений Фета так и называется «Почему?»:

*Почему светлой речи значенье  
Я с таким затрудненьем ищущу?  
Почему и простые реченья  
Словно темную тайну шепчущу?*

И — вопросы, вопросы, вопросы:

*И на устах вопрос, — и нет ему ответа.*

(«Даки»)

*Не мог я разгадать: то яркое сиянье —  
Вечерней ли зари последнее прощанье  
Иль утра пламенного луча?*

(«Ответ Тургеневу»)

*Жизнь пронеслась без явного следа.  
Душа рвалась — кто скажет мне, куда?  
С какой заране избранною целью?*

(«Жизнь пронеслась...»)

*Что я узнал? Пора узнать, что мирозданье,  
Куда ни обратиться, — вопрос, а не ответ...*

(«Ничтожество»)



Вопрос — альфа и омега поэтического сознания Фета. Этим свойством своим его мир сопрягается с миром ро-ма-на. Романа вообще. Романа как типа мышления. Романа как жанра, хотя и с некоторыми конкретными романами Фет сопрягается явно, с теми же «Братьями...» Достоевского: роман — жанр по преимуществу вопрошающий; роман задает вопросы, на которые так или иначе отвечают события сюжета, монологи и диалоги героев, пейзажи, отвечают, никогда, однако, не приводя к окончательному ответу. И весьма характерно, что лирика Фета всего прежде импонировала как раз писателям-романистам: Л. Н. Толстому, Достоевскому, Некрасову, который испытывал себя и в романе. А связь Фета с романом Пушкина «Евгений Онегин»! Свою юношескую любовь Марию Лазич Фет переименовывает в... Ларину, видя в ней жизненное воплощение пушкинской Татьяны. Чтение романа Пушкина, цитирование последнего монолога его героини входит в сюжет поэмы «Сон»:

*Ты мне читал «Онегина»...  
«А счастье было,— говорил поэт,—  
Возможно так и близко».*

В стихотворении «Чем безнадежнее и строже...» Фет, обращаясь к девушке, перефразирует слова, сказанные когда-то о Ленском:

*Я знаю, жизнь не даст ответа  
Твоим избыточным мечтам,  
И лишь одна душа поэта  
Их вечно празднующий храм.*

Отлично чувствующий и понимающий Фета Дмитрий Благой резонно уловил здесь чуть-чуть видоизмененную цитату из того же «Евгения Онегина»: слова о том, что лишь «безумная душа поэта еще любить осуждена» так, как ныне не любит никто.

Фет словно бы жил в бессмертном романе Пушкина; жил, видя вокруг себя его персонажей, возвращая их туда, откуда они были взяты: в помещичий русский быт. И в судьбе его было много от Ленского: помещик, поэт-романтик. Ленский, но без дуэли. Ленский, который, по ироническому допущению Пушкина, мог бы стать или великим поэтом, или заурядным помещиком. Но почему же «или»? А ежели «и»? И великий поэт, и помещик, пусть даже и заурядный: отчего бы гению так уж напрочь отказываться от чего бы то ни было обыкновенного, прозаического?

*Слепцы напрасно ищут, где дорога,  
Доверясь чувств слепым поводырям;  
И если жизнь — базар крикливый Бога,  
То только смерть — Его бессмертный храм,—*

писал Фет в стихотворении «Смерть».

Каждый видел: в быту, в повседневности прошлого храм строили в центре городских площадей, не стесняясь его соседства с базарами, ярмарками, с какими-нибудь лабазами, магази-

нами, лавками. Это было честно. Откровенно. Целомудренно, но без ханжества: храм — обитель души, фрагмент вечной жизни, въявь представленной здесь, на земле; базар — нашенское, земное, телесное. Христос выгнал торговцев из храма и правильно сделал: там, под сводами, их суета неуместна, кощунственна. Но Христу и в голову не пришло бы гнать их дальше, с площади, с примыкающих к храму проулков и улиц. И не надо отъединять одно от другого, взаимно противопоставлять два начала, два слагаемых человеческой жизни. Потому-то мало-мальски серьезные торговые сделки и совершали, перекрестившись на церковь, таким образом уверяя покупателя в добросовестности и добропорядочности.

170 Кто-то очень точно заметил: у нас, русских, веками слагался идеал праведника, но у нас никогда не было идеала... честного человека. Богатство, даже просто достаток извечно вызывали у нас настороженное недоверие. Русская литература полнится историями о состояниях, нажитых ценой преступлений: зловещих убийств, отравлений, в лучшем случае — омерзительного ростовщичества. «Портрет» Гоголя, «Секрет» Некрасова, «Дело Артамоновых» Горького, «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова — что ни побогаче герой повести, романа или баллады, то уж непременно душегубец-вампир, а статья состоятельным честно даже вроде бы и невозможно. На подобном фоне не может быть ничего удивительного в том, как сказочно быстро и с каким-то ликующим единомыслием резвящихся на руинах вандалов провели сначала экспроприацию всех помещичьих землевладений, а потом и коллективизацию. «От трудов праведных не наживешь палат каменных,» — вразумляет народная мудрость, утверждая связь, тождество состоятельности и преступления как что-то само собой разумеющееся. Коли так, то нечего и церемониться: как увидел палаты каменные или просто приличный, покрепче дом, так круши его, грабь награбленное! И не очень-то верится, будто некие тайные инациональные силы побуждали и понуждали сплошь хороших, доброжелательных тружеников-крестьян вдруг броситься изводить своих же соседей, впахивать их в подводы и гнать их куда-то туда, куда вслед за изгнанными вскоре потянулись и сами гонители. Не в масонах тут дело; и вряд ли в каких-то заговоренных ложах особо посвященные мастера и магистры при трепетном свете копящих светильников слагали обличительные пословицы, согласно которым следовало для начала сжечь библиотеку поэта Блока, а после небольшой передышки приняться и за своего брата, мужика покрепче. И опять вспоминается Афанасий Афанасьевич Фет.

Никакой раздвоенности у поэта-помещика Фета не было, как не было ее и у поэта-помещика Пушкина или у Александра Блока (хорошо, хотя бы вздохнуть успел о сожженной библиотеке; вздохнул и ушел из жизни, какое-то свидетельство все же оставив!). Была как раз с-двоенность.

Предивное дело: нередко говорим мы о поисках гармонической личности, вроде бы преискреннейше ожидая ее, а когда сия личность является перед нами, мы от нее отворачиваемся — не такая она, как надо бы... что-то не то... В лучшем случае



недоумеваем, в худшем же сердимся и яримся. Потому-то и выпали из нашей исторической памяти, скажем, купцы-меценаты. И не только в своем роде классики, братья Третьяковы или собиратель шедевров западноевропейской живописи Щукин, а просто умные русские труженики, строившие церкви и приюты для престарелых, больницы и школы, — гармоничные личности, имена же их, ты, господи, веся. А в удел Фету-Шеншину досталось недоумение: как же так, и шепот, и соловей, а тут на тебе, скотоводство да расчетливая агротехника? Странно как-то; право же, странно-с!

Да почему же вдруг странно-то? Что же тут странного? И трепетная пейзажная лирика, и агротехника — в несомненном единстве. Их единство всегда понимал народ, создавая тончайшие лирические произведения — свадебные песни, похоронные плачи, — и тут же занимаясь повседневными сельскохозяйственными делишками, хлебопашествуя, огородничая и торгуя. У талантливого поэта и у рачительного землевладельца-хозяина есть общее, и оно не может не бросаться, не бить в глаза: это — чувство *любви к земле*. Обладание ею. Заботы о ней, и духовной (стихи), и прагматической (накормить, удобрить землю навозом).

Кстати, русский сентиментализм вовсе не чуждался прагматики: именно под эгидой его начала по-настоящему расцветать отечественная журналистика. И занятно: структура едва ли не любого типичного для начала XIX столетия журнала удивительно точно совпадает со структурой личности Афанасия Фета. Половина — стихи: злополучный стенающий голубь, слезы, античные божества. А вторая половина — весьма дельные рассуждения о сельском хозяйстве, практические рекомендации, рациональные советы, статистика. Ничто здесь никого не шокировало; мир воспринимался как нечто единое; идеалом сентиментализма было всеобщее примирение, в частности, примирение духовного и земного.

Фет любил землю, в этом все дело.

Любил землю во *всех* ее проявлениях: ее можно радостно воспевать, но ее необходимо еще и возделывать. Возделывать, воспевая. Воспевать, возделывая.

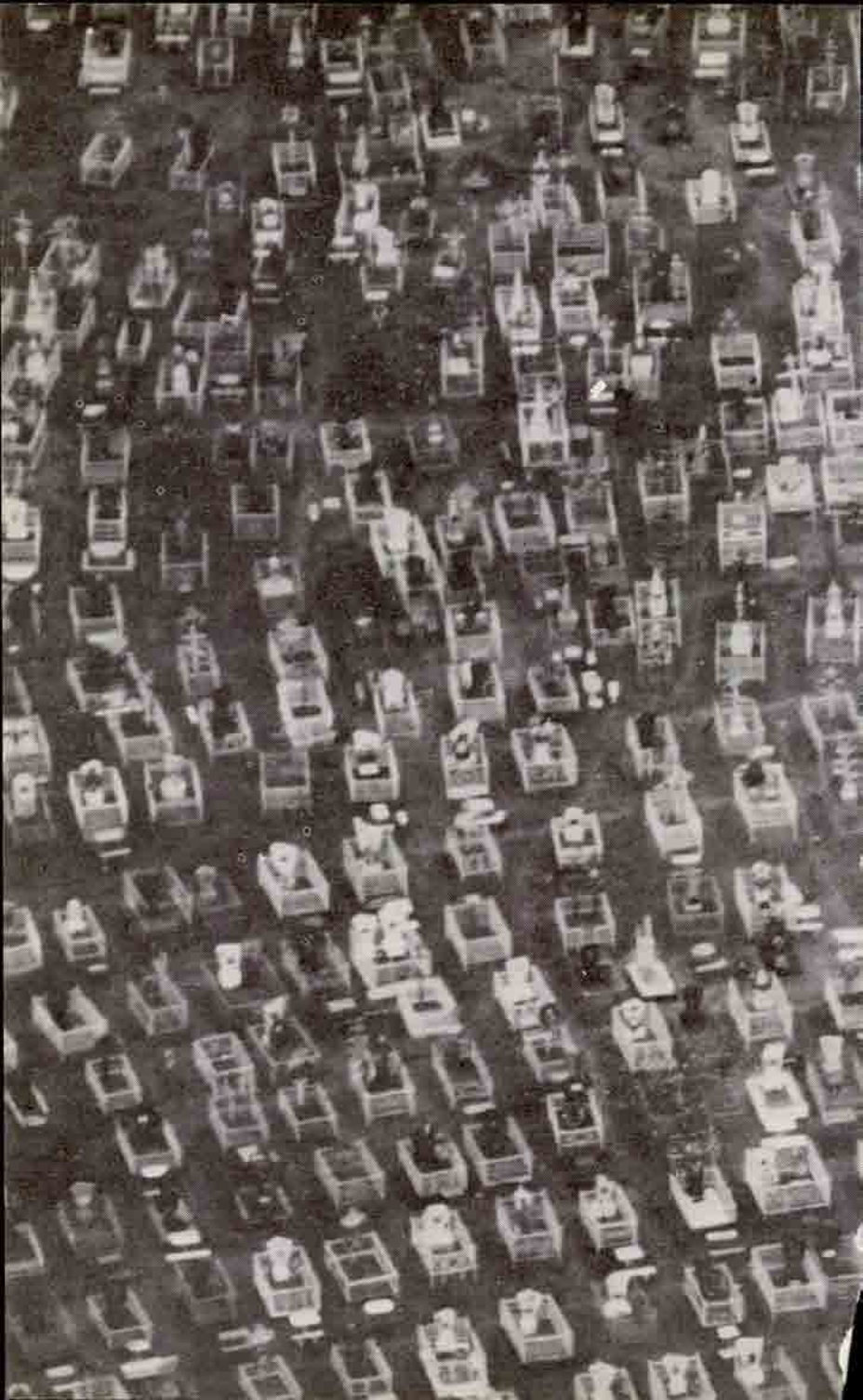
Полагаю, что при всей возвышенности чувств и богооткровенных помыслов, Фет-Шеншин был еще и честным дельцом: наживал палаты каменные трудами праведными. Да даже не праведными, а просто умело налаженными.

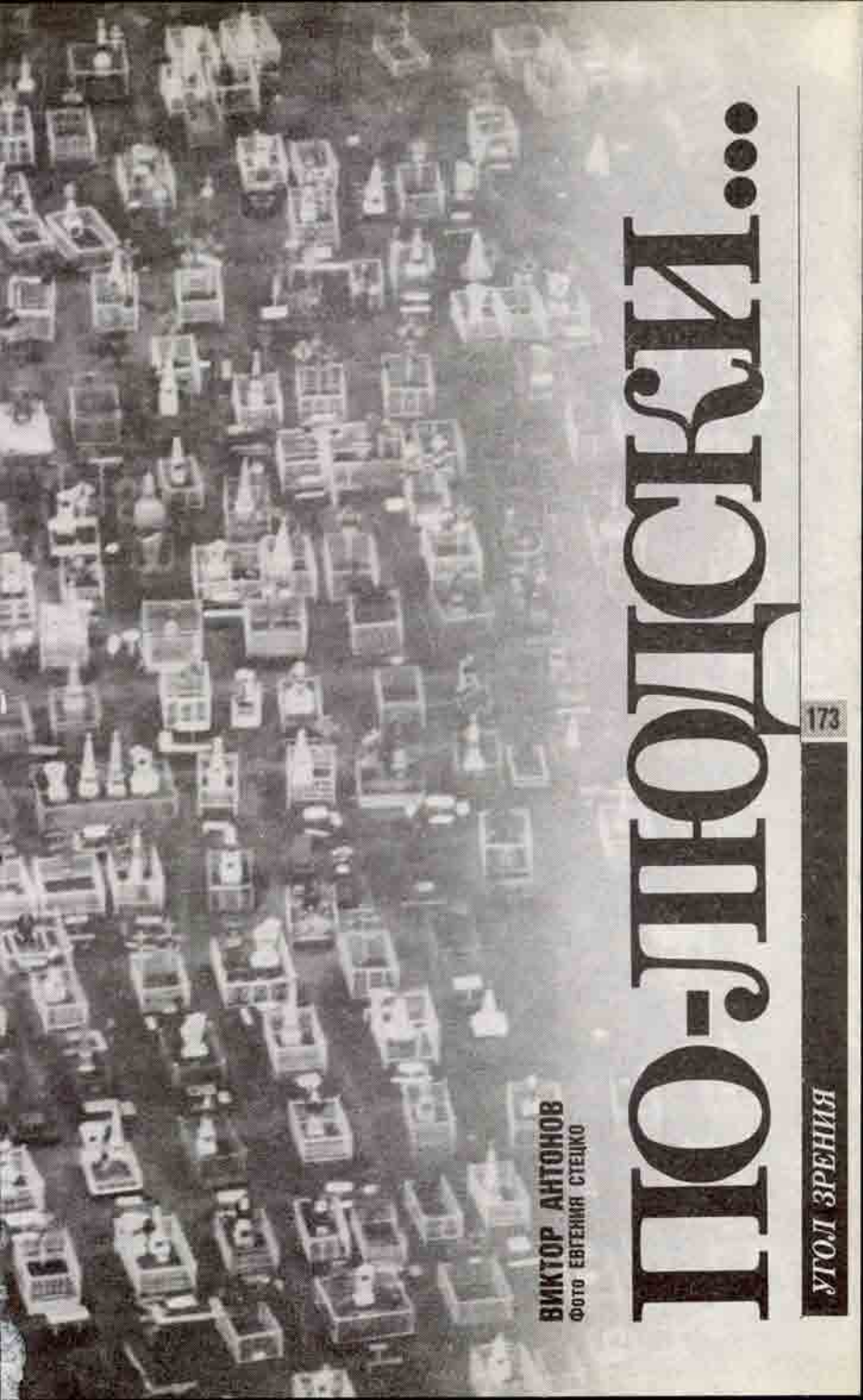
Тогда в чем же дело? Пусть бы себе наживал, ибо дорога к храму, которую мы якобы неустанно ищем сейчас, проходит через базар. Тем не менее Фет, сознававший это, и чем дальше, тем больше об этом напоминавший, оказался уникальным в своей раз-(с)-двоенности. Исключением. Но может быть, был он основоположником какого-то нового типа Поэта? И появятся у нас когда-нибудь его продолжатели, тончайшие и проникновенные лирики, которые, глядишь, наберутся смелости явить этот тип вполне воплощенным?

Так где же вы, Феты конца XX века?

Где вы?..







**ВИКТОР АНТОНОВ**  
ФОТО ЕВГЕНІЯ СТЕЦЬКО

# ПО-ЛЮДСЬКИ...

*УГОЛ ЗРЕННЯ*

173



Не знаю уж, чем цепляла за душу эта безыскусная эпитафия на старом кладбище: «Прохожий, осторожно! Не потревожь мой прах. Я-то уже дома, а ты еще в гостях»...

Среди торжественных надгробий прошлого века у часовни старинной кладки, среди традиционных просьб «Прими, Господи, дух их с миром» и стихов из Евангелия (золотом на черном глянце) надпись эта едва читалась на посеревшей от времени известковой плите. И все же приковывала взгляд. Чем? Может быть, созвучностью с настроением в скорбном месте или даже способностью создавать это настроение? Но скорей всего самой обращенностью: не к Нему, далекому, на небеси, а к тебе, оказавшемуся поблизости. А ведь не так она проста, подумалось. Нет, не только к мимо идущему — ко всем потомкам обращение: удержишься на минуту, прислушайся, помысли о бренном и вечном.

*...Тот жил и умер, та жила  
И умерла, и эти жили  
И умерли; к одной могиле  
Другая плотно прилегла.*

Никого «не минет чаша сия». Но речь тут поведу не о том даже, что все мы смертны, а что каждому приведется в жизни столкнуться с печальной процедурой похорон родных и близких. И от того, насколько отлажена процедура эта — сам ритуал и все с ним связанное, тоже зависит наше, живых людей, душевное состояние. А значит, в определенной мере и духовное состояние нации.

В горестную минуту на помощь, конечно, приходят родственники, друзья. И все же обойтись без услуг официального сервиса мы не можем. Никто не может.

Но нет у нас, к великому сожалению, настоящей посреднической организации, некой единой конторы, что помогла бы нам в погреб-

альных хлопотах (об агентстве всерьез говорить не приходится). В результате по каждому поводу мы вынуждены бегать сами, унижаться.

В телерекламе английской компании «Тэмз телевижн» пять вечеров подряд звучал рефрен: «Мы позаботимся о ваших заботах». Это они о своей службе почтовых пересылок. А кто бы взял на себя бремя наших забот в скорбный час? Кто бы позаботился? Интересно, как там у них в Англии по части ритуальных услуг? Тоже приходится, как нам, упрашивать водителя катафалка, что привез к крематорию, отвезти обратно к дому после прощания? У него же путевка только «туда» (символично, не правда ли?). А обратно как? «Договоритесь с шофером, — любезно подсказывают в похоронном бюро. — Если он согласится...» И хотя вы понимаете, а говорящие-то знают наверняка, что это не более чем условность — оплата ведь почасовая, — но приходится «договариваться». И коль сойдется в цене (а куда ж вы денетесь, заплатите любую), ваш водитель звонит в свою контору: у него-де потек радиатор, и к следующему клиенту он никак не успевает. И шофер в общем-то ни при чем. Он просто принял навязанные ему правила — уж так-ков порядок.

Что это именно порядок, система — сомневаться не приходится. К примеру, вырыть могилу — официально, по квитанции — летом стоит около трех рублей, а зимой аж... на пятерку больше. Так вот, считается нормальным и вполне обычным, что заказчик (или клиент, как преимущественно именуют в «бытовке») реально доплачивает 50—100 рублей. Разве ж не знал тот, кто разрабатывал сей преискурант (и расценки-то явно приводились в соответствие



с «натуральным» эквивалентом по ценам 61-го года: 1, 2 или 3 бутылки — это и есть те самые три категории сложности грунта), или же тот, кто до сих пор не пересмотрел его, не знали они, что грунт в иные зимы промерзает до полутора метров? Лом не берет и кайло отскакивает как от резины! Не знали?

Да они про это и знать ничего не хотят — не им же долбить ту проморозку. «Договоритесь с могильщиком...» И — договариваемся...

Вроде чего уж проще: узаконить те же 50—100 рублей (коль сложилась такая практика — все равно раскошеливаемся) с выплатой, скажем, двух третей на руки землекопам — в виде нормальной зарплаты в конце месяца, а не ежедневного «эквивалента». (Да и для конторы, в скобках отмечу, оставшаяся треть куда весомей, нежели нынешняя символическая плата по квитанциям.)

А еще вопрос: где заказать ограду? Хорошо, коли покойный имел отношение к заводу и там вам «пойдут навстречу». А если не имел? Как быть: найти сварщика и договориться частным образом? Но ведь он же не даст квитанции — вот беда: а ну как смотритель кладбища упрется: «Без документа не впущу». Бывало же такое. Опять доказывать, просить — «договариваться»? Да, опять, а как вы хотите? Раз приходится платить даже «за ключ» — чтоб только разрешили заехать в ворота и разгрузиться — недаром же (ох, не даром!) повесили «кирпич» при въезде. И не на одном Хованском специальный человек приставлен, чтобы только отпустить и натягивать трос-слагбаум...

Кладбище с незапамятных времен почиталось святым местом, а не просто местом захоронения. Здесь заканчивалась брэнная

часть пути с ее мелкими хлопотами и страстями, закрывался счет годам и открывался иной отсчет. «Под сим камнем лежит тело...». «Упокой, Господи, душу его». «Прими дух его с миром». Примирения с небесами жаждала душа перед кончиной (да и расплаты страшилась, аки геенны огненной). Некий дмитровский купец, свидетельствует хроника, завещал 45 тысяч рублей золотом на строительство храма и еще несколько тысяч на поминальные молебны, чтобы только похоронили его под плитами этой церковной паперти. Дабы прихожане ежедневно попирали ногами грешный прах его да не поминали бы лихом. Худой памяти в потомстве береглись...

И смотритель кладбища, и сторож его (а в иных странах еще и кладбищенские садовники) извечно пользовались почтением окружающих. А какое уважение могут вызвать действия ретивого администратора одного из московских кладбищ? Да-да, того самого, что, ссылаясь на давнюю инструкцию, давно забытую, но не отмененную, решил собрать с родственников усопших «задолженность» за хранение праха. И можно не сомневаться, что преуспел бы в этом начинании и «на законном основании» собирал бы дань, рапортуя по начальству о введении новой формы обслуживания (и о перевыполнении плана). А что? И платили бы как миленькие, и никакие призывы к высшей нравственности не помогли бы: у нас ведь инструкция — главная святыня. Это просто чудо, что общественности удалось остановить новацию в самом начале, до того, как она перекинулась на другие кладбища (а их только в одной Москве более трех десятков)...

Согласны и платить, и переплачивать — а что поделаешь? Кто же определил нам пожизненно роль просителей в собственной стране и как от роли этой постыдной избавиться? Вот еще о чем задумываешься, ненароком оку-

нувшись в дела хотя и кладбищенские, но вполне мирские.

Нет, пока существует монополия на все виды услуг, ничего иного, видно, ожидать не приходится. Сумеешь договориться — твое счастье, а нет — не обессудь. Ни пожить по-людски, ни похоронить как должно. Так вот всю жизнь и договариваемся то с одними, то с другими. И конца этому не видно...

Но вот наметились вроде некоторые сдвиги в бытовом обслуживании, появилась кооперативная альтернатива — во всем. И до сферы ритуальной дело дошло (почти на тех условиях, что я и говорил выше).

Многие сначала пугались: да это кому ж такое по карману: летом могила от 20 до 60 рублей, а зимой — от 50 до 90?! (Подзахоронка соответственно 70 и 105 рублей.)

Спрашиваю Веру Ивановну Борисову, смотрителя кладбища в подмосковных Островцах, с прошлого года декабря перешедшего на кооперативный преискурант: как их клиенты восприняли такие цены?

— Спокойно. Обращаются так же, как и раньше. Поначалу, правда, спрашивали: «Это все? Больше никому ничего?..» Да, говорю, это все, никому и ничего. «А могила-то будет готова к десяти или загодя подъехать?» «Все будет готово к сроку, не волнуйтесь...» А когда рабочие будут рыть могилу, это уж их забота. Хоть с ночи пусть начинают, у заказчика не должна об этом голова болеть.

— А не слишком крутые расценки — ведь почти в 20 раз от прежнего?

— В управлении бытового обслуживания все просчитали, решив создавать кооператив. А старый преискурант — просто бумажка на стене... Люди откладывают на черный день, а как же?

На этом кладбище к вам не подойдет некто с мутным взглядом, не нарушит ритуала, предлагаю «договориться» заплетающимся языком, сам чуть не заваливаясь в свежерытую могилу. Именно отношение, нормальное человеческое — слова участия или даже участливого молчания, — дорогого стоит.

А для комбинатов бытового обслуживания, что ателье индпошива, что бюро ритуальных услуг — все едино. И там, и тут в соцсоревновании участвуют, и «за культуру обслуживания» борются, и за призовые места. Всюду план, везде однотипные таблички на стенах: «Право на внеочередное обслуживание имеют...» По форме все вроде правильно, а по сути? (Что ни говори, а для похоронной конторы такая внеочередность звучит мрачно. Но привыкли и к этому, со многим стерпелись. И уже не режет слух, не ранит душу. Все же — льгота!)

Лет десять назад один знакомый доходчиво объяснил, почему он взялся писать сценарии мультфильмов. «Понимаешь, — сказал он, — камень я тесать не умею, а жить как-то надо...» Он был уверен, что камнетесы при кладбищах (речь именно о них) играючи заколачивают огромные деньги.

В отличие от приятеля-сценариста я-то умею тесать камень — не один год проработал в гранитке, — и что же? Оттого, что иные работы оцениваются здесь достаточно высоко, делать вывод о «золотом дне», прямо скажем, несколько поспешно. И людей тут, как на любом производстве, встретишь самых разных: и сильно пьющих, и не пьющих вовсе, тех, кто учится по вечерам в институте и кто «зарыл» свой диплом, придя в гранитку. Потомственных камнетесов, со школой за плечами, и самоучек с чувством пропорций и декоратив-



ным чутьем... Один перешел из могильщиков, но быстро освоил камень, так что даст фору бывалым мастерам, другой пришел с надеждой на скорое обогащение, но сошел с дистанции, не выдержав нагрузок. Так вот, чтобы гранитчику при ручной обработке (оплата сделанная, понятно) выработать свои 300 рублей, нужно сделать три-четыре памятника с подставками: отколоть от блока, оттесать, отполировать. А если камень заказывают усложненной конфигурации, на которую и расценки-то нет в прейскуранте, с ним одним провозишься недели две. Оцени-ка эту сложность в рублях! Приходится договариваться с клиентом на условиях взаимоприемлемых.

Встречаются и «борзые» ребята, что ломают цену, но в основном то работы такие исчисляются в тридцатку, полста...

Но даже не цена, а сам факт частного договора подсуден. Деньги с клиента брал? Изволь ответ держать. Ну и что, что за работу, и при чем тут договорные цены кооперативов? Одна судья вспылила: «Вы за свои взятки отвечайте — кооперативы за свои дела еще ответят! Лет через пять и их сажать начнем. Всех!..»

Что видит человек, придя в гранитный цех заказывать надгробный камень? Очередь на месяцы. Узнает, что и здесь дефицит. Как быть? «Сделайте получше, а я вас не обижу». Крылатая фраза бескрылой действительности. И сколько ни тверди о противозаконности таких подачек, клиент все равно будет давать. Пока существует дефицит — будет. И брать будут, пока зарплата не соответствует уровню цен.

Вспоминаю анекдотичный случай, как один заказчик пытался ускорить дело. Приносил камнетесу бутылку, и пока тот ее «уговаривал», сам брал в руки шпунт

с киянкой и под наставления профессионала худо-бедно, а тесал свой камень...

Обидно — жить с клеймом: «воронье на погосте». Ах, как хотел бы я разок увидеть тех негодующих в шкуре «египетских рабов»,двигающих ломками по каткам впритирку меж оградками двухметровый «колдырь» в полторы тонны весом (для справки: куб гранита — около трех тонн). И на кого бы они тогда негодовали, интересно? На господа бога, что камень не пластмассовый, на смотрителя кладбища, что проходы узки, и крану никак не подъехать, на заказчика, что в самый глухой угол забрался?

...Нынче, когда камнетесов все больше теснят станки с алмазными пилами, чтобы как-то конкурировать с техникой и обеспечить некий прожиточный уровень, приходится «нагонять» всю квадратные метры обработки — чем больше, тем лучше. Лучше, понятное, для зарплаты, а для заказчика? Дороже, и все. О каком-либо изяществе, изыске и думать не приходится. А душа-то порой просит чего-нибудь эдакого — вроде вот тех старинных образцов из шведского гранита (что у часовенки) — с разными присечками и галтелями, с пилястрами и кошниками. Да хоть просто с декоративной «шубой» или резными горельефными цветами... Но нет, какие там шедевры — однотипные стелы, как полированные шкафы. Жизнь безлика, и смерть такая же. Нет у нынешних мастеров стимула к изощренности в работе, да и заказчику чаще нужно что попроще. О, тут не одни экономические причины — если бы только это. (Вот на Лесном кладбище под Таллинном все более чем скромно — только плиточки полированные, редко низкие камни, — а как ухищрено все! Цветы, трава декоратив-



ная, свечи... Видно сразу, люди ходят сюда общаться с близкими — им не все равно...)

Один знакомый гранитчик жутко гордился, что его «авторская» работа установлена на Донском кладбище, по соседству, буквально через стенку от мемориальных мраморных надгробий резца Мартоса и Шубина. Даже не столько самим камнем гордился, сколько этой вот близостью с великими образцами.

Ну, а что заказчики? Давно смирились, что их слишком много, что камня на всех не хватает, хорошего тем более. Да они только называются так, заказчики, а сами давно уже просто покупатели. И, как всякие покупатели, берут то, что есть (мало ли чего кому хочется, пусть спасибо скажут, что хоть это досталось). Все по тому же принципу: мертвым — сойдет...

Что-то очень важное утратила душа наша, с тех пор как «душу отменили влопыхах». Храним ли мы еще благоговение перед священной памятью предков или только говорим об этом? «Два чувства равно близки нам, — когда-то уверял поэт, — любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Полно, так ли? Про нас ли? В чем она, эта любовь? В экскурсиях на Новодевичье кладбище?

Расстрелянные в упор обелиски павшим, шашлыки на вечном огне, разбитые фотографии на кладбищах, поваленные стелы... Кто все это сделал, дети каких родителей, чьи внуки? Откуда вообще такие берутся? Да уж не засланные — это точно. Свои, исконные, доморощенные. Пока одни отправляются на поиски свидетельств славного прошлого, другие «добровольцы» по ночам раскапывают братские могилы в поисках крестов и золотых коронок. Им и название уже придумали: черные следопыты... Возможно ли досту-

чатся до их сердец словами о морали и нравственности? Душа больна, и это в уголовном порядке не выправишь.

Так, может, потому и новая дорога, перерезавшая старинное кладбище, и жилой район на месте древнего захоронения уже не грех? Сюжет, показанный во «Взгляде», об уничтожении подмосковного кладбища — лишь один из ряда. А сколько таких примеров по Руси, кто сосчитает?

Распаханное под садовые участки Бородинское поле — это, так сказать, ближайшая перспектива, наше «светлое будущее». А вот наше славное сегодня: парк культуры и отдыха в Воронеже, разбитый прямо на месте городского кладбища, прозванный парком Живых и Мертвых. Ни память о знаменитых земляках Кольцове и Никитине, похороненных здесь, ни протесты общественности не остановили отцов города от этого «благоустройства». Так и стоит он по сию пору — со своими нехитрыми аттракционами и цирком, с одинокими стелами двум русским поэтам при входе — парк Живых и Мертвых... Немалый миллиейский чин, коему довелось принимать участие в разгоне митинга (все же протестуют люди — протестуют! — против чиновничьего надругательства над памятью, совестью), говорил об этом с виноватой улыбкой: «К счастью, обошлось без жертв...»

...Ну, а где же выход, спросите?..

Посетовал я вначале на отсутствие единой фирмы ритуальных услуг. Да, государственной нет. Но, оказывается, есть кооперативные агентства, что берут на себя буквально все похоронные хлопоты: от гроба с доставкой и могилы до оркестра и фотографа (все — и даже стол для поминок могут обеспечить). Стоит это, конечно,

будь здоров — под тысячу и более. Но уж тут каждый сам вправе выбрать, что ему лучше...

А что же госсектор? Что-то не слышать о его новациях. Да и за чем они ему?

У самого комбината бытового обслуживания все, что надо, есть, а чего нет, «договорится» — и добудут...

И подумалось: а не отдать ли кладбища целиком, со всей «обслужкой» местным Советам? Да не в номинальное территориальное подчинение, как нынче, когда не то что телефона, машины для уборки и той не выпросишь (кто не натыкался на горы мусора на каждом кладбище?). Нет, так, чтобы исполком действительно отвечал перед народом за состояние этого скорбного места. Но где гарантия, что Советы станут здраво советовать с теми же зрителями, как лучше дело поставить, а не командуя или навязывая свою волю? Гарантий

нет... Хотя, постоя, одернул я себя, как нет? Ведь теперь это наши Советы, народные. Значит, мы и есть гарантия.

...Заскочил в гранитку знакомый могильщик. Перекурить, новостями перебраться. Спрашиваю, как дела.

— Сегодня нормально. Стольник будет...

Знаю, он инженер по образованию. В семье сам пятый. И на 170 рэ как прокормишься? Пошел сюда...

Сколько их при кладбищах наших — технарей, гуманитариев, с дипломами, со стажем, опытом работы по специальности. Сменивших рейшины, лаборатории, класы на кайло да лопату.

Какая страна позволила бы себе такое расточительство? А мы ничего — не сгораем со стыда. Ведь жить всем как-то надо. Желательно по-людски.

Попробуй-ка запретить это...

КОНКУРС



ДНОГО  
СТИХОТВОРЕНИЯ

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ  
АЛЕКСЕЙ СВЕРЧКОВ  
ОЛЬГА ЧИКИШЕВА  
МИХАИЛ ОКУНЬ

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА  
ВИКТОР ТВЕРДУНОВ  
ЮРИЙ ДРУЖИНИН  
ВЯЧЕСЛАВ САМКОВ

180

**АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ,**

36 лет,  
археолог, Псков

*Если начало — ноль,  
Жизнь — это путь улитки  
Не поперек, а вдоль  
Длинного края калитки.  
Если начала нет —  
Это попеременно  
Лишь отраженный свет  
Падающей Вселенной.*

**АЛЕКСЕЙ СВЕРЧКОВ,**

15 лет,  
учащийся, Свердловск

*Время белых ворон наступило,  
Их теперь не изгонишь из стаи.  
Черноперым собратьям простили  
Все обиды они и печали.  
И вороны отмоют перья,  
Кровь засохшую смоят быстро.  
Смена цвета совсем не потеря,  
Если хочешь остаться чистым.*



Дорогие друзья! Наш традиционный конкурс одного стихотворения продолжается... В этом году мы решили отказаться от какого-либо тематического девиза, памятуя о том, что «Поэзия есть всюду — кроме стихов плохих поэтов» (П. Клодель).

Напоминаем условия конкурса: в нем могут принимать участие все, кто пишет стихи (за исключением членов Союза писателей СССР). Необходимо указать профессию, имя, отчество, фамилию, возраст, домашний адрес. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Итоги конкурса подводятся в конце года, победители награждаются дипломами и премиями «Смены». Но самой приятной, мы надеемся, наградой победителям станет публикация подборок их стихов.

Желаем успехов! Ждем ваших писем!

*Только душу менять нет причины  
Черноклювым стражникам ночи,  
И на новую мертвечину  
Они острые когти точат.*

### **ОЛЬГА ЧИКИШЕВА,**

26 лет,  
студентка,  
г. Березники Пермской области

*Заветный смысл есть в муках на Руси,  
За всех святых не выплачешься ныне.  
Мы к алтарю прощения просить  
Идем, скрывая должности и имя.  
О, эта скорбь! Иконный тонкий лик  
В серебряном объятии оклада...  
Запрятано терпенье, а не крик  
В глубинах вопрошающего взгляда.  
Но что условность тлеющих лампад  
Подняторовшим на шарадах века?  
Мы чувствуем сильнее во сто крат  
Подтекст любви к земле и человеку.  
И это нам, привыкшим в стену — лбом,  
Уставшим правду брать луженой глоткой,  
Писали предки Спаса с житием  
И Богородицу с улыбкой кроткой.*

**МИХАИЛ ОКУНЬ,**

37 лет,  
инженер, Ленинград

**НИЩИЙ**

*Здесь немало ищу уголков,  
Где бродил полоумный Поприщиян...  
В куче ржавых железных венков  
Что ты ищешь, кладбищенский нищий?*

*Твой прообраз давно уже спит,  
Успокоившись в вечной ночежке.  
Ты в «болоню» одет, деловит,  
У тебя под рукою тележка.*

*Жесток взгляд на безбровом лице,  
Сух румянец, в движениях мера —  
То ль страдальца в терновом венце,  
То ль подпольного миллионера.*

**НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА,**

18 лет,  
бухгалтер, Москва

*Вы спите, а вокруг творится что-то:  
Пылает свет то ярче, то слабее,  
О чем-то тяжело вздыхают шторы,  
Без сил припав к холодной батарее.*

*И обступают стены звук случайный,  
Пристав к нему с вопросами пустыми,  
И без огня подпрыгивает чайник,  
Мечтая напоить пески пустыни.*

*Сквозняк сдувает каждую пылинку,  
Всерьез влюбившись в странные покои,  
Зевают кресло, выгибая спинку...  
Вы спите. А творится тут такое!*

**ВИКТОР ТВЕРДУНОВ,**

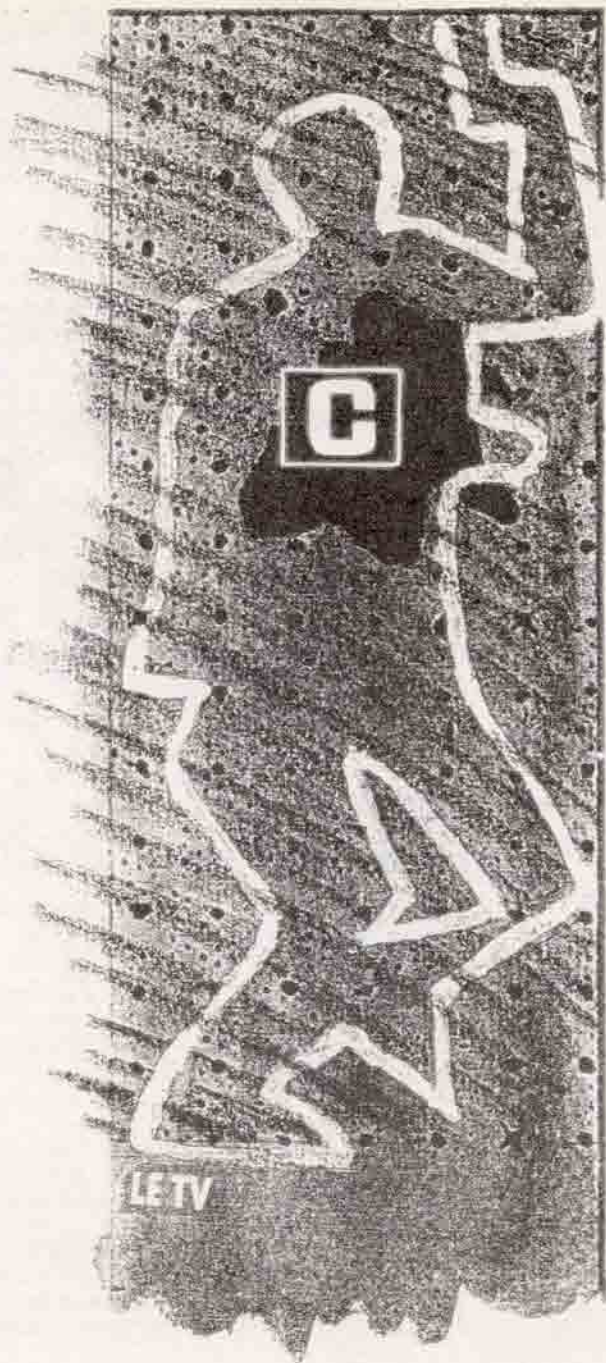
36 лет,  
радиомеханик,  
г. Середина-Буда Сумской области

**ОДИНОЧЕСТВО**

*Под потолком,  
в этом доме с накатною крышей  
Трудно дышать, одиночеством правя строку,  
Кошкой ступать  
по паркетному полу неслышно  
И откликаться на выстрелы в левом боку.*







Рисунки  
ВЛАДИСЛАВА  
ГУЗНЕРА

# ПОСПЕДНИЙ ТРЯК

# Кас. Кашера

БУАЛО-НАРСЕЖАК

185

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЛОБУС

Дверь приоткрыта, свет из коридора, проникая сквозь щель, мягко рассеивается, вспыхивает бликами... Позолота переплетов, рамы картин, медная пепельница рядом с креслом, какие-то блестящие предметы на письменном столе. Дверь приоткрывается чуть шире, и на пороге возникает фигура. На ковер ложится длинная тень. Где-то слышно мерное тиканье старинных часов, впрочем, все замерло в тишине ночи. Тень колеблется, затем делает шаг. Вот уже слышно ее прерывистое дыхание, как у человека, объятая страхом. Еще шаг. Слабый отблеск металлического предмета.

Фигуру поглощает тьма, но по очертанию плеча можно узнать мужчину. Он направляется к письменному столу. Чуть скрипнуло кресло, человек сел. Внезапно в темноту дерева врезается круг ослепительного света лампы — в круг его руки. В одной —

смятый в комок носовой платок, в другой — револьвер. В ярком свете только руки полны жизни. Лицо мужчины похоже на подвешенную загадочным образом гипсовую маску. Правая рука с величайшей предосторожностью кладет оружие на подлокотник и застывает. Осмелев, рука отодвигается, медлит. Человек вздыхает. Закрывает глаза. Глазницы заливают мертвенная бледность. Левая рука поднимает носовой платок к скорбному лицу, мелкими движениями вытирает его, как бы успокаиваясь. Затем она тянется к телефону, стоящему на углу стола, ставит его на подлокотник, срывает трубку и точным движением нажимает на клавиши. Трубка прижата к уху. Отчетливо слышен сигнал вызова — в ночной тишине он будто пронзает бесконечность. И вдруг щелчок. Голос.

— Говорит *Братская помощь*, слушаю.

Опять тишина. Дыхание становится прерывистым. Пальцы теребят носовой платок. Наконец слышится шепот.

— Я могу говорить?

Стоит такая тишина, что от внезапно прозвучавшего рядом ответа человек вздрагивает.

— Слушаю вас... Я один... Можете спокойно говорить.

— Могу говорить, сколько захочу?

— Разумеется. Я здесь для того, чтобы быть вам полезным.

Человек отрывает трубку от уха, вытирает пот, который катится градом, и продолжает:

— Простите меня... Так трудно найти слова.

— Успокойтесь... Времени у нас сколько угодно.

— Спасибо... Чувствуете, как я взволнован?

— Да... Даже потрясены. Но я выслушаю вас. Скажите себе, что я вам не судья, а такой же человек, как и вы. Как знать, может, я сам пережил испытание, подобное вашему. Надо выговориться... Доверьтесь мне... Ну как, вам не лучше?

— Да.

— Говорите громче.

— Да.

— Прошу вас говорить громче, так как по вашему голосу я... как бы это выразиться?... сужу о состоянии сердца... Вы не наделали глупостей?

— Нет. Еще нет.

— И вы не сделаете этого, так как сейчас расскажете... все, что у вас на душе, как сумеете... не задумываясь... Тяжесть, которая непосильна для вас... я возьму ее на себя.

— Спасибо... Попытаюсь... Но предупреждаю вас, выхода нет.

— Никогда не произносите таких слов.

— Других, однако, нет. Алло? Вы меня слышите?

— Да... не бойтесь.

— Простите. Мне показалось, что... Прежде всего, вы имеете право повесить трубку. Слушать бредни старого...

— Но вы пока еще ничего не сказали.

— Вы правы.

Голос слабеет. Вдалеке слышится бой часов — один низкий удар, гул от которого долго не смолкает. Человек вытягивает



левую руку и, приоткрывая запястье, смотрит на часы. Половина одиннадцатого.

— Алло... Я думал... буду с вами откровенным. Пытаюсь выиграть время. Дело не в том, что я боюсь. Прежде всего, я ничем не рискую. Но когда слова прозвучат и вы их услышите... У меня нет выхода. Понимаете... то, что я, быть может, до сих пор скрываю от себя, станет явным. Будет слишком поздно.

— Смелее! Вы же свободный человек!

В голосе теплота. Хотелось бы видеть это незнакомое лицо. Оно, наверное, доброе, чуть встревоженное, по-братски внимательное.

— Нет,— говорит тень.— Я уже не свободен. Я будто стою на узком карнизе, на двенадцатом этаже; пустяк может смахнуть меня вниз. Пути назад уже нет.

Происходит нечто неожиданное. В трубке раздается дружеский смех. Словно на плечо ложится рука.

— Мне нравится ваша метафора,— говорит голос.— Она внушает доверие. Доказывает, что у вас довольно хладнокровия, чтобы посмотреть на себя со стороны. А в вашем случае требуется именно это. Не погружаться в собственную душу, не начинать себя оплакивать.

Пауза, затем голос поспешно продолжает:

— Я, по крайней мере, не обидел вас?... Позвольте сказать вам кое-что... Сейчас вы сидите перед телефоном, не так ли? ...Ну конечно... Вы можете прервать разговор или продолжить его. Можете закурить или выпить рюмочку... Вот видите... Вы хозяин своих движений... В таком случае, дорогой друг... вы позволите, чтобы я называл вас дорогим другом?... Прошу вас, возьмите себя в руки... Не обманывайте...

— Простите, я не позволю...

— Не обманывайте себя... Вы поняли, что я хочу сказать?.. Алло! Отвечайте!

Человек перекладывает телефонную трубку из правой в левую руку, берет револьвер. Понижает голос.

— Вы знаете, что у меня... Слушайте.

Он постукивает дулом по столу.

— Что это? — спрашивает голос.

— Вы поняли? Я дошел до последней черты. Да, у меня револьвер.

— А!

— И я пушу его в ход.

Минутное колебание, затем голос тихо говорит:

— У меня нет на вас никакого права... Вы думали, что я не принимаю вас всерьез... Сожалею. Напротив, никогда я не был ближе к вам, чем сейчас... Вы больны?

— Нет.

— Безработный?

— Нет.

— Замешана женщина?

— Нет.

— Дорогой друг, вы играете со мной в жестокую игру. Как я могу угадать? У вас траур?

- Нет. Я стар. Вот и все.
- Не понимаю вас.
- О, прекрасно понимаете!
- У вас депрессия?

— Никоим образом... Слушайте. У меня состояние, друзья, я в добром здравии. У меня жена... Словом, все. Я счастлив. Но устал. Впрочем, нет, не совсем то... Скорее, далек от всего. Жизнь меня больше не интересует. Я даже спрашиваю себя, зачем позвонил вам. Вы примете меня за сумасшедшего. Но я вдруг сказал себе: «Что ты тут делаешь? Будешь продолжать так каждый день... все одно и то же... видеть все эти морды...» Не знаю, поймете ли вы. Жизнь — карусель... бег по кругу... Простите, но чем больше вы заставляете меня говорить, тем больше я чувствую себя посторонним в вашем мире манекенов... Я удаляюсь. Чувствую, что огорчил вас... Но что такое огорчение?

Человек кладет телефон на подлокотник. Сжимает голову руками. Голос в трубке теряет самообладание, кричит на высокой ноте: «Алло... Аллю... Отвечайте... Аллю». Глубокий вдох, трубка снова прижата к уху.

— Аллю!.. Скажите же что-нибудь... Вы должны говорить.

— Да,— соглашается мужчина.— Но не прерывайте меня... Я обратился к вам за помощью, чтобы у меня был свидетель, который сможет повторить мои последние слова.

— Нет, я...

— Слушайте, прошу вас. Обычно пишут завещание. Пытаются объяснить причину самоубийства. Но в моем положении мне никто не поверил бы, и я хочу сразу же положить конец комментариям недоброжелателей. Вы можете сообщить... полиции... моей жене... кому угодно о нашем последнем разговоре. Вы скажете им, что я был в здравом уме и твердой памяти и решил уйти из жизни просто-напросто потому, что она мне надоела... Уйти... как актер... как писатель... примеров сколько угодно.

— Это невозможно!

— Почему же невозможно? Я не из тех, кого нужно утешать. Одним словом... Единственная услуга, которую вы могли бы мне оказать, это позвонить в полицию, дежурному, и доложить, что господин Фроман, владелец *Ля Колиньер*, выстрелил себе в сердце. Никто не упрекнет вас, вы спасали меня, как могли.

— Давайте все-таки потолкуем не спеша.

— Делайте то, что я вам говорю. Я хочу, чтобы моих близких оставили в покое. Чтобы никаких неприятностей. И, главное, пусть избавят меня от надгробных речей...

Человек поднимается, прижимает трубку к груди, чтобы не слышать, как в отчаянии и бессилии зовет, срывается голос. Он хватается за револьвер и направляется в глубину комнаты, осторожно подтягивая и раскручивая на достаточную длину телефонный шнур.

Когда он пересекает освещаемое лампой пространство, свет падает на пиджак — он кажется серым, — но силуэт тотчас растворяется в полумраке. Человек доходит до балконной две-



ри, бесшумно открывает ее. Шелестит листва. Ночной воздух полон аромата скошенной травы. Он подносит трубку ко рту.

— Я рад, что имел дело с вами, месье. Прощайте.

Он поворачивает трубку наружу и, поднеся револьвер к аппарату, стреляет в воздух. «Нет, нет!» — выкрикивает голос в трубке. Человек тихо возвращается, гасит лампу, медленно кладет на пол револьвер и телефон. Аппарат агонизирует на мягком ковре. В несколько прыжков человек выскакивает из кабинета, но, очевидно, он где-то рядом — слышится шорох ткани, хриплое дыхание, будто ворочают что-то очень тяжелое. Вскоре он появляется, волооча тело. Именно тело — руки и ноги безжизненно повисли, различается лишь нечто бесформенное. По глухому шуму можно догадаться, что труп положили на пол, рядом с письменным столом. Теперь работают руки — подносят к трупу затихший телефон, взводят курок. Только два выстрела: одна пуля принесла смерть, другая — улетела в пространство. Найти должны одну стреляную гильзу. Вот так-то, безупречная работа требует тщательности. Значит, на место одной из двух пуль надо вложить новую и позаботиться о том, чтобы при повороте барабана в стволе оказалась холостая гильза.

Дело сделано. Разыграно как по нотам. Наконец, последнее: рука в перчатке сжимает пальцы мертвеца на рукоятке. Осторожно. Не стирать следы пороха; нечего сомневаться, что полиция применит парафиновый тест. Надо все предусмотреть. Он будто согнулся под тяжелой ношей или от неясного раскаяния. Человек быстро берет себя в руки, еще раз все перепроверяет. Балконная дверь приоткрыта. Пусть. Господину Фроману всегда было жарко. Тело упало вперед. Хорошо. Пуля — в сердце. Телефон стоит там, где полагается. Черт! Надо протереть. Упаси бог, если найдут отпечатки... К счастью, труп еще не закоченел. Левая кисть легко сжимает телефонную трубку, затем так же легко разжимает ее. Человек пятится до самого порога, оглядывает комнату. Медленно пожимает плечами, словно хочет сказать: «Неужели все это было необходимо?» — и удаляется.

Около одиннадцати, когда комиссар Дрё, надев пижаму, чистил зубы, раздался звонок. Жена в спальне листала иллюстрированный журнал.

— Пошли их подальше в конце концов! — крикнула она, когда комиссар прошел через спальню в кабинет. По привычке она прислушалась, но супруг отвечал односложно:

— Да... Да... Слушаюсь... Хорошо... Понимаю... Нет, нет... Согласен. Еду... Ну разумеется... Гарнье у вас?... Я заеду за ним. Со злости Женевиэва Дрё швырнула журнал на ковер.

— Тут еще почище, чем в Марселе! Между прочим, тебя заверяли, что здесь нечего будет делать... а ты дома не живешь.

Комиссар уже собрал одежду и прошел в ванную.

— Фроман покончил с собой.

— Какое мне дело до этого типа? Кто это? — бросила она.

— Цементные заводы Запада. Крупнейший здешний предприниматель.

— Прямо так, ночью, и покончил с собой? А тебе не кажется



ся... Это не может подождать до завтра?.. Что ты там будешь делать? Констатировать? Может, достаточно одного Гарнье?

Дрё вернулся в спальню.

— Не найду галстук. Куда ты его сунула? — буркнул он.

— Откуда я знаю. Зачем тебе ночью галстук?.. Твой Фроман уже не заметит, в галстуке ты или без него.

— Мой Фроман, как ты изволила выразиться, президент не знаю скольких компаний, первый заместитель, генеральный советник, а выборы на носу...

— Ну и что?

Дрё поднял глаза к потолку и покачал головой.

— Спи. Так будет лучше. Завтра объясню.

Он оделся и спустился в гараж. Быстро сел в машину. В полицейском управлении его ждал инспектор Гарнье.

— Выкладывай,— начал комиссар.— Твой коллега упомянул *Братскую помощь*. Якобы Фроман предупредил, что собирается покончить с собой. Это так?

— Так точно... И дежурный — тот, кого называют «человек у аппарата», — слышал выстрел.

— Где это произошло? Я не очень хорошо понял.

— В *Ля Колиньер*, замке Фромана.

— Где это? Извини, я здесь недавно.

— Езжайте прямо. Затем надо свернуть на Сомюрскую дорогу, мимо насыпи... Да вы, наверное, видели замок издали, когда прогуливались пешком. Мощное сооружение между Анжу и Сен-Матюреном, похожее на казарму. Живет там всего пять человек. Фроман, его кузен Марсель де Шамбон, старая мать кузена, молодая госпожа Фроман и ее брат Ришар... Бедняга парализован по вине старика... Осторожно! Вы думаете, эти идиоты велосипедисты свернут направо?.. О, тут целая история.

— Слушаю тебя внимательно. Возьми «голуаз» в ящике для перчаток.

— Спасибо. Вчера вечером я выкурил пачку... Да, так я говорил о старике. На самом деле он не так уж стар, шестьдесят, может, с хвостиком. Всегда гонял, как псих, на огромных американских драндулетах, аварий была куча... Но, сами понимаете, это же президент Фроман, ему многое дозволено... И вот в прошлом году, примерно за месяц до вашего приезда, на Турской дороге, у Шато-де-Вальер — там есть одно чертово местечко — он врезался в старую «пежо-403», аккуратно в середину... Девушка чудом отделалась контузией, но вот Ришар, бедолага... переломы таза, паралич обеих ног. В общем, полуфабрикат.

Инспектор захохотал.

— Вам смешно?

— Нет, я смеюсь... не над калекой... над Фроманом. Этот старый козел, кстати, известный в округе, вторгся в девушку — любовь с первого взгляда. Двадцать пять лет, лакомый кусочек, и, представьте себе, сумела-таки... довести его и до мэрии, и до церкви. Неверьятно!

— Я этого не знал,— заметил Дрё.

— Скандал замяли. Фроман сделал широкий жест, женился на девушке, а парня поселил в замке, как принца... У следующего

перекрестка проедем через подвесной мост... И мы почти у цели... Подождите, патрон, это еще цветочки! Фроман... старинный анжерский род... мукомольные, шиферные заводы, а теперь еще и цемент... деньжищ — гора, а девица, малышка Изабелла... угадываете-ка, чем она занималась со своим Ришаром? Несмотря на все меры предосторожности, принятые стариком, разнюхали-таки... узнали через Центральную справочную... она была акробаткой в кино... Заметьте, и Ришар тоже! О, Фроман сорвал куш! Он распустил слух, что Изабелла — его дальняя родственница... ну, а поскольку она вела себя очень скромно... Я уж не говорю о парне — тот вроде Железной маски... Так вот. Будто ничего не произошло... Понимаете? Без шума. Или по большому секрету. Только ведь скоро муниципальные выборы... а это самоубийство... Вам сбаврили дельце, патрон, не позавидуешь!

— Особенно после инцидента в прошлом месяце, — заметил комиссар.

— Вот именно. Люди могут связать самоубийство с забастовками. Дело дрянное... Пока не начали болтать, что его подтолкнули, беднягу! Уже недалеко... Вот мост. Теперь свернем на проселочную дорогу.

— А этот тип... как его... дежурный у телефона?

— Его вызвали на завтра. Он утверждает, что спас уже немало бабенок, которые собирались отравиться или угореть... Так теперь он жутко расстроен, словно Фроман застрелился у него на руках. А вот и хибара!

В конце газона, окруженного деревьями, возвышавшимися темной стеной, фары высветили стоящий наискось белый фасад довольно внушительного замка... в стиле Ренессанс с двойным главным корпусом вокруг парадного двора. Первый этаж был залит светом.

— Там, видно, не спят, — заметил комиссар.

Через секунду он притормозил у ограды и послышался. Из домика вышла женщина, надевая на ходу халат.

— Полиция! — крикнул Дрё.

Чтобы не ослеплять ее, он убрал фары, включил подфарники. Одной рукой она придерживала на груди халат, другой старалась открыть ворота, бормоча что-то невнятное.

— Пойди, помоги ей, — сказал Дрё.

Пока Гарнье открывал тяжелые ворота, комиссар внимательно оглядел замок. У подъезда две машины. Входная дверь открыта, вестибюль освещен.

Гарнье вернулся.

— Тело они обнаружили только что, — сообщил он.

— Кто именно?

— Сначала кузен, затем молодая дама. Они были в Анже и недавно вернулись. Привратник с ними. Они нам сразу же позвонили.

Комиссар вырулил на аллею, опустил стекло.

— Не закрывайте, сейчас прибедет много народу, — попросил он консьержку, нажал на акселератор, и мелкий гравий застучал по металлическому кузову.

— Она в ужасе,— пояснил Гарнье,— для нее Фроман — Господь Бог.

Дрѣ поставил машину рядом с белой «пежо-604» и красной «альфеттой».

— Если я не ошибаюсь, кузен и вдова не были вместе... Это, конечно, их машины,— заметил он.

— Старик распустил прислугу, чтобы ему не мешали,— продолжал инспектор.

— Вполне возможно.

Они поднялись по ступенькам парадного подъезда и остановились перед входом в просторный вестибюль. Изумительные бра чугунного литья, старинная люстра, огни которой бросали блики на панели темного дуба, кое-какая дорогая мебель, цветы, а в глубине — лестница, шедевр неизвестного мастера.

— Вот бы пожить здесь! — прошептал инспектор. — Я бы сто раз подумал, прежде чем пустить себе пулю в лоб. Есть же на свете счастливики, которые даже не понимают этого!

Комиссар проследовал через вестибюль и вдруг оказался лицом к лицу с растерянным человеком, напавшим охотничью куртку прямо на ночную сорочку.

— Полиция,— сказал Дрѣ.— Где тело?.. Вы консьерж?.. Проводите нас.

— Чудовищно,— хныкал консьерж.— Господин президент выглядел совершенно нормально... Сюда, пожалуйста.

— Тут ничего не трогали?

— Нет. Он в кабинете. Мадам и господин Марсель около него. Врачей, полицию предупредили. Но вас не ждали так быстро.

— Давно ли вернулась госпожа Фроман?

— Нет. Господин Марсель приехал первым. Сам открыл ворота. Он всегда старается нас не беспокоить. Он такой добрый!.. Почти вслед за ним я увидел госпожу. Ее легко узнать. Я вышел, чтобы закрыть за ними.

— Давно ли они уехали из дома?

— О, да! Достаточно давно. Господин Марсель выехал около восьми тридцати, госпожа — несколько позднее. Пожалуй, часов в девять.

— А другие?

— Они еще спят. Старая госпожа де Шамбон живет в левом крыле, ближе к парку. Ей больше семидесяти пяти. А господин Ришар не может ходить с тех пор, как произошел несчастный случай. Все глотает транквилизаторы да снотворное.

Комиссар остановился.

— А персонал? Кто следит за порядком в доме?

— Я и моя жена,— виновато ответил консьерж.— Была горничная, но она взяла расчет в прошлом месяце, когда началась забастовка.

— Почему?

— Испугалась. Жозеф тоже ушел. Это был мастер на все руки. Занимался и кухней, и садом. Его по-настоящему жаль.

В конце коридора послышался крик.

— Успокойтесь же, успокойтесь! Нужно время, чтобы они приехали.



— Господин Марсель,— пояснил консьерж.— Для бедной госпожи это такое потрясение. Вы позволите?

Он побежал к кабинету.

— Полиция приехала.

Его кто-то оттолкнул. На пороге появился господин де Шамбон. На нем было легкое габардиновое пальто. Он забыл снять белое кашне, но, представляясь, не забыл стянуть правую перчатку:

— Марсель де Шамбон.

— Комиссар Дрё... Офицер полиции Гарнье.

Шамбон выглядел этаким щеголем: высокий, худощавый, подчеркнута благовоспитанный.

Мужчины поздоровались за руку.

— Он там,— прошептал Шамбон.

Комиссар вошел в кабинет. «Так вот оно что, каскадерка!» — подумал он, поклонившись молодой женщине, которая стояла, опершись на спинку кресла и прижимая ко рту носовой платок. На госпоже Фроман было легкое меховое манто, под которым угадывалось стройное тело, в ушах бриллианты, на шее жемчужное ожерелье — сама роскошь.

Дрё взглянул на распростертое тело.

— Я глубоко сожалею. Примите мои соболезнования,— промолвил он и обратился к Шамбону, стоявшему на пороге: — Вы нашли его именно в таком положении? Можете это подтвердить?

— Безусловно.

Комиссар встал на колени, осторожно приподнял плечо покойного, чтобы открыть лицо. Госпожа Фроман вскрикнула.

— Уведите ее. Но недалеко... Гарнье, осмотри, пожалуйста, револьвер,— приказал Дрё.

Под телом натекла кровь, но большая ее часть пропитала жилет и рубашку. Дрё пощупал руки. Они были мягкие. Смерть наступила совсем недавно. Дрё взглянул на часы. Скоро полночь. По-видимому, Фроман выстрелил в себя около одиннадцати часов.

— Пушка старая,— заметил Гарнье,— с нею, наверное, воевали еще в 14-м. И при этом плохо чистили.

— Позовите консьержа.

— Я здесь, месье,— ответил тот.

— Вам знаком этот револьвер?

Консьерж испуганно вытянул шею.

— Да... Кажется.

— Вам кажется или вы уверены?

— Мне кажется, я в этом уверен. Обычно он лежал близко.

В библиотеке.

Комиссар встал.

— Покажите, где.

Он проследовал за консьержем в соседнюю комнату. Дорогие старинные переплеты. Мягкий блеск позолоченных корешков. Посередине длинный, совершенно пустой стол.

— Он был здесь, в этом ящике.

Консьерж открыл ящик.

— Там его больше нет,— сказал Дрё.— Насколько я понимаю,

всем было известно, что в этом ящике лежало оружие?

— Думаю, да. Замок стоит на отшибе. На всякий случай...

— Понятно, понятно...

Комиссар вернулся в кабинет, развернул носовой платок и осторожно поднял телефон, все еще стоявший на ковре.

— Алло... Это вы, Мазурье? Дрём у телефона. Бригаду отправили?

— Да. Судебно-медицинского эксперта тоже. Я сразу принял меры. Они вот-вот явятся. Это самоубийство?

— Без сомнения. Вы записали время вызова?.. Я имею в виду *Братскую помощь*...

— Разумеется. Без десяти одиннадцать.

— Спасибо.

Консьерж и Шамбон, поддерживавший вдову, смотрели на него с тревогой.

— Не стойте здесь. Подождите меня...— сказал комиссар.

— В салоне,— предложил Шамбон.

— Прекрасно. В салоне. Сначала позвольте вопрос... не бойтесь, чистая формальность. Я ведь должен представить рапорт. Господин де Шамбон, где вы провели вечер?

Кузен принял обиженный вид.

— Я?.. Ну, я был в кино. В «Галлии», если вам так необходимо знать...— Он порывлся в карманах.— Могу показать билет.

— Не стоит. Поймите, мне нужно знать, кто где находился... Ни одна деталь не должна оставаться невыясненной... А вы, мадам?

— Я была у друзей... Лаузели, это на площади Бессоно... Мы играли в бридж...

— Благодарю вас. Когда мы получим первые результаты, у меня будут к вам и другие вопросы.

Он вернулся к Гарнье, указал подбородком на револьвер, который инспектор держал кончиками пальцев в бумажной салфетке.

— Что еще?

— Ничего, патрон. Выстрелила одна пуля.

— Как и следовало ожидать. Так. Положи его на письменный стол и пойди посмотри, не разбудили ли больного. Может, он что-нибудь слышал.

— А если он спит?

— Не настаивай. Оставь его в покое. Потом узнай, не хочет ли старая дама сделать заявление. Попроси консьержа, чтобы он тебя проводил, а между делом постарайся выудить из него побольше... не было ли у старика депрессии... не болел ли он... не был ли в ссоре с родственниками... ну, не мне тебя учить, как работать.

— А что вы сами думаете, патрон?

— Пока что у меня нет определенного мнения. Но человек в положении Фромана не кончает жизнь самоубийством без достаточно веских причин. И нам надо выяснить, что это за причины, иначе... Везет же мне! Сюда задвинули, потому что до сих пор не выяснены причины самоубийства Анджело Маттеот-





ти, и вот вам новое дело и такое же темное! Ну иди... иди. Обо мне не беспокойся.

Оставшись один, комиссар обошел комнату, через застекленную дверь вышел наружу и очутился на заднем дворе замка, выходящем в парк. Сюда мог проникнуть кто угодно. Допустим, вор. Не стоит, однако, заблуждаться... Надо лишь удостовериться, что ничего не украдено.

Ночь была прохладной. Дрё вернулся в кабинет, еще раз осмотрел труп. Фроман не повесил трубку перед выстрелом, так как ему нужен был свидетель. Он хотел, чтобы в его самоубийстве никто не сомневался. Знал, что его смерть покажется необъяснимой. И в то же самое время хотел, чтобы ее причина оставалась в тайне. Что это за причина? Ведь он, конечно, не полностью доверился *Братской помощи*.

Дрё медленно обследовал комнату. Здесь тоже кое-какие книги, но главным образом картотеки, классеры — довольно аскетическая обстановка бизнесмена. Будучи человеком подозрительным, Фроман, видимо, не слишком полагался на доверенных лиц. Тем более на секретарей. Стоило бы поговорить с Шамбоном.

На письменном столе около телефона стояла ваза с букетом роз, фотография госпожи Фроман и рядом с бюваром — отрывной блокнот; комиссар полистал его. На субботу никаких планов.

В самом деле, подумал Дрё, завтра воскресенье. (Он посмотрел на часы.) Впрочем, воскресенье уже сегодня. Женестьева опять будет сердиться, хотя прекрасно знает, что это моя работа!..

На понедельник фамилия: Бертайон — 11 часов. Еще одна — на вторник. И еще... Встречи, номера телефонов, подчеркнутые инициалы... Все предстоит проверить, однако человек, который собирается покончить с собой, вряд ли будет расписывать расписание дня. Странно.

Дрё услышал, как вдалеке хлопнули дверцы машины: ребята из криминалистической лаборатории. Им не вдолбить, что надо действовать деликатно, не врываться в дом, где покойник, как бригада телерепортеров в расчете на интервью. Вскоре кабинет наполнился народом.

Судебно-медицинский эксперт приехал последним.

— Вы обратили внимание на время? — спросил он. — Какая-то мания стреляться по ночам!.. Заключение придется подождать до понедельника.

Он перевернул тело на спину.

— А клиент ловкач... Пуля в сердце, сразу видно. Это не так-то просто, как кажется. Попробуйте — сами увидите... Смерть, видно, наступила мгновенно.

— Фроман... Цементные заводы Запада.

— Кажется, я уже видел эту физиономию в газете. Шуму будет!..

От фотовспышек болели глаза. Врач уселся на письменный стол, как за стойку бара, предложил комиссару сигарету, но тот отказался.

— Как это его угораздило?

— А черт его знает... Посмотрите, не болел ли он чем-нибудь

серьезным... Начало рака, например. Признаюсь, меня бы это устраивало — рак... Идите сюда, а то мы мешаем. Отпечатки пальцев нам ничего не дадут, зато совесть будет спокойна.

— Можете его забирать, — бросил фотограф.

Выходя в коридор, Дрё и врач столкнулись с инспектором.

— Вы знакомы с моим помощником? — спросил комиссар. — Ну что, Гарнье?

— Ну и лачуга! — воскликнул инспектор. — Нужен велосипед, чтобы тут передвигаться. Молодой человек, Ришар, живет в правом крыле. Я заглянул в комнату. Он спит. А богатая вдова расположилась в левом крыле, на втором этаже. Ее дверь закрыта на ключ. Держу пари, она жалуется на бессонницу, но вы бы слышали храп!..

Двое молодых удалялись, держа носилки — они слегка покачивались. Дрё протянул врачу руку.

— Всего доброго. Теперь вы поедете спать... А я останусь со своей работенкой — вопросы, вопросы... Гарнье, старина, осмотрите повнимательнее участок вокруг балконной двери... Мне вдруг кое-что пришло в голову... А раз так, у меня это будет вертеться в голове, пока не перепроверю... Открытая балконная дверь в парк... Мне это не нравится. Постой!.. Минутку... Консьерж... Он тебе ничего интересного не сказал?

— О!.. Этот не перестает причитать. А вот что он при этом думает, пойдй узнай!

— Ладно, я им займусь.

Шамбон, мадам Фроман и консьерж ожидали комиссара в салоне. Шамбон, застегнутый на все пуговицы, сдержанный, словно пришел с визитом, сидел, выпрямившись, на стуле. Вдова утопала в кресле, консьерж стоял, заложив руки за спину с выражением озабоченности на лице.

— Прошу меня извинить, — начал комиссар, повернувшись к консьержу. — Ваши имя и фамилия, пожалуйста.

— Жермен Маршан.

— Вы можете быть свободны. Я скоро подойду к вам. Завтра у нас будет больше времени для разговора, а сейчас я должен кое-что выяснить. Итак, госпожа Фроман!

Она открыла глаза и со страхом взглянула на комиссара.

— Изабель Фроман... Мы поженились около года назад. Почему он это сделал?

— Вот это я и пытаюсь выяснить. Вы, месье, насколько мне известно, кузен господина Фромана?

— Нет. Я его племянник.

— О, прошу прощения.

— Шарль — брат моей матери. Намного моложе ее. Матери скоро семьдесят шесть лет, а Шарлю было шестьдесят два. Отец был компаньоном Шарля. Он умер от инфаркта семь лет назад, я занял его место.

— То есть?

— Это довольно сложно. Цементные заводы Запада — фамильное предприятие, которым мы владеем как неделимой собственностью. Шарль был генеральным директором, но замечу, наши права равны его правам. Точно так же и замок принадле-



жит нам обоим на равных. Я, как и мой отец, лицензиат права, в моем ведении бухгалтерия...

— Понятно. Спасибо. Расскажите мне о молодом человеке, Ришаре.

Наступила напряженная пауза. Изабель сделала движение в сторону Марселя де Шамбона, но тот тихо возразил:

— Нет, это не ко мне...

Дрё прервал его:

— Я в курсе всего, что касается катастрофы. Мне известно, что вы, мадам, и этот юноша работали в весьма оригинальном жанре.

— Какое это имеет отношение к смерти моего мужа? — спросила Изабель.

— Может быть, никакого. Но будьте так любезны... Мне необходимо во всем глубоко разобраться. Ришар — ваш брат, если не ошибаюсь?

— Сводный брат. По отцу.

Комиссар помолчал, затем продолжил:

— Итак, я в курсе катастрофы. Ваш брат не сердился на вас за то, что вы вышли замуж за человека, по вине которого он оказался в таком положении?.. Я собираю информацию, вот и все. Если хотите, задам вопрос иначе. Как ваш муж относился к вашему брату? Его вина, наверное, казалась ему невыносимой?

Молодая женщина и Шамбон смущенно переглянулись.

— Допустим, когда он встречал Ришара... за столом... или в парке... — настаивал Дрё.

— Он всегда был исключительно любезен, — ответил Шамбон.

— А вы, мадам?.. Ведь время от времени какое-нибудь слово, жест выдавали его чувства?

— Никогда.

— Позвольте! И вам это не казалось странным? Испытывали ли ваш муж дружеские чувства по отношению к вашему брату... или жалость... или что-то другое?.. Нет? Вы не знаете. С другой стороны, любил ли ваш брат человека, который его искалечил?

— Вам ничего не стоит спросить об этом его самого, — раздраженно вмешался Шамбон.

Дрё в раздумье сделал несколько шагов.

— Поверьте, — сказал он, — эти вопросы нравятся мне не более, чем вам. Но тот, кто кончает с собой, — как правило, человек, не добившийся своей цели. Семейные неурядицы, дела, принявшие плохой оборот...

— Не надо преувеличивать, — возразил Шамбон с вымученной улыбкой.

— Допустим, — продолжал Дрё, — но вы сами... Вы хорошо с ним ладили?

— Прекрасно. Что тут придумывать? Разумеется, предприятие переживало кризис. Дядя стал раздражительным.

— А! Вот видите!

— В такой момент кто угодно потерял бы хладнокровие. Нам не возвращают долги. Мы переживаем всевозможные неприятности. Кое-какие иностранные рынки для нас пока что закрыты.



— Так не это ли причина? Расскажите мне о забастовке, о которой поговаривают до сих пор.

— Здесь многое преувеличено. Правда, дядю действительно заперли в его кабинете. И он чуть не ударил представителя забастовщиков.

— Ах, вот как!

— Он быстро выходил из себя и, надо признать, был... старомодным... патроном.

— А вы?

— Нет, только не я. Иногда мы ссорились с ним по этому поводу.

— Интересно!..

— У него была манера все решать единолично и даже к своим близким относиться как к служащим.

— И к вам тоже?

— Разумеется.

— Вы сердились на него?

— О, иногда случалось! Но дальше этого не заходило.

— Итак, я резюмирую сказанное вами: ничто в частной жизни или в профессиональной деятельности не могло его толкнуть на самоубийство!

— Я так полагаю, господин комиссар.

— А вы, мадам? Вы тоже так считаете?.. Говорил ли он с вами о делах?

— Никогда,— прошептала вдова.

— Вы ничего мне не рассказали о его здоровье.

— У него было слегка повышенное давление,— сообщил Шамбон.

— Я спрашиваю госпожу Фроман,— заметил Дрё с раздражением.

— Да,— согласилась она.— Он соблюдал диету... то есть... пытался соблюдать. Но не избегал деловых обедов или ужинов. И много курил.

— Словом, не любил отказывать себе в чем-либо?

— Именно.

— Но он не пил?

— О нет! Иногда.

— И... прошу прощения, но я должен задать этот вопрос... Вне брака...

Шамбон и Изабелла быстро переглянулись, Дрё перехватил этот взгляд.

— Не скрывайте от меня ничего,— воскликнул он.

— Шарль обожал меня,— прошептала Изабелла почти стыдливо.— Марсель может подтвердить.

— Это правда,— согласился Шамбон.— Когда-то у него была репутация повесы, и он дважды разводился.

— Но остепенился? — подхватил комиссар.

— Он был чрезвычайно предупредителен со мной,— добавила молодая женщина.

Дрё взглянул на часы и поднялся.

— Мы продолжим этот разговор. Разумеется, вскрытие тела в подобном случае обязательно. Но это мало что даст. Все

совершенно ясно. От чего бы я хотел вас избавить, так это от сплетен, пересудов, злословия... Если бы только нам удалось найти причину, серьезную причину, которая объяснила бы поступок господина Фромана. К сожалению, у нас нет ничего... ни одного слова, написанного его рукой, как иногда пишут отчаявшиеся... В общем, прошу извинить меня за то, что задержал вас.

— Не хотите ли выпить что-нибудь перед отъездом? — предложила вдова.

— Нет, благодарю вас... я заеду завтра утром, если позволите. Я должен еще расспросить...

— Моя мать ничего вам не сообщит,— прервал его Шамбон.

— И Ришар тоже,— добавила Изабелла.— Они до сих пор спят, и уж не они...

— Знаю,— отрезал Дрё.— Но мне нужно отчитаться... Спокойной ночи. Еще одно слово. Вам не показалось, что здесь были воры?

— Воры?

Озадаченная пара смотрела на него чуть ли не укоризненно.

— Прошу прощения,— поспешил сказать Дрё.— Балконная дверь в кабинете была приоткрыта. Через нее мог войти кто угодно... Согласен, тут концы с концами не сходятся. Но ведь между моментом самоубийства и вашим возвращением прошло некоторое время. Вы понимаете, куда я клоню. Итак, первое, что приходит на ум: хранил ли господин Фроман у себя в кабинете деньги, какие-нибудь ценности?

— Нет,— категорически заявил Шамбон.— Он был осторожен. Замок стоит уединенно и...

— Ну хорошо, хорошо, я не настаиваю,— прервал его комиссар.— В прошлом, разумеется, также не было попыток ограбления?

— Никогда.

— Не будем об этом больше говорить. Последнее: запирайте ворота накрепко. Я не хочу, чтобы пресса путалась под ногами. И не отвечайте на телефонные звонки. Я рассчитываю на вас. Спасибо.

Прислонившись к машине, его ожидал инспектор Гарнье.

— Ничего интересного,— сказал он.— Но с фонариком немало увидишь. Днем я рассмотрю получше.

Комиссар пожал плечами.

— Не стоит. Но и соображения, если только это можно назвать соображениями, недорого стоят. Теперь я почти уверен, что самоубийство вызвано деловыми причинами. Не исключено, что Фроман был накануне банкротства. Именно здесь и надо искать... Куда пошел консьерж?

— Вернулся к себе.

— В путь! Садись за руль. Я уже устал... Посигналь чуть-чуть перед сторожкой.

Машина тронулась. Дрё вздохнул.

— Знаешь, Гарнье, это странный дом. С одной стороны, эти акробаты, с другой — Фроман, который не внушает мне доверия, а между ними этот юноша, весьма смахивающий на воспи-

танника иезуитов... Забавно! В самом деле, я забыл его спросить, но готов держать пари, что он никогда не был женат. Не знаю, зачем я это говорю.

Прихватник ждал их у ворот. Комиссар приоткрыл дверцу.

— Два-три маленьких вопроса... Кто прислуживает за столом?

— Я, пока нет новой кухарки.

— Как прошел обед вчера вечером? Господин Фроман выглядел озабоченным?

— Нет, нисколько. Вообще-то он не слишком разговорчив.

— За столом были все пятеро?

— Нет. Госпожа де Шамбон не ужинает. Моя жена относит ей настоя трав.

— А молодой человек?.. Ришар... Кстати, как его фамилия?

— Ришар Монтано. Кажется, отец его был итальянец. Так говорят. Он в принципе предпочитает есть итальянско... Мне кажется, он стесняется своей коляски и костылей.

— Так. Значит, за столом сидели трое. О чем они говорили?

— Не знаю. Я не все время присутствовал. Но думаю, говорили о выборах. Вам, конечно, известно, что господин Фроман подвергался нападкам, и это очень огорчало его. Я часто видел его по утрам, когда поливал газоны. Он выкуривал сигару, прежде чем ехать на завод, и говорил мне: «Жермен, вы считаете это справедливым после того, что я сделал для них? Им нужна моя шкура».

— А! Вы уверены, что он так и говорил: «Им нужна моя шкура»?

— Да, он так выражался.

— А на кого он намекал?

— Откуда же мне знать! У человека в его положении много врагов.

— Короче, вчерашний день показался вам похожим на все прочие? Никто не приходил?.. А может быть, почта?

— И почты не было. Абсолютно ничего особенного.

— Ну что ж, благодарю вас. Идите скорее спать.

Машина выехала за ворота и набрала скорость.

— Хорошенькое воскресенье нас ждет,— пробормотал Дрё. Больше он не открывал рта.

«Дежурным» Братской помощи был человек лет пятидесяти, с серыми усами, в серой фетровой шляпе, сером плаще, серых перчатках, в руках — складной зонтик-автомат. В петлице — значок *Ротари*<sup>1</sup>. Он церемонно поклонился и представился:

— Жан Ферран, коммерсант.

Комиссар указал ему на кресло, потертое от долгой службы.

— Итак, господин Ферран, я вас слушаю. Но сначала уточним один важный пункт. Когда раздался выстрел?

— Точно в двадцать два сорок.

— Сколько времени длилась беседа?

<sup>1</sup> Ротари-клуб, международный клуб (основан в Чикаго в 1905 году), объединяет деловых людей и представителей «свободных» профессий в целях развития личных контактов. (Здесь и далее прим. переводчика.)



— Четверть часа. Я привык записывать все подробности.

— Как вообще это происходит в *Братской помощи*? Вы дежурите по очереди?

— В принципе да. Но поскольку я страдаю бессонницей, лучше уж кому-то приносить пользу, не правда ли? Поэтому четыре раза в неделю я дежурю с двадцати часов до полуночи. Мне известно, что в других обществах, созданных раньше нашего, дело организовано по-другому. Например, мы считаем своим долгом вмешиваться, как только это возможно... Оказываем и моральную помощь, и материальную, организуем встречи с лицами, которые обращаются к нам.

— Кто к вам обращается чаще всего?

— Женщины.

— Любовные огорчения?

— Нет, необязательно... Безработные женщины и девушки. Я — генеральный директор одного из предприятий по производству запчастей... К несчастью, эти проблемы мне знакомы.

— Часто ли бывают попытки к самоубийству?

— Нет. В последнюю минуту люди цепляются за соломинку.

— Когда вы услышали голос вашего собеседника, у вас создалось впечатление, что он действительно решил покончить с собой?

— Как вам сказать, я почувствовал, что он очень взволнован, это безусловно. Но все-таки я не думал... И до сих пор не могу прийти в себя... Этот выстрел... У меня было ощущение, что это в меня выстрелили в упор.

— Господин Фроман... Вы его знаете?

— Как и все. Я не принадлежу к его кругу... Я хочу сказать, с политической точки зрения. Мы встречались раза два или три... Бывают ведь свадьбы, похороны, на которых невозможно не присутствовать... Но мои симпатии и антипатии здесь абсолютно ни при чем.

— Когда он назвал свое имя, о чем вы подумали?

— По правде говоря, ни о чем не подумал. Пожалуй, мне было скучно... Следовало бы прореагировать, не знаю... Я просто растерялся... И, кроме того, он не давал мне рта открыть.

— Ах, вот как... Не могли бы вы повторить некоторые фразы, которые вас особенно поразили. Но сначала перескажите коротко ваш разговор. Он сказал вам, почему хочет покончить с собой?

Господин Ферран оперся подбородком на ручку зонтика, который держал на коленях, закрыл глаза, чтоб было легче вспоминать, и заговорил:

— Сначала голос его дрожал. Он робел... Кстати, так всегда бывает... Затем сказал мне, что держит в руках револьвер, и для убедительности постучал дулом по столу. Вот тут я испугался. Спросил, не болен ли он, может, его обманывают или он потерял близкого человека? Он отвечал отрицательно.

Господин Ферран опять открыл глаза и посмотрел на Дре.

— Что бы вы сделали на моем месте?

Комиссар покачал головой.

— Вы ни в чем не виноваты, — заверил он. — Если я правильно понял, причин для самоубийства у Фромана не было.

— Была причина, но это так странно!.. Я довольно точно помню слова, которые он произнес.

Дрё наклонился вперед.

— Говорите. Это самое важное.

— Он сказал: «Я отошел от всего... Жизнь меня больше не интересует». И еще: «Я чувствую себя чужаком в вашем мире манекенов. Я удаляюсь. Ухожу».

— Ну что ж, это слова человека, страдающего депрессией.

— Нет, нет. У меня в голове до сих пор звучит одна из его последних фраз: «Я в здравом уме и твердой памяти... Я решил исчезнуть, потому что сыт по горло и собой, и другими».

— Это бред.

— Он еще добавил: «Я хочу, чтобы моих близких оставили в покое. Чтобы не было неприятностей». А потом сказал что-то в таком роде: не надо ни цветов, ни венков.

— Таким образом, он изложил вам нечто вроде устного завещания, — резюмировал Дрё.

— Да, вроде этого.

— Продолжали ли вы держать трубку после того, как прозвучал выстрел?

— Разумеется. Вначале была тишина. Затем послышалось, как упало тело, но не сразу.

— Завтра мы получим результаты вскрытия. Но, по-моему, смерть Фромана наступила мгновенно. Вы уверены в том, что говорите?

— Чтобы быть абсолютно уверенным — нет, я бы не присягнул. У меня голова шла кругом. Я был так далек от каких-либо подозрений...

— Ну, сделайте усилие. Бах! Выстрел. Вы по-прежнему держите трубку около уха.

— Пойдите, — сказал комиссар. — Я успел подумать: «Он, конечно, сидит. Сейчас он рухнет. Может, послышится стон», — и уже соображал, что надо немедленно вызывать дежурного по полицейскому участку... Слишком поздно! Именно в этот момент я и услышал какой-то звук, только очень смутно... Не удар, нет. Точно не знаю.

— Тело упало на пушистый ковер, — пояснил Дрё.

— Тогда понятно.

— Видите ли, — продолжал комиссар, — это между нами: я нахожу странным, что такой человек, как Фроман... Впрочем, никак не пойму, что меня смущает!.. В его поступке содержится некий вызов... Если бы ему надоело жить, об этом не надо было кричать на всех перекрестках. Довольно было бы письма. Завтра об этом напишут на первых страницах местной печати. Однако Фроман был не из тех, кто любил шум... Постарайтесь вспомнить любые, самые мелкие подробности... Это мне очень поможет. Вообще вам следовало бы записывать телефонные разговоры. Ферран подскочил.

— Что вы, что вы! Если бы этот несчастный не сообщил мне своего имени и адреса, я бы молчал как рыба. Мы вмешиваемся, когда отчаявшиеся сами этого хотят. Соблюдение тайны с нашей стороны ни у кого не должно вызывать сомнения.



— Да, конечно, вы правы, — согласился Дрё. — Когда Фроман застрелился, он, в сущности, был один в замке. Иными словами, только вы были рядом. В таком случае... минута отчаяния... Только так это можно объяснить... Ну что ж, благодарю вас, господин Ферран. Мой помощник попросит вас подписать ваши показания.

Все это написал я сам. Пора об этом сказать. Абсолютно все. Мысли действующих лиц... их разговоры. Например, в самом начале, разговор между комиссаром и его женой. Конечно, я не прятался под кроватью. Не было меня и в машине, когда Дрё переговаривался с инспектором. И так далее. Я восстановил одну за другой все подробности, создал своего рода миниатюрную модель событий. Смастерил вполне подходящий макет. Уверен, что ничего не забыл. Слова, записанные мною, необязательно точно такие, какими они были на самом деле, но выражают они одно и то же. У меня было достаточно времени, чтобы все разузнать, всех выслушать. Прежде всего Изу и Шамбона. Ох уж этот... и даже Дрё — ведь он только делает вид, что болтает, чтобы удобнее было шпионить... От калеки, иначе говоря, от пленника, скрывать нечего. Он ведь вызывает жалость. Считается, что ему просто-таки необходимо рассказывать все до мельчайших подробностей, день за днем, лишь бы он не чувствовал себя исключенным из жизни, отстраненным, наказанным. Кроме того, известно, что я могу быть хорошим советчиком. Вот они и навещают меня друг за другом. «Как вы думаете, Ришар?» или «Подобное самоубийство, наверное, не может вас не интересовать, вы ведь снимались в кино?». Да, друзья мои, меня все интересует. Они и не подозревают, разбегаясь в разные стороны, что я недремлющее око. Оно видит контуры романа там, где для них лишь густой туман и тайна. А как я тешусь, управляя ими, как марионетками. Как мне заблагорассудится! Даже тобой, Иза, предательница!

Комиссар Дрё явился в *Ля Колиньер* в одиннадцать утра. Один. На этот раз он слегка привел себя в порядок, но любезнее от этого не стал. Его встретил Шамбон, и комиссар пожелал вновь осмотреть кабинет. Там он долго созерцал силуэт, нарисованный мелом на ковре.

— Кое-что я никак не пойму, — сказал он наконец. — Господин де Шамбон, не могу ли я попросить вас о помощи.

— Разумеется.

— Садитесь за письменный стол, возьмите телефон в левую руку, будто вам нужно позвонить... Давайте... И по моему сигналу начинайте падать... Только не навзничь... Сначала грудью на угол стола, затем — на пол. Как бы в два приема.

— Но... я не сумею, — пробормотал Шамбон. — И потом, при мысли, что Шарль...

— Это очень важно, — настаивал Дрё. — Попробуйте... Приготовились?.. Так. Выстрел. Бах!.. Давайте.

Смертельно бледный Шамбон рухнул вперед.

— Не так. Мягче, — закричал комиссар. — Сюда... Теперь



правым плечом — вперед! Падайте!.. Давайте, падайте! Вы не ушиблись? Стоп! Не двигайтесь.

Скрючившись у ножки письменного стола, Шамбон шумно дышал.

Дрё изучал положение тела.

— Так я и думал,— прошептал он.— Фроман, видимо, стоял. Это более логично... Не так-то просто направить дуло на себя.

— Я могу встать? — спросил Шамбон.

— Разумеется,— буркнул Дрё.

Он еще долго рассматривал нарисованный мелом силуэт.

— Меня беспокоит, что тело занимало положение, которое кажется мне необъяснимым. Если бы он сидел, то упал бы по-другому. Если бы стоял, его отбросило бы ударом назад. Выстрел из оружия такого калибра весьма силен.

— А может, он не был убит наповал? — предложил Шамбон.

— Верно, он мог согнуться пополам, упасть на колени. И все-таки. Я не убежден... Где господин Монтано?

— В своей комнате. В девять утра Жермен относит ему поднос. Он пьет кофе с сухариками.

— А потом?

— Жермен помогает ему встать. На маленькие расстояния Ришар пользуется костылями. Он умывается, затем снова ложится. Много читает. Слушает пластинки. В час дня я сажаю его в коляску. Он доверяет только мне.

— Значит, вы ладите друг с другом?

— Как братья.

— Я предполагаю, что госпожа Фроман тоже им занимается... Я сказал что-то неприятное для вас?

— Нет,— смущенно пробормотал Шамбон.— Или, скорее, да... Дело в том, что Шарль не очень любил, когда его жена была в обществе Ришара.

— Следовательно, кроме вас и Жермена, Ришар не видит практически никого?

— Ну, не то чтобы никого... Но Ришар действительно живет очень уединенно, это надо признать.

— Проводите меня.

Они направились в конец коридора, повернули направо, пересекли просторную комнату с закрытыми ставнями. Шамбон не потрудился даже включить свет, лишь пояснил, что это столовая, которой больше не пользуются.

— Сюда... Мы в том крыле, где живет Ришар.

— Он сам решил поселиться здесь?.. Мне думается, для калеки это ссылка.

— Так он захотел. Предпочитает жить в своем углу... Сюда.

Шамбон осторожно постучал в дверь и тихо сказал:

— Это мы, Ришар.

Затем, повернувшись к комиссару, добавил:

— Он ждет вас. Я, конечно, рассказал ему о том, что произошло. Не обращайтесь внимания: у него всегда беспорядок... И всегда полумрак. Что вы хотите! Его надо принимать таким, каков он есть.

Он толкнул дверь и посторонился. Горела только ночная

лампа, освещавшая кровать, заваленную иллюстрированными журналами, изданиями по автомобилизму, парусному спорту, футболу, которые сползали на ковер. Молниеносный взгляд на худое лицо Ришара — вьющиеся, слишком светлые, слишком длинные волосы, светлые голубовато-зеленые глаза, выражение которых становилось жестким при боковом освещении, и особенно руки, те самые руки, которые... Все это производило болезненное впечатление.

— Вы удивлены? — спросил он. — Не похожи на руки акробата, правда? Слишком тонкие, хрупкие.

Он протянул правую руку, и Дрё с удивлением испытал на себе ее сдержанную силу.

— Черт! — вырвалось у него. — Ну и хватка!

Ришар рассмеялся и показал на костыли у кровати.

— Нет ничего лучше для поддержания формы. Если вы вдруг почувствуете, что начинаете скрипеть, подарите себе костыли. Результат гарантирован.

В напускной игривости, с которой это говорилось, проступал сарказм. Более того... Некая скрытая агрессивность по отношению к сыщику.

— Садитесь, — продолжал Ришар. — Снимите все это с кресла.

— Оставьте, — вмешался Шамбон. — Бедняга Ришар, ведь ему бесполезно говорить...

— Слышите? «Бедняга Ришар!» Вот и вы будете говорить: «Бедняга Ришар», — иронизировал калека.

Шамбон снял с кресла брошенную кое-как одежду, и Дрё сел.

— Что бы вы там ни думали, — начал он, — это просто визит вежливости. Теперь вы знаете о трагедии. Понимаю, что вы тут ни при чем. Но я обязан переговорить со всеми обитателями замка. Само собой, вы ничего не слышали...

— А-а! — протянул Ришар. — Визит вежливости, и вот меня уже допрашивают... Так вот, даю слово: я ничего не слышал. Но даже если бы и услышал, то не сдвинулся бы с места. Мне плевать, что бы ни случилось с папашей Фроманом.

— Вы его не любили?

— Он украл мои ноги. По-вашему, я должен был сказать ему спасибо?

— Вы ссорились?

— Они избегали друг друга, — поправил Шамбон.

— Это правда, — подтвердил Ришар. — Едва он замечал меня, как останавливался, будто человек, обнаруживший, что он что-то забыл; или же смотрел на часы, и слышно было, как он шептал: «Где моя голова?», затем разворачивался, слегка кивнул мне... Меня забавляла эта игра в прятки. Резиновые шины коляски, наконецники костылей не производят ни малейшего шума, и его легко было застать врасплох. Нельзя не признать, что когда я его подлавливал, он бывал безупречно корректен, спрашивал меня о самочувствии, напоминал, что в *Ля Колиньер* я у себя дома. А про себя небось твердил: «И зачем только я его не раздавил?» Представляете, комиссар, я ведь был пугалом в его жизни! И кроме всего прочего, стоил недешево. А уж он-то был жмот, каких свет не видал!

— Короче, вы были на ножах.

— Скажите откровенно, если бы я утверждал обратное, вы бы мне поверили?

— А ваша сестра... между двух огней?

— А, Иза... Мне не повезло, я остался жив. В противном случае ей было бы проще.

И так как комиссар ожидал дальнейших разъяснений, он заключил:

— После катастрофы нас не ждало ничего, кроме безработицы и нищеты. Как вы думаете, что остается безработной девице?.. Замужество, разумеется. Встретился Фроман. Он или кто другой, лишь бы муж! По крайней мере дом приличный.

— Вы останетесь здесь?

— Надеюсь. Это будет зависеть от завещания.

Мысленно Дрё взял это на заметку. Надобно узнать, кому перейдет состояние. Он встал, поднял журналы и сложил их около кровати.

— Это вас еще интересует?

— Почему бы нет? — зло ответил Ришар. — У меня коляска, не так ли? Пока я могу передвигаться, я привязан к ремеслу.

Дрё подался вперед — пожать руку калеке и, заметив телефон, ткнул в него пальцем.

— Вы, однако, не совсем одиноки.

— Видите... Отсюда я звоню, кому хочу, домашним или чужим.

— Часто вы им пользуетесь?

— Довольно часто. У меня друзья, они меня не забывают.

— Значит, если бы мне понадобилось спросить вас о чем-либо...

— Вы могли бы связаться со мной в ту же минуту. Не стесняйтесь, комиссар.

Комиссар ушел. Я знал, куда он направился. К старухе, этажом выше. Марсель мне доложил. Оставалось только следить за ними. Марсель, как всегда, в тревоге. Шпик шевелит мозгами, что-то его беспокоит. Самоубийство-то дурно пахнет. А он никак не надушает, почему. В сущности, мы с Изой ему не нравимся. Он чувствует в драме подозрительный привкус. Акробаты! Бродяги! Иными словами, дурно пахнущее самоубийство, неподходящее для светского пищеварения. Городу придется заткнуть нос. Этажом выше мамаша Ламбер де Шамбон, урожденная Фроман, небось держит уже флакон с нюхательной солью!

Вот они оба подходят к ее двери. Марсель стучится. Она открывает, в глубоком трауре, лицо застывшее, как похоронная маска. Полицейский вовсе не намерен выражать соболезнования. Ему надо выудить из нее кое-какие сведения насчет меня с Изой...

— Вас не удивила женитьба вашего брата?

— Если только это можно назвать женитьбой! Скорее легальное сожителство.

Она говорит громко, властно, высокомерно, постепенно входя в раж. Мне казалось, что я слышу ее сквозь стены.



— Мой брат был не более чем простофиля... а этот (она кивает в сторону сына) — несчастный глупец... Оба с ума посходили из-за этой шлюшки, которая притащила за собой безногого, не знаю, из какого балагана... Донгтрались!

Точно. Она зовет меня безногим. Марсель признался однажды. Даже просил у меня прощения. И все-таки комиссар морщится. Она прерывает его на полуслове.

— Меня не интересует, кто виноват в катастрофе. Важен результат. А в результате убит мой бедный брат.

— Позвольте,— говорит Дрё, еще не привыкший к манерам старухи.— Он не был убит. Он сам...

Энергичный жест старухи.

— Это вы, месье, толкуете, как вам удобнее. Вы находите умершего и револьвер. Значит, самоубийство. Как просто!

Я словно вижу эту сцену. Шамбон мне ее описал. Признаюсь, довольно забавно. Однако вернемся к Дрё — тот не любит, чтобы ему наступали на ноги.

— Вы знаете господина Феррана? — спрашивает комиссар.— В высшей степени достойный человек. Вчера вечером он дежурил по *Братской помощи*.

— Что еще за *Братская помощь*?

— Филантропическое общество, где приходят на помощь отчаявшимся.

— Будто нельзя им дать спокойно умереть. Начнем с того, что Шарль отнюдь к ним не принадлежал. Ничего себе фантазия!

— Да будет вам известно, что он позвонил в *Братскую помощь*, сообщил свою последнюю волю и выстрелил себе в сердце. Господин Ферран все слышал.

Старуха в ярости.

— Я сказала то, что сказала! — кричит она.— В него выстрелила эта шлюха.

— Она провела вечер в городе.

— В таком случае безногий.

Ее оставляют силы, и, плача, она становится всего-навсего убогой старушенцией, такой же убогой, как и я сам. Затем происходит перепалка между нею и сыном; я догадался об этом, но тщетно пытался выведать у Марсея, в чем дело. Потом вернулся Дрё. Нелегко угадать его тайные мысли. Он извинился — этаким добрым малым.

— Еще один вопросик, и я убегаю. Вы ведь сказали, что у вас есть приятели, не так ли?

— Да, конечно.

— Навещают ли они вас?

— Вначале пытались. Но их на порог не пустили. Распоряжение врача. Ведь у врача широкая спина. На самом же деле папаша Фроман не хотел видеть у себя... как бы вам сказать... слишком заметных субъектов. Если вам будет угодно, я расскажу о своем ремесле.

— С удовольствием,— согласился комиссар.

Он улыбается. Пожирает меня глазами. Между нами своего рода сообщничество. Мне становится жутко интересно, и я удерживаю его ручищу в своих пальцах.

— Рассчитываю на вас, комиссар. Теперь, когда нет больше моего чербера, мне будет так скучно!

В этот самый момент я и решил рассказать обо всем. Но прежде надо покончить с началом спектакля. Комиссар не забыл заглянуть в гараж, расспросить Жермена. Выяснилось, что папаша Фроман взял свою машину накануне, около десяти утра. Завтракал в городе и вернулся довольно поздно. Дрё слишком хитер, чтобы допытываться у Шамбона и Изы насчет распорядка дня Фромана. Он предпочел поручить это своему помощнику. Так вернее. В *Ля Колиньер* он не доверял никому, поэтому и позвонил инспектору.

— Алло, Гарнье?.. Я только что из замка. Видел молодого Монтано. Вообрази — не геркулес. Как раз наоборот. Довольно красивый мальчик, только в веснушках. Не люблю таких. К тому же агрессивный! Но это как раз можно понять. Само собой, из него ничего не выудишь. Отношения со стариком самые что ни на есть отвратительные. Королева-мать неписуема. Расскажу при встрече. В общем, сумасшедший дом. Завтра свяжись с налоговой администрацией, выведай о состоянии Фромана. Затем постарайся узнать, чем он вчера занимался. Он не завтракал и не обедал дома. Узнай, где он был. Я займусь бывшей горничной и нотариусом. Жду заключения криминалиста и судебно-медицинской экспертизы. Уверен: самоубийство они подтвердят. Но у меня куча самоубийств, которые, быть может, вовсе не самоубийства. Я не хочу, чтобы на этот раз меня услали к черту на рога в Финистер или Канталь<sup>1</sup>.

Представляю, как в понедельник утром в полиции комиссар читает газеты. Кабинет как кабинет — видел не раз. Дым столбом, пепельницы набиты окурками, за матовыми стеклами дверей спуют фигуры, где-то надрываются телефоны. Дрё просматривает статьи, красным карандашом помечает фразы, качает головой: необъяснимое исчезновение... Следствие продолжается... Президент Фроман — один из тех незаменимых людей...

Стучат. Входит инспектор Гарнье, вечно деятельный, суетливый, нос по ветру, крутится, как пес под ногами.

— Патрон, взгляните — результаты вскрытия.

— Будь другом, избавь меня от этой трупной литературы. Изложи сам покороче.

— Проще простого. Пуля пробила сердце. Смерть мгновенная. Выстрел был сделан с близкого расстояния. Жилет и рубашка прожжены.

— А как насчет болезней?

— Ничего. Крепкий тип. Износу не было. Вас это беспокоит, патрон?

— Пожалуй, да.

Тишина. Гарнье шарит по карманам, выуживает помятую

<sup>1</sup> Финистер — департамент на полуострове Бретань; Канталь — департамент на территории Центрального массива, в Оверни.

сигарету, закуривает. Комиссар подвигает поближе к нему листки бумаги, на которые сыплется пепел.

— Это из лаборатории. Ничего нового. Пуля револьверная. По всей вероятности, револьвер принадлежал Фроману со времен Сопротивления. Отпечатков пальцев много, но все — его собственные. Мы топчемся на месте.

Гарнье показывает газету, роняет несколько горящих крошек табака.

— Осторожно,— говорит Дрё.— Устроишь пожар. Езжай. Кстати, бесполезно допрашивать помощников Шамбона. Скорее, низший персонал... секретарш... Вазузнай, о чем говорит народ. Меня это интересует в первую очередь. Потом разберемся. И не забудь о налогах. Я пытаюсь связаться с нотариусом, но линия занята.

— А кто нотариус?

— Мэтр Бертайон. Это имя записано в блокноте Фромана. Сегодня утром в одиннадцать он собирался встретиться с ним.

— Странное совпадение. Мне кажется, это дело...

Звонок прерывает разговор. Дрё берет трубку и передает параллельную Гарнье.

— Нотариус у телефона,— отвечает голос.

— Спасибо, Поль... Алло! Мэтр Бертайон?... Это комиссар Дрё. Я по поводу кончины президента Фромана... Мне известно, что он собирался встретиться с вами сегодня утром. Не могли бы вы сказать, с какой целью?

— Это ужасно,— начинает нотариус.— Такой замечательный человек! Какая утрата для города!

Прикрывая рот рукой, Гарнье шепчет: «А ведь он серьезно!» Дрё делает большие глаза и продолжает:

— Вам известно, мэтр, о чем он хотел с вами говорить?... Это очень важно, и вы можете, не нарушая строгой профессиональной тайны, сообщить мне, имел ли визит президента Фромана отношение к его распоряжениям относительно завещания.

Нотариус колеблется.

— Я нарушаю правила,— замечает он.— Но совершенно конфиденциально, конечно, я могу сказать, что он намеревался изменить свое завещание.

— В каком духе?

— Этого я не знаю. Когда я спросил его, насколько дело срочное, он ответил: «Да, это по поводу моего завещания. Я хочу его иначе сформулировать». Вот и все. Он мне ничего не пояснил. Только записал нашу встречу на сегодня.

— Когда это было?

— В пятницу. Во второй половине дня.

— А на следующий день вечером он покончил с собой... Он был взволнован, разговаривая с вами?

— Нисколько. Но он был не из тех, кто дает волю своим чувствам.

— Как выглядит завещание?

— Все переходит его сестре и, следовательно, косвенным образом, его племяннику, господину де Шамбону. Но и своей молодой жене он оставил приличный капитал. Достаточный, чтобы



жить на широкую ногу. Я не помню всех условий завещания, но могу вас заверить, что он распорядился всем с большой щедростью.

— Еще один вопрос, мэтр. Ходят слухи, что он переживал тяжелый момент.

— Ай,— шутит Гарнье.— Болезненный вопрос.

Нотариус пытается уклониться от ответа, кашляет, прочищает горло.

— Да, конечно... Но дела обстоят прекрасно. Он уже уволил персонал, но, может быть, и это еще не все... Господин де Шамбон проинформировал бы вас лучше меня.

— Ну что ж, благодарю вас, мэтр. Тело передано семье. Похороны состоятся, когда она пожелает.

Безумно интересно манипулировать этими людьми, как пешками, быть их властелином, соблюдая при этом точность фактов,— ведь для того, чтобы изобразить сцену с нотариусом, я узнал от Изы, что Фроман намеревался изменить свое завещание. Угрожал ей. Кстати, я еще вернусь к этому. Нет ни единой подробности, чтобы она не соотносилась с другой. Мне же принадлежит «монтаж», подача материала. Я устраиваю представление захватывающей комедии, а ведь меня уже ничем не удивишь!

Итак, комиссар опять погрузился в размышления. Можно ли покончить с собой, когда намереваешься изменить завещание? Здесь концы с концами не сходятся. С другой стороны, когда собираются облагодетельствовать? Или, скорее, когда хотят обездолить? Предполагать можно все что угодно.

Дрё достает розовую папку с надписью: «Дело Фромана». Розовую. Мне хочется, чтобы она была розовой. Можно не сомневаться, что досье существует, и там есть все, что касается нас с Изабель. С того самого мгновения, как мы нахрапом водворились в доме президента, на нас заведено досье. (Я по-прежнему говорю «Президент»: ведь он коллекционировал — до смешного — титулы. Однажды я видел его визитную карточку. Там было несколько строчек одних инициалов, означавших различные общества, начиная с Общества взаимопомощи промышленности, кончая Ассоциацией по развитию Запада. Уже только поэтому Центральные справочные службы интересовались им, а значит, и нами, самозванцами.)

Дрё открывает досье.

«Монтано Ришар, родился 11 июля 1953 года во Флоренции, и т. д.». Повторять все, что там написано, неинтересно. Только то, что привлекает внимание комиссара. «Профессия: каскадер. Регулярно сотрудничал с Жоржем Кювелье».

«Постановка акробатических трюков Жоржа Кювелье». Это имя известно всем. Дрё соображает. Что ни говори, а тип, работающий с Кювелье, не первый встречный. Ничего общего с жалкими трюкачами, гоняющими по воскресеньям машины по вертикальной стенке на глазах у мужланов-разинь. Существует целая иерархия этих «сорвиголов», и, само собой, Ришара Монтано следует поместить на самом верху. Доказательство — его официальные доходы. Как вбить Дрё в голову, что

акробатические трюки — такое же ремесло, как и всякое прочее. Ремесло, связанное с огромным риском. Но не с большим риском, чем ремесло комиссара полиции. И столь же respectable-ное.

«Прайс Изабель. Родилась 8 декабря 1955 года в Манчестере, и т. д.»

Дрѐ весьма смущает, что Изабель родилась в цирке, в одном из тех маленьких английских цирков, которые прозябают, кочуя между манежем и шапито. От Манчестера — до замка *Ля Колиньер*. Нет. Это уж слишком! Слишком чего? Он не очень-то понимает. Инстинктивно не доверяет этой паре. А ведь он не конформист. Каких только типов ему не приходилось встречать! К тому же девица — блеск! И она ничего такого не сделала, чтобы заарканить Фромана. Наоборот, этот идиот сам...

Дрѐ читает дальше. Монтано и его спутница направлялись из Нанга в Лион на съемки. Во всем виноват Фроман. Катастрофа произошла в пятнадцать часов тридцать минут. Президент ушел с банкета, можно не сомневаться, выпивши. Чтобы пресечь злословие, он почти что насильно поселил пострадавших в замке. Каков жест! Работа на публику! Я, Фроман, способен признать свою вину. Более того, чтобы склонить общественное мнение в мою сторону, я женюсь на девушке. Остается выяснить, почему та дает согласие.

Комиссар разгадывает эту маленькую тайну, но слишком многое ему по-прежнему неизвестно. Что касается меня, я скоро расскажу о себе. Холодно. Объективно. Как врачи описывают клинический случай.

И прежде всего об этих самых ногах. Я ведь не говорю о «моих» ногах. Теперь они уже ничьи. Я вожу их на прицепе. Утром я дохожу до судорог, чтобы вытащить их из кровати, стараюсь их одолеть, обеими руками вытаскиваю из простыней. Я мог бы добиться от старика, чтобы тот прислал мне какого-нибудь помощника — санитаря. Но в этом есть что-то унижительное. Предпочел бы повеситься. Я научился самостоятельно маневрировать этими нелепыми, бледными, медленно атрофирующимися наростами, которые вечно болтаются, за все задевают, качаясь то влево, то вправо. Мне приходится постоянно присматривать за ними. К счастью, с головы до пояса я еще полон сил, энергии и, приподнявшись, умудряюсь сесть. Невероятно, какими тяжелыми могут быть две мертвые ноги. Костыли стоят у изголовья кровати. Я научился совать их под мышку и вскакивать одним рывком. Все дрожит, но стоишь. Затем начинается то, что с грехом пополам называется первыми шагами. Надобно качнуть вперед всю тяжесть, с которой врос в землю, перебросить на длину одного шага, на манер маятника, и вновь удержаться на костылях, а затем тут же скоординировать новый, равным образом подхваченный рывок. Так я продвигаюсь, подобно пироге, которая тащится по мелководью. При известной сноровке и натренированности это не так уж трудно, как кажется. Я мог бы пользоваться английскими тростями. Но предпочел навязать всем отгалкивающий спектакль моего увечья. Ведь трости создают некий образ выздоровления. Костыли



же — образ окончательной утраты. Они внушают жалость, смешанную с отвращением.

Я знал, что по-прежнему могу рассчитывать на себя, но, выйдя из клиники, решил внушить им жалость. Из чувства мести. Очень скоро Фроман раздобыл колясочку, и с пледом на коленях меня можно было демонстрировать посторонним.

Надо быть справедливым. Иза делает все, чтобы моя жизнь стала более или менее сносной. Шамбон тоже, но так неловко, что иногда выводит из себя. Оба относятся ко мне, как к больному. И только старуха с ее фанаберией раскусила меня...

Итак, я балаганное чудище во плоти — все как положено. Но Иза, ведь она родилась в цирке и терпеть не может карликов, уродов, убожков. Она не желает, чтобы я превратился в лилипута. Для нее я навсегда останусь тяжелораненым, о котором надо заботиться. А я этого не выношу. Знаю, запутался в противоречиях. Я и хочу, и не хочу пользоваться посторонней помощью. Мне нравится, когда взбивают мои подушки, спрашивают: «Тебе не холодно?» И в то же время мне хочется волком выть. Это мне-то, человеку, привыкшему проходить на съемках сквозь огонь, воду и медные трубы!.. Всерьез подумывал о самоубийстве. Потом раздумал! Может, когда-нибудь. А пока я должен доказать самому себе, что трюки каскадера продолжаются. Старика надо убить. По тысяче причин, к которым я еще вернусь; впрочем, тут и так все ясно, как день. Пора свести счеты. Особый соблазн в том, что есть замысел истинного профессионала, человека полноценного, владеющего всем арсеналом средств... Как бы это сказать?.. Короче, мне надо, чтобы преступление удалось так, чтоб комар носу не подточил. Вдруг я понял, что жизнь моя станет тогда иной. Ко мне вернулась радость. Действовать! Лихорадочно! Я — убийца? Боже упаси! Скорее творческая личность. Нет нужды теперь ненавидеть Фромана. Достаточно не спеша вычислить его смерть...

— Мадемуазель Марта Бонне, я не ошибся?.. Комиссар Дрѐ. Можно войти?.. Спасибо... Вы догадываетесь, почему я здесь... Нет? Да что вы... И вас не удивила смерть вашего бывшего патрона? Вы газеты читаете?..

Марте Бонне лет двадцать пять, не более. Существо робкое, запуганное. Смотрит по сторонам, словно ищет помощи.

— Успокойтесь,— продолжает комиссар.— Мне, собственно, нужно получить кое-какие сведения. Вы долго служили в замке?

— Три года.

— Значит, это при вас произошла автомобильная катастрофа?

— Да, конечно. Бедный мальчик... Больно смотреть.

Она постепенно приходит в себя, продолжает:

— Он не часто бывает на людях. Иногда его вывозит в парк господин Марсель.

— А госпожа Фроман?

— Крайне редко.

— Почему?

— Не знаю. Жермен утверждает, что месье не разрешал.



У него был чудной характер.

— Вы с ним не ладили?

— Как когда. Бывало, он мило беседовал. А иногда проходил мимо, не замечая.

— Может, был погружен в свои мысли?

— Может быть. Скорее, я думаю, ревновал.

Она говорит тише:

— Господин комиссар... я повторяю только то, что слышала.

— От кого?

— От кого угодно, в городе.

— Что же именно?

— Что мадам годилась в дочери месье и что этот брак скрывал что-то не очень чистоплотное... никто толком не знал, откуда она взялась, она и ее брат.

— Ее брат?.. Вы имеете в виду раненого?

— Да. Но в самом ли деле это ее брат?.. Почему его прятали?

— А как вы думаете, Марта?

— Это ведь странный мир, господин комиссар. Еще этот простак вьется около нее.

— Какой простак?

— Господин Марсель, бог ты мой! Я не имею права так говорить о нем, но меня просто бесило, когда он любезничал.

— Так бросалось в глаза?

— Женщина всегда чувствует подобные вещи... И вот вам доказательство: мать господина Марселя это тоже замечала. Они часто ссорились.

Комиссар что-то записывает в блокноте.

— Итак, резюмируем,— говорит он.— Если я вас правильно понимаю, никто друг с другом не ладил? Господин Фроман изолировал бедного Монтано и не доверял племяннику. Госпожа де Шамбон не любила госпожу Фроман и давала это понять своему сыну. Ну, а госпожа Фроман? Как она держалась в этой обстановке? На чьей она была стороне?

— На своей!

Дрё задумался. Эта девица вовсе не глупа. Он вспоминает слова Феррана: «Я живу в изоляции. Жизнь меня больше не интересует». Понимал ли Фроман, что его женитьба была роковой ошибкой? Преданный рабочими, друзьями, вероятно, женой, он, быть может, внезапно впал в депрессию? Дрё намерен серьезно допросить вдову. Теперь он знает, как себя защитить, если его упрекнут, что он вяло вел следствие.

Я, разумеется, не присутствовал на похоронах. Обо всем мне доложил Марсель. Скучная церемония. Народу — тьма. Много любопытных, которые притаились на кладбище, чтобы разглядеть Изу. Моросящий дождь омывал официальные лысины. Наспех заготовленные речи. Наконец-то господин президент оставил нас в покое. Другое дело — комиссар. Тот продолжает рыскать. Почему все-таки господину Фроману вздумалось изменить условия своего завещания? Это наводит на размышления. Поскольку он никоим образом не мог распорядиться частью состояния, законно причитающейся его сестре и племяннику,



Хорошо, я зам  
Господин  
на спаст  
на Марселе  
и в Норволле

Господин «Кабл  
было бочен  
ночкаше  
Скороше бо  
Медина»

Иза была единственным лицом, входившим в его расчеты. Может быть, он собирался лишить ее наследства? Но тогда зачем он застрелился? Дрё, бедняга, запутался. Чувствует, что ему недостает чего-то очень существенного, а так как он въедлив, то рассматривает любые гипотезы.

— Уважаемая госпожа, я хотел на прощание засвидетельствовать вам свое почтение и известить вас, что следствие практически закончено.

Комиссар не любит садиться. Он смотрит на госпожу Фроман, отмечает про себя, что траур ей к лицу, добавляет:

— Что вы теперь намерены делать?.. Замок, наверное, кажется вам достаточно мрачным.

— Я не могу оставить старую тетушку,— говорит она.— Если Шарль меня видит, я уверена, что он меня одобряет.

Дрё изумлен. Он помнит, как сестра покойного отзывалась об Изе, пытается возразить:

— Разве госпожа де Шамбон теперь не единственная владелица *Ля Колиньер*? Наивный вопрос. Она будет счастлива, если вы ее не покинете.

Иза изображает неподдельную грусть.

— Да, конечно. Но даже если бы она желала моего отъезда, что маловероятно, она вынуждена исполнить последнюю волю Шарля. Я имею право жить здесь столько, сколько захочу.

— А господин Монтано?

— И он тоже. Это четко написано в завещании.

— Но ваш супруг хотел внести изменения в текст завещания, вам это известно. Не скажете ли, почему?

Кажется, Изу мучают сомнения. Она долго колеблется.

— Следствие закончено,— повторяет комиссар.— Вы можете говорить все что угодно. Ничто уже не в силах изменить заключение о самоубийстве вашего супруга. Но важно знать, что в конечном счете толкнуло его на такой шаг.

— Хорошо,— шепчет она.— Я вам все расскажу. Госпожа де Шамбон всегда имела на брата большое влияние... Конечно, не такое, как на Марселя,— здесь дело доходит до патологии... Мой муж прислушивался к ней, но после катастрофы он дал нам приют, не посчитавшись с мнением сестры. Можете себе представить, что было, когда Шарль женился на мне.

Теперь Дрё берет стул и садится рядом с Изой. Ему безумно интересно.

— Это означало разрыв,— продолжает она.

— Полный?

— Абсолютно. Она уединилась в своих комнатах. Общалась с Шарлем только через Марселя. У Шарля гордости не меньше, чем у нее,— один другому не уступит. Вообразите, как мы жили... И муж страдал настолько, что сердился на меня... будто я была виновата. Но в конце концов жизнь продолжалась с грехом пополам... до тех пор, пока ей не взбрело в голову, что ее сын влюблен в меня.

— И это, разумеется, неправда,— замечает Дрё.

— О, совершенная чепуха! Марсель — обаятельный мальчик, но несерьезный.



— Пропу прощения, мадам. Я неточно выразился. Само собой разумеется, что вы не испытываете к нему ничего подобного. Но он?.. Другими словами, так ли уж ошибается его мать?

— У меня есть все основания так думать. Марсель всегда держался по-дружески по отношению к нам.

— К нам? То есть по отношению к вам и господину Монтано?

— Совершенно верно. Кстати, Ришар интересуется его гораздо больше, чем я. Марсель никогда не вылезал из своей скорлупы. Ришар в его глазах — нечто вроде супермена. Бедный Ришар, если бы он меня слышал!

— А дальше? Старая дама нарушила свое уединение, чтобы предостеречь брата?

— Да, примерно так. Ответила ли я на ваш вопрос?

— Возможно. Насколько я понимаю, ваш супруг, рассердившись на вас, мог лишить вас наследства и запретить проживать здесь после его смерти?

Иза разводит руками в знак сомнения, затем продолжает:

— Или же мог заставить Ришара уехать, что поставило бы меня в безвыходное положение... В моральном смысле я считаю себя ответственной за брата. В его состоянии — одинокий, беспомощный — куда бы он подался?

Дрё задумывается, затем наконец решает:

— Извините за настойчивость, но вернемся назад, к тому моменту, когда случилась автомобильная катастрофа. Не собирался ли ваш муж поместить Ришара в специальную клинику, например, в Швейцарии?

— Да, он думал об этом. Сестра пыталась подтолкнуть его на такой шаг.

— Почему он отказался?

— Чтобы не потерять меня.

— Значит, уже тогда... извините меня... он был до такой степени влюблен?

Иза печально улыбается.

— Вам это кажется странным, не правда ли?.. Это потому, что вы не были знакомы с Шарлем.

— Но ведь никто не заставлял вас отвечать согласием.

— Верно. Кстати, сначала я сказала — нет. А потом... — Она останавливается, щеки ее чуть розовеют.

— А потом? — подхватывает Дрё.

— Потом я велела ему спросить Ришара, согласен ли он.

— О, понимаю!

Иза внимательно смотрит на него и тихо продолжает внезапно изменившимся голосом:

— Раз уж вы так хотите все знать, это брат толкнул меня в объятия господина Фромана. — Она встает. — Вы удовлетворены, господин комиссар?

Дрё плохо скрывает замешательство. Кажется, он совершил бестактность.

— Благодарю вас за откровенность, — говорит он. — Но мне нужно найти формулировку, чтобы закрыть дело, — начальство торопит. Трудно представить себе, что ваш муж покончил с собой из-за огорчений интимного свойства... Вообразите себе ком-

ментарии... Или по причине финансовых затруднений... это вызвало бы панику среди его персонала. Тяжелая депрессия также маловероятна. Кто этому поверит? Правдоподобна одна лишь формулировка: «В результате продолжительной болезни». Всякий знает, что это такое. Словом, если вы согласитесь, мы будем придерживаться этой версии, но вы, со своей стороны, должны подтвердить ее в своем кругу.

— Я сделаю это,— обещает Иза.— Остается только убедить его сестру.

Понятия не имею, о чем сплетничают старухи. Кажется, Марсель не в себе. Иза поцеловала меня в лоб, и только.

— Брось... Теперь нас оставят в покое.

Жизнь потекла своим чередом — с одной только разницей. Теперь я могу сколько угодно разгуливать по лачуге. До сих пор присутствие старика бесконечно угнетало меня. Мне нравилось его пугать, это верно. Но я смутно опасался, что зайду слишком далеко, спровоцирую взрыв ярости. И Иза не была спокойна. Умоляла меня сохранять выдержку, не дразнить его. Так вот, теперь мне его недоставало. Тянулись хмурые дни. Я возвращался в пустоте. Не хватало не наркотиков, а ненависти, что, возможно, еще хуже. Мне было мало сознавать тот факт, что старик в могиле. Он убил меня — я его. Мало было сказать себе это. Я понял, что мне следовало писать и перечитывать написанное. Понемножку, каждое утро, как лакомство. Такую смерть стоит дегустировать. Но прежде надо переворошить еще кое-что!.

Отца своего я ненавидел. Во-первых, он был мал ростом. А коротышке не пристало играть на контрабасе. Выставлять себя на всеобщее обозрение, прижавшись к этой штуке, как к женщине. Настоящий отец не станет носить двубортный пиджак малинового цвета. Другие музыканты тоже были выряжены, как рассыльные в гостинице. Но те хоть сидели. Никто не обращал на них внимания. Он же стоял. Бросались в глаза мешки под глазами, крашенные волосы. Он подавлял зевки, откровенно скучая, и часто посматривал на часы, делая вид, что следит за своей левой рукой. Танцующие пары покачивались на месте, подобно водорослям. Я дремал, одурев от шума. И не выходил из состояния оцепенения, пока не появлялась мать в узком прямом платье с блестками, чересчур накрашенная и почти что голая под своей чешуйчатой шкурой. Иногда, откидывая голову назад, она так широко открывала рот, бери некоторые высокие ноты, что виден был дрожащий язык. Противно. Ей я тоже никогда не простил. Пытаюсь вспомнить, каким был я сам. Вновь вижу дансинги, кинотеатрик с потертыми креслами. Меня часто оставляли в раздевалке. Я лизал эскимо. Потом — узкие улочки, гостиница, где в полумраке нас ждал ночной дежурный. Все это туманно, смутно, как обрывки киноленты, склеенной как попало. Мне было лет пять-шесть. Вот уж странное семейство! В один прекрасный день мой отец уехал с какой-то скрипачкой. Чтобы не умереть с голоду, мать стала давать уроки фортепиано. К счастью, помогли дедушка с бабушкой. Мы жили неподалеку от Бютт-Шомон в милой квартирке, откуда видно было, как в парке распускались зеле-



ные кущи и громоздились скалы. Дедушка (отец матери) был флейтистом в оркестре Республиканской гвардии. По случаю больших праздников он одевался в яркий, как у оловянного солдатика, мундир. Он был великолепен и смешон, когда держал свою дудку наискосок, кивал в такт головой, закатывал к небесам будто умирающие глаза или же наклонялся к земле с сосредоточенным видом заклинателя змей. Его-то я любил. Зачем только ему взбрело в голову обучать меня игре на виолончели? Этот прекрасный человек, замечательный флейтист умел — как любитель — играть и на многих других инструментах. Подобно тому, как швейцары гранд-отелей говорят о погоде на шести или восьми языках, мой дед был дилетантом во всем — от виолончели до арфы, тромбона или английского рожка. Если так можно выразиться, он был полиглотом. Поэтому его удивляло мое сопротивление. Не знаю как, но наконец он понял, что к виолончели я испытываю своего рода суеверную ненависть.

В довершение всего существовала щекотливая проблема с ключом fa. Почему до следовало читать как mi, fa как la, и т. д.? Эта хитрая и двусмысленная запись только подогревала мою озлобленность. Единственная музыка, которую я любил, музыка мотороллеров. Согласен, это необъяснимо. И все же...

Я увлекся ими лет с десяти. Был у меня друг, точнее, приятель, Мишель. А у него — маленькая итальянская машина. Она-то и стала моей первой страстью. В таком возрасте любую технику любят самозабвенно, безумно, одухотворенно. Не могут оторваться от нее. Наслаждения ради мы с Мишелем ее разбирали, начищали до блеска, вылизывали. Потом я долго обнюхивал пальцы, вдыхая запах масла, будто аромат тонких духов. Иногда мне верилось, что мопед — мой собственный...

Дедушка, смертельно огорченный бездарностью своего ученика, был близок к тому, чтобы записать меня в кретины и шпану одновременно, так как, по его мнению, любой парень, гарцевавший на моторе, был непременно шпаной.

— Иди к своей шпане — кончишь так же, как они.

Я удирал, сияя от радости, спешил присоединиться к компании юных мотоциклистов, которые чесали языками то у входа в парк, то неподалеку от телестудии. Кстати, компании не было, скорее стая, косяк, как у рыб, и если один трогался с места, другие тотчас срывались вслед, тесно прижимаясь друг к другу. Говорить особенно было не о чем. Они, так сказать, обменивались звуками, шумом подобно дельфинам и, нажимая на акселератор, с наслаждением вдыхали голубоватый выхлопной газ. Подвиги свои я начал на мопеде Мишеля.

При первой же возможности мы вырывались в Венсенский лес. Бог ты мой!.. Во мне клокотал огонь, пламя, взрывная сила. Я мог мчаться, как бешеный жеребец, волчком крутиться на месте — мускулы, как струны, нервы вибрируют, как у спринтера перед финишем. Первые специальные тренировки и упражнения. Я бы сказал: первые гаммы, если бы только от этого слова у меня не першило в горле. Что я теперь хотел, что мне требовалось любой ценой, так это модель 125 «супер». В понедельник утром, когда я увидел такую штуку, покрытую грязью



после какого-то воскресного подвига, я онемел от восторга. Красоты она была неопишуемой! В наростах грязи она казалась еще более мощной. Я не смел протянуть руку, но мне так хотелось дотронуться до нее, как в магическом ритуале, влить в себя уснувшую силу этого молчащего сердца!

Я стал остервенело работать ради мотоцикла, о котором мечтал. Мыл машины. Даже пел на улицах, так как у меня был красивый голос юнца. Дома ни о чем не подозревали. Наконец мне удалось купить по случаю «хонду». Когда я ее распаковал, вымыл керосином, как борца перед боем, и перекрасил в прачечной Мишеля, «хонда», несмотря на возраст, оказалась отличной забиякой. Вот теперь уж началась школа высшего пилотажа.

Мне было пятнадцать лет. Дедушка с бабушкой утратили всякое на меня влияние. Мать и вовсе не шла в расчет. По воскресеньям в лесу Фонтенбло я научился медленно спускаться с самых крутых склонов, пересекать в туче брызг овраги, карабкаться на крутые откосы, перед которыми остановилась бы и коза. О чудо! Мотоцикл мог пройти всюду. У него был сухой непрерываемый голос чемпиона, когда, взяв разгон, он перелетал через овраги. Непередаваемое ощущение полета над бездной! Священный ветер скорости! Тревожное ожидание мига, когда заднее колесо, акробатически накренившись, в ту же секунду на полной скорости рвется навстречу виражу, который надо пройти на боковом скольжении, вытянув ногу и едва касаясь земли, сквозь гейзер пыли и щебенки. О, комок стоит в горле! Первые мои победы. Первые слезы счастья на почерневшем лице, где на месте очков белели круги... Лучше не продолжать. У меня украли жизнь.

Сев в коляску, я объезжаю комнату между кроватью, столом и стульями. Ищу трубку. Чудовищно: безногий курит трубку. Слава богу, в комнате убрали зеркала. Я велел убрать. А заодно и мои фотографии. Вначале Иза думала, что мне будет приятно, если на стенах развесить кое-какие картинки, которые когда-то были мне дороги. Снимки моментальные, в тысячную долю секунды. Будто лечу в пространстве... Я стрелял из машины, летевшей в кульбите... Пикировал на плечи бандита, стрелявшего в жандармов... Выскакивал из еще не приземлившегося вертолета... Воспоминания о более или менее известных фильмах, в которых я прославился, а также память о разнообразнейших вывихах, переломах и шрамах на всем том, что осталось от моего тела,— все это в помойку. Я сохранил лишь большой фотопортрет Изы. Затянутая в черную кожу,— стоит на трубе, сидит в духе Фантомаса,— забавно держит подвешенную на руку каску, словно корзинку для провизии.

Подробности нашего знакомства не имеют значения. Отец мой, как я узнал тогда, погиб в результате катастрофы туристского автобуса (все-таки удивительная наследственность!), мать же Изы умерла от рака грудной железы. Изу приютила одна эквилибристка. Она начала тренироваться на малюсеньких, игрушечных, сверкающих серебром велосипедиках, на которых можно танцевать благодаря фиксированной шестерне, вальсировать на цирковой арене, выполнять прямо-таки механический

стриптиз. Остается колесо, на котором, грациозно раскинув руки, вы кружитесь, делаете резкие повороты одним лишь легким нажатием на педали, пока какой-нибудь клоун с ослепительным красным носом не унесет вас на руках.

Я взял ее с собой. Стал приучать к мотоциклу, и через несколько недель она превратилась в фанатку. Это ведь передается, как гонконгский грипп. Сначала короткий инкубационный период, затем вдруг вы срываетесь с мотоциклом, подобно тому, как ребенок воображает, что он сам и есть кораблик или машинка. Вы не сводите с него глаз, вам к лицу его блеск, вы будто пропитаны запахом его кожи и стали. В то же время вы — его движущая сила и седок. Можно ли выразить словами восторг, исполненный торжества и любви, который охватывает ваше существо, когда вы слышите бархатный, укропленный, полный неги треск мощного мотоцикла на малых оборотах? Вы чувствуете, как в ногах у вас звучит, нарастая, песнь, металлический, но живой голос. Словно вы производите на свет неведомое мифическое чудовище. Потом... Мчишься вперед, навстречу горизонту, ощущаешь, как летит земля, — того гляди разобьешь вдребезги колени или ключицы. Ты стиснул зубы, ты — кентавр, минотавр, единорог, чудовище, которому уготованы бойня или апофеоз. Довольно! Что толку взвизгивать себя!

На Изу снизошло откровение. Ступив на землю, пошатываясь и сияя, она была похожа на неверующего, которому только что было явление господне. Существует чувственность страха, более острая, чем любовная. Теперь я понимаю: суть ремесла каскадера в этом. Знаю, мы беспокоим. Считается, что никому не дано права бросать вызов смерти. Мы же с Изой — как тогда говорили «Монтано» — были безмерно счастливы, видя изумление публики. Несясь друг за другом на скорости 150 км/час, мы срывались с трамплина и перелетали через стоявшие рядом автобусы. Прыжки исполинов, немыслимые, безумные. «Сумасшедшие!» — изумлялись зрители. Но мы-то ведь тоже трепетали от страха, честное слово! Опуская забрало шлемов, мы обменивались горящими взглядами. Так от красного к белому, от белого к голубому регулируется автогенное пламя, пока не превратится в режущую иглу. Глядя в глаза друг другу, мы выжидали, пока не вспыхнет огненный язык. И тогда мгновенно загоралась уверенность: «Люблю тебя, выиграю!» В порыве безумной радости оставалось лишь положиться на расчет.

Но вот настал страшный день — с Изой случилось несчастье: разбившись об асфальт, она, казалось, переломала себе все, подскакивая, переворачиваясь в кульбитах посреди горящих обломков, пока не замерла в невыразимой неподвижности труп. Ее унесли на носилках. Я держал ее безжизненную руку. По белокурым волосам стекали струйки крови. Кома. Клиника. Хирург в белом, в маске, в бахилах. Мы были с ним по разные стороны жизни. Не враги, скорее сообщники. По выражению его лица я понимал, что надежда оставалась. В самом деле, недели через две Иза пришла в сознание. Переломов не было. Частичная потеря памяти вследствие шока.

Я опускаю подробности. Они застряли во мне, как крупная



добрь. Иза осталась жива. Но пара Монтано умерла. При виде мотоцикла Иза бледнела. Я вынужден был отказаться от эффектных представлений и искать другую работу. На первых порах решил испробовать гонки с препятствиями на старинных автомобилях, но скоро мне до смерти надоела эта жалкая коррида, этот залатанный железный лом, который разваливался на поворотах, теряя в фонтанах грязи колеса, крылья. Я выползал из этих свалок в полном отчаянии, ибо не переставал испытывать к технике чувство любовной нежности и сострадания, подобно тому, как другие испытывают его к беспризорным животным. Я охотно расстался бы с гонорами, лишь бы купить старье, в котором сохранилось бы подобие достоинства.

Мы прозябали на грани нищеты. От родственников ждать было нечего. Дед мой превратился в бедного старого динозавра, пригодного для музея естествознания. Мать перебивалась с хлеба на квас. Мне повезло, что я встретил месье Луи. В том мире, где он вращался, патронов звали по имени, к которому уважительно добавлялось «месье», что прекрасно сочеталось с дородностью и неизменной сигарой. Месье Луи поставлял каскадеров продюсерам фильмов. В другие времена он, наверное, вербовал бы гладиаторов. В кратчайший срок я выбился в люди. На истинно акробатические роли было не так уж много желающих: расстрелянный на полной скорости жандарм, преследуемый мотоциклист, проскальзывающий, как в слаломе, между машинами, а затем врезающийся в автобус; лихой ездки, прошибающий витрину под дождем осколков... Все это кончалось лейкопластырями, перевязками, гипсом. Но одновременно сопровождалось все более и более солидными банковскими чеками. Ведь из-за Изы, которую не покидал страх, мне требовалось зарабатывать все больше и больше. Это не было страхом перед внезапной гибелью, но гораздо более затаенным ужасом перед маячившей нищетой, известной лишь безработным артистам.

Она и поощряла меня к риску, и в то же время ее была дрожь, когда я затягивался ремнем, готовясь к очередному особо опасному трюку. Тысячу раз умирала она от страха, пока я не возвращался. А потом бежала покупать какое-нибудь дорогое украшение, чтобы заглушить тревогу. Тогда ее захлестывало какое-то непристойное счастье, в порыве которого она бросалась в мои объятия. Месяц вели мы внешне беззаботное существование. Затем уровень наших ресурсов начинал падать. Если, к примеру, мне предлагали трюк на мотоцикле по крышам домов целого квартала — однажды я это проделал, — она умоляла меня: «Откажись!» И напрасно я ей доказывал, что мотокросс по воздуху в тридцати метрах от земли не более опасен, чем в лесной чащобе. Она мотала головой, упорно не соглашалась. Но вскоре ее сопротивление ослабевало. Она отправлялась осматривать места съемки. «Нужно перепрыгнуть через улицу», — признавался я. Она на глазок измеряла расстояние, замечала, что «это переулок», и, значит, готова была уступить. Однако, когда я приносил подписанный контракт, она с ужасом отворачивалась. «Зачем ты согласился? Я тебя не просила». И мы дулись друг на друга.



Когда наваливалось одиночество, она плакала. К началу съемок запиралась в номере отеля. Не скоро к ней возвращались силы и красота. Мне нетрудно было догадаться о том, что она желала в глубине души. Всем сердцем — надежности, покоя, того, что могло бы сулить, наконец, обеспеченное будущее. Что касается меня, то я не мог превратиться в канцелярскую крысу, зарплаты которой едва хватает на то, чтобы метаться между женошкой и палисадником. Признаюсь, я принимал допинг. Жаждал скорости, аплодисментов, восторгов. Мне нравилось, когда актеры, операторы спрашивали наперебой: «Не очень ушибся, Ришар? Ты молодчина! Давай, давай, еще один дубль!» И я опять летел по воздуху.

...За рулем мощного «бьюика» явился Фроман. Я ничего не помню о самой катастрофе. Проснулся на узкой кровати; не мог пошевелинуться не только из-за трубок, связывавших меня, как водолаза, которого поднимают из морских бездн, но прежде всего из-за... не знаю, как это объяснить... из-за отсутствия плотности; казалось, на мне кожа другого человека. Иза держала мою руку. В комнате находился человек в белом халате, печально смотрящий на меня, словно раздумывая, не лучше ли прикончить меня одним ударом. Я понял, что пострадал очень серьезно. Человек произнес несколько ученых фраз, означавших истину и одновременно скрывавших ее. «Надо ждать», — сказал он в заключение. — Иногда время делает чудеса».

Когда раненому говорят о чуде, он понимает, что обречен пожизненно. Но на что в точности я был обречен? На то, чтобы ходить с палкой? Наконец я сформулировал ее, эту истину, сам сформулировал, дрожа и обливаясь холодным потом, когда понял, что не могу пошевелинуть пальцами ног... ступнями... голеньями, коленями. Я по пояс погрузился в своего рода небытие. От такого открытия леденеет сердце, и все-таки нужно много времени, чтобы истина дошла до сознания. С ремеслом... покончено. Неужели я стану обрубком, которого будут вывозить в инвалидной коляске? Никогда не допущу подобного унижения для Изы. Но на что мы будем жить? Иза не отходила от меня.

— Тебе больно?

— Нет, нисколько. Я бы отдал что угодно, лишь бы чувствовать боль.

— Хирург сказал, что, может быть, все наладится.

— Он лжет.

— Господин Фроман не оставит нас.

— Кто такой господин Фроман?

— А это тот самый, что налетел на нас.

В то время, как меня душила ненависть, она говорила о нем не поперхнувшись.

— Где он прячется?.. Почему я еще не видел его?

— Он справляется о тебе ежедневно. Придет, как только сможет.

— Откуда ты знаешь?

— Он пригласил меня к себе.

— Ты хочешь сказать, что он поселил тебя в своем доме?

— О, ему это ничего не стоит. Он живет в огромном замке. Думаю, тебе там понравится.

Я был еще слишком слаб, чтобы протестовать. Но достаточно прозорлив, чтобы понимать, что для Изы я стал мертвым грузом, от которого, толком еще не сознавая этого, она рада была избавиться.

Нет! Беру свои слова обратно. Не совсем так. Даже вовсе не так. Просто она была рада передохнуть, остановиться, не мчаться дальше по дорогам, иметь наконец свое пристанище. Возможно, взятое в долг, но комфортабельное пристанище. Катастрофа мгновенно оборачивалась для нее волшебной сказкой.

Большой замок! Шутка ли сказать! У меня поднялась температура, и визиты запретили. Созерцая потолок, я так и эту анализировал ситуацию. С одной стороны, Иза, юная, прекрасная, уставшая от той жизни, которую мы вели. С другой — «ип», которого я воображал богатым и обаятельным. Если я действительно любил Изу, а я отныне был ничем, мне следовало согласиться, смириться, уступить дорогу. Легко сказать! По крайней мере я мог сделать вид, будто... И здесь, на больничной койке, я научился притворяться, научился игре, которая состоит в том, чтобы улыбаться, когда тебе хочется укутить, расточать ласку, когда рад бы задушить.

Фроман пришел. Могучий, некрасивый, толстощекий, с жестким взглядом и повелительными жестами. Я был всего-навсего бедным маленьким Давидом, попраным этим Голиафом из мультфильма. Но уже с первого взгляда я определил, что он обречен. Употреблю на это столько времени, сколько понадобится. Хоть целую жизнь. Но разделаюсь с ним. Уж отблагодарю его за его щедрость. Катастрофа? Что теперь об этом говорить. Рок! Это я превысил скорость. «Что ж, мы с признательностью прием ваше гостеприимство. Вы мне уже приготовили комнату? Весьма любезно с вашей стороны». Иза не могла нарадоваться, слушая нас. Она так боялась этой первой встречи!

— Правда, он мил? — спросила она, когда Фроман уехал.

— Он боится меня.

— Ну что ты. Поставь себя на его место. У него положение не из приятных.

— Чувствует, что я зол на него.

— Еще бы. Он такой любезный, так полон внимания. Не можешь себе представить.

Через несколько дней она как ни в чем не бывало сказала мне:

— Шарль хочет подарить тебе коляску.

Она уже называла его Шарлем. И он милостиво делал мне этот королевский подарок. Я решил промолчать. К тому же ей надо было так много рассказать... Замок... Марсель де Шамбон... Существование в новом мире, где столько цветов и приятных сюрпризов. Слово «радость» не было произнесено, но она сама излучала радость.

— Ну так что, этот самый Марсель, он придет? — спросил я.

— Он совсем оробел.

— С чего бы это? Он ведь не виноват в катастрофе.

— Дело не в этом... Твое ремесло... Для него это нечто



экстраординарное. У него своя жизнь, свои привычки, свой кабинет, телевизор... И вот ты сваливаешься на него, будто с неба, из каких-то запредельных далей... Представляю, ему даже страшновато. Кстати, его мать — сестра Шарля — настраивает его против нас.

Я постепенно узнавал их. Будто разыгрывая передо мной отрывки мизансцены, они готовили мой выход на семейные подмостки. До своего появления Шамбон прислал коробку шоколадных конфет. Он не знал, как держаться, и поначалу избрал тон холодной вежливости. Как последний глупец спросил меня о здоровье, попытался понравиться, выразил удовлетворение тем, что я не испытываю боли, будто это означало, что мои ноги оживут. Подошел к доставленной накануне инвалидной коляске, сверкающей как игрушка, трихнул головой с видом знатока. Я же постарался усилить его замешательство.

— Коляска сделает меня другим. Вы это хотели сказать, не так ли?

Он сильно покраснел.

— Я глубоко сострадаю,— пробормотал он.— Если вы позволите, я помогу вам. Вывезу в парк.

— Оставьте,— сказал я.— Это — дело садовника.

Смутившись, он теребил перчатки, судорожно пытался придумать что-нибудь любезное, лишь бы добиться моего расположения.

— Возьмите стул и не волнуйтесь,— сказал я.

Он неловко сел, я же продолжал:

— В моем ремесле риск — дело каждодневное. Ноги я мог бы потерять уже не один раз.

— Да что вы говорите? — спросил он с какой-то боязливой надеждой, словно я только что отпустил ему немислимые грехи.

— Делая в прошлый раз сальто мортале, я едва не разбился насмерть. Пролетел восемьдесят метров над автострадой.

Я лгал, плел всякую всячину, лишь бы посмотреть, как он бледнеет. Едва заметная жилка билась в углу рта. Он был одним из тех молодых людей, выросших в одиночестве, которых мучают кошмары собственного воображения. Коль скоро они во власти таких мук, им требуется мучитель. В мгновение ока я понял, что околдовал его.

— Вы никогда не занимались спортом? — спросил я.— Я имею в виду теннис или что-то вроде того. Я говорю о боевых видах спорта, например, о дзюдо или боксе.

— Нет,— пролепетал он.— Нет... Мама не...

— Вы единственный сын? И не женаты?

— То есть...

— Ну, это ваше право. Впрочем, как и право на защищенную жизнь. Не у всех одинаковые шансы. Несколько минут назад, когда вы так мило предложили мне прогулку по парку, я вас грубо оборвал... Но если бы... Словом, я был не прав. Вас я принимаю, вас, но не вашего дядю.

Он был взволнован, бедняга. С признательностью пожал мою руку.

— Я был в ужасе,— начал он.— Но мадам... мадемуазель...



— Иза. Зовите ее просто Иза. Я разрешаю.

Он ерзал, смущаясь все больше и больше.

— А она не будет против, если...

— Если вы уделите мне внимание? Разумеется, нет. Более того, она будет в восторге. У нее так много дел... Приходите, когда вам захочется.

В тот вечер я словно стал различать дорожку, по которой мне следовало идти, и впервые не принял снотворного.

— Как самочувствие с утра? — спросил Дрё.

— Право, кроме вас, здесь никто не показывался, — заметил Ришар.

— Я бы охотно не ездил, — продолжал комиссар. — Но «королева-мать» не дает нам покоя, а так как у нее солидные покровители, полагается угождать. Она вбила себе в голову, что ее брата убили... Что прикажете делать?.. Глупо, но я продолжаю следствие. То есть делаю вид.

— И мы по-прежнему относимся к тем, на кого в первую очередь падает ее подозрение?

— Нет. Или, точнее, теперь она подозревает всех на свете и хочет нанять ночных сторожей с полицейскими собаками. Я ее выслушиваю, успокаиваю, так как она уверена, что ее собственная жизнь в опасности. Затем, как видите, забегая сюда перевести дух.

Дрё закурил сигарету, сплюнул табачную крошку.

— Заметьте, — продолжал он, — то, что она рассказывает, не так уж глупо. Да я и сам в какой-то момент подумал, не приходил ли кто посторонний... В таком случае, число гипотез разрастается неимоверно. Но факты — упрямая вещь.

Он хитро улыбался. Ришар тоже улыбался.

— Если бы я только знал, зачем ему понадобилось переделывать завещание! — размышлял комиссар вслух.

— О да! — подхватывал Ришар, включаясь в игру.

— Ну, конечно, вам это неизвестно.

— Я уже вам ответил.

— А, в самом деле. Я переливаю из пустого в поужнее. Кстати, как-то вечером я пересмотрел один из ваших фильмов. О нападении на центральный банк, помните?

— Ну как же! «Тайна камеры сейфов». Не бог весть какой шедевр. Но сама по себе идея довольно хитроумная.

— Кто в таких случаях ставит трюки?

— Как когда. Здесь сценарист задумал, что мне следовало использовать тросы грузового лифта. Но сам я предусмотрел каждое движение, каждую мелочь.

— В общем, всю операцию в деталях.

— Совершенно верно. Если хоть одну мелочь упустишь, пусть самую ничтожную, будьте уверены: сломаешь себе шею. Поэтому я привык все отрабатывать на макете. Даже для того, чтобы совершить обыкновенный прыжок, я рассчитываю траекторию... учитывается все: вес, скорость, угол, даже ветер.

— Черт возьми! К счастью для нас, с точки зрения закона вы безупречны. Иначе...

Комиссар вставал, прогуливался по комнате.

— Каковы ваши отношения с Шамбоном? Корректные?

— Почему вы хотите, чтобы они были плохими?

— Кто вас знает! Теперь, когда его дядя умер, присутствие молодой вдовы под одной крышей...

— Вы ведь не из тех, кто собирает сплетни, комиссар.

— Между нами,— настаивает Дрё,— госпожа Фроман в самом деле убита горем?

— Признайтесь, на что вы намекаете.

— Какой вы прыткий! Прежде чем намекать, надобно думать о чем-то определенном. До свидания, господин Монтано.

— Я провожу вас.

Ришар делает на костылях несколько шагов вслед за комиссаром, смотрит, как тот удаляется.

— Ищи, ищи, ищейка,— шепчет он.— Тебе еще долго придется покрутиться.

Фроман был в отъезде, когда санитарная машина привезла меня из клиники в замок. Моим размещением занялся Шамбон. Он предложил нам посмотреть несколько комнат на выбор. Возможно, Изе хотелось, чтобы я был поближе к ней, но я выбрал эту комнату на отшибе. Я хотел показать всем, что мое присутствие в *Ля Колиньер* будет насколько возможно незаметным. Шамбон сказал, что в моем распоряжении телефон и я могу звонить прямо в город. Я был столь же независим, как клиент роскошного отеля. Вплоть до коляски! А я уже научился ловко управлять ею, на руках пересаживаться с кровати на сиденье и наоборот. Мне еще требовалась помощь, чтобы надеть брюки, но я делал такие успехи, наловчился так быстро цепляться, виснуть, протаскивать и проталкивать самого себя, что приобрел прямо-таки проворность обезьяны в клетке.

— Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь! — сказал Шамбон.— Дядя повторяет, что вы у себя дома.

Глушости, само собой. Я находился в покоях своего палача. Поляна, расстилавшаяся перед моими окнами на фоне Луары и открывавшая обширное пастельных тонов пространство, была его поляной; все принадлежало ему — и бабочки, и птицы, и облака, и небо, поднимавшееся над холмами. Моему взору открывалась картина, воплощавшая радость жизни и движения. У меня было привилегированное кресло на авансцене, дабы созерцать, как течет жизнь. Благодарю вас, месье Фроман.

Когда Иза убрала мою комнату по своему вкусу, я удержал ее.

— Постой минутку, Иза.

С чего начать? Я тщательно подготовил маленький доклад, и вдруг грудь мою пронзила дикая боль.

— Ты подумала о нашем положении?

— Да.

— Тебе известно, почему он меня здесь оставил?

— Да. Из-за меня.

— Как ты думаешь, сколько времени он будет влюблен в тебя? Ведь речь идет именно об этом.

— Да.

Нас сближало слишком многое — риск. Не было нужды много говорить.

— Я не уступлю,— сказала она.

— Само собой.

Она замолчала, покусывая кончик пальца.

— Ты хочешь, чтобы я вышла за него? — выговорила она наконец.

— Да. Я хочу, чтобы ты вышла за него.

Она склонила голову и тихо продолжила:

— Ты понимаешь, что делаешь?

— Разумеется. Хочу обеспечить тебя.

— И когда это произойдет?

Она смотрела на меня пристально и тревожно.

— Замужество — это ведь только начало,— прошептала она.— Я права?

Я поцеловал её руку.

— Доверься мне. Прежде всего обеспеченность. Мы не должны оставаться здесь на положении жильцов. А потом... потом я тебе объясню.

— Объясни сейчас же.

— Замужество — дело хрупкое.

— Развод?

— Почему бы нет? Не зря придумано.

— И ты полагаешь, что такой человек, как он, допустит, чтобы им манипулировали? Ты что-то от меня скрываешь.

— Нет, Изюшка. Уверю тебя. Я не более тебя знаю, чем все это кончится. Но мы его перехитрим. Положись на меня.

Оставалось только предоставить событиям идти своим чередом. Иза занималась Фроманом. Я надумал приручить Шамбона. Нетрудно было заметить, что Иза нравилась ему. Если бы только мне удалось натравить племянника на дядю!. С одной стороны — старуха, с другой — Фроман, а посредине Шамбон, бедняга, этаким трусливым девственник, занимавший в цементной промышленности второстепенный, как я потом узнал, пост. Этот тип был мало на что способен и привык покоряться. Но ведь бараны, если их довести до бешенства, становятся опасными. Оставалось довести его до бешенства. Я взялся за это без промедления. Он стал бегать ко мне, едва выдавалась свободная минута.

— Я забираю вас,— предлагал он.— Прогуляемся по парку, вам нужно подышать. Давайте. Ну, сделайте усилие.

Он осторожно толкал коляску к ближайшим деревьям. Там, на площадке, стояла скамья, откуда можно было созерцать сверкающую гладь реки, терявшейся в голубых даях. Мне казалось, я открываю сказочный край из-за плеча Моны Лизы.

— Вам удобно? Не холодно?

Шамбон воображал, что у меня мерзнут ноги.

— Видишь ли, Марсель,— начинал я.

Это произошло, как нечто само собой разумеющееся с первого дня моего переселения в замок.

— Видишь ли, Марсель...

Он был взволнован как мальчишка, которому поставили хоро-



шую оценку. Я же продолжал разговор, вдаваясь в более или менее вымышленные воспоминания, рассказывая о себе с видом спортсмена, которому особенно приятно наконец найти собеседника, компетентность которого он ценит.

— Это было в Эз, в Приморских Альпах. Ты никогда там не бывал? Поедем как-нибудь вместе. Там изумительно. Кажется, ты паришь над морем. Во время одной из гонок меня должно было занести на повороте, и мне следовало перелететь через парашют, окаймлявший дорогу...

Он слушал меня. Губы его шевелились одновременно с моими. Иногда он шмыгал носом или же отгонял мошку, затем опять замирал.

— У меня был мощный «кавасаки»-1000, знаешь, наверное,— машина высшего класса. Само собой, все было рассчитано так, чтобы я не покалечился. И все же скорость была приличная.

Я расставил руки и лег на воображаемый руль, который Марсель видел реально, равно как и приборы, и циферблат, и мои судорожно сцепившиеся руки.

— Кинокамеры были готовы. Так вот, по сигналу я набираю скорость.

— Ришар!

— Ну я потом тебе расскажу. Вообрази пируэт! — сказал я поспешно и громко крикнул:

— Мы здесь с Марселем.

Появилась Иза. На руке ее, согнутой в локте, лежал, как младенец, букет. Она смеялась, приветствуя нас издалека.

— Что вы там секретничаете вдвоем, как злоумышленники?

— Беседуем. Ты помнишь историю в Эз? Сальто в овраг?

Она села рядом с Шамбоном.

— Не слушайте его, господин Марсель. Он еще и привирает слегка.

— Вы при этом присутствовали? — спросил Шамбон неуверенно.

— Само собой. Надо было собирать куски.

Мы с блеском разыгрывали мизансцену. Я — в роли мужчины, убежденного в превосходстве над женщиной, в роли, которая производила сильное впечатление на Шамбона. Она же с улыбкой изображала смирение женщины, уставшей от испытаний. Он восхищался нами. Завидовал. Ненавидел. Изнемогал.

— Ладно. Я вас покидаю. — Он резко встал.

— Не беспокойтесь. Я его отвезу. — ответила Иза.

Он ушел, небрежно поддавая носком мелкие камушки.

— По-моему, он в ярости, — прошептала Иза.

— Согласен. Ну как старик?

— Вчера вечером повез меня обедать в новый шикарный ресторан на площади Раллиман. Представил нескольким друзьям:

«Моя кузина Изабелла». Простачков нет, сам понимаешь. В его жизни было слишком много кузин.

— Он не пытался поторопить события?

— О, можно сказать, сгорает от любви.

Она схватила меня за руку.

- Ты в самом деле хочешь причинить себе боль?
- Давай не будем рассказывать сказку про белого бычка.
- Все же мне придется когда-то уступить ему.
- Но он дорого за это заплатит. Не волнуйся. Я ничего не забываю.

Несколько мгновений мы сидели молча. Затем я продолжаю как ни в чем не бывало.

— Важно, чтобы ты долго сопротивлялась. Даже когда он предложит жениться на тебе, откажи. Он полезет в бутылку, скажет: «Все это из-за Ришара». Будет оскорблять меня. Всячески обзывать нас обоих. Но кончит тем, что примет твои условия.

— Почему ты так уверен?

— Уверен, и все тут. Ты обещаешь ему, что будешь видеться со мной как можно реже, а взамен выклянчишь у него дарственную, что-нибудь стоящее... Об этом надо хорошенько подумать. Вот так. А теперь оставь меня. Я сам доберусь. Чует мое сердце, старая ведьма следит за нами. Смотрит в бинокль с чердака, не сомневаюсь. Ты ведь отнимаешь у нее брата, а я — сына. Вообрази, на что она способна.

Что верно, то верно. Мы захватчики, оккупанты. Я обмозговываю эту мысль, Иза тем временем удаляется, люблюсь цветами. Пока что я не знаю, как убью Фромана, но в любом случае мне понадобится Шамбон. А также Иза, в роли, от которой она не придет в восторг. Ну и что! Довольно будет одной маленькой подлости в день, но ведь не я первый начал.

Я отжимаю тормоз и вывожу коляску на аллею. Как правило, вечером, часам к девяти, Шамбон выходит мне навстречу.

— Она спит, — шепчет он, словно мать может его услышать. Он рад, что наконец освободился. Этот несчастный Шамбон, как толстый шмель, собирает добычу то тут, то там, переносит от одного к другому ядовитую пыльцу своих сплетен. Мне известно, что на обед у старухи сухарик и чашка настоя вербены. Потом она принимает различные лекарства — сердечные, печеночные, от всевозможных более или менее воображаемых болезней, а затем Марсель поднимается к ней пожелать доброй ночи. Прежде чем удалиться, он подробно рассказывает о том, что произошло за день.

— Как дядя? — спрашивает она.

— Как всегда. Не слишком разговорчив. Он что-то подарил Изе. Мне показалось — в футляре, но я не уверен. Это было за десертом, он увел ее к себе в кабинет.

Она, должно быть, скрежещет зубами, если только ей позволяют протезы.

— Что калека?

— Только что видел его в парке.

— Надеюсь, ты с ним не болтаешь попусту.

— О, какое там! Начнем с того, что он избегает всех на свете.

Он мне докладывает все это, довольный, как ему кажется, ролью вольнодумца, которому ничем мелочи жизни. Ему, конечно, не приходится в голову, что из такого материала, как он, в другие времена дрессировали доносчиков.

— Частенько я читаю ей несколько страниц из Пруста — в качестве снотворного, — добавляет он. — Эти длинные фразы, знаете ли... очень быстро она перестает что-либо понимать. А если еще добавить таблетку могадона...

Он смеется, затем переходит к интересующей его теме.

— В прошлый раз вы мне начали рассказывать о том, что с вами приключилось в Эз.

У него цепкая и мелочная память мальчишки, для которого иллюстрированные журналы — пища духовная. Я слегка колеблюсь, прежде чем продолжить прерванный разговор.

— Ах, да! Падение с тридцатиметровой высоты!

— С отвеса?

Ему требуются точные детали, так как он одновременно и легковверный, и подозрительный. Если только у него возникнет подозрение, что я вру, ноги его больше здесь не будет.

— Нет, все-таки не с отвеса. Я бы убится. К счастью, кое-где росли кусты, которые притормозили меня... Но знаешь, Марсель, я никогда не был ярмарочным паяцем. Всего-навсего — честным каскадером, как и многие другие.

Не нравится ему этот тон мнимого скромника. Чтобы ему понравиться, надо быть исключительной личностью. Ему не по вкусу слабый наркотик. Я ловко отыгрываюсь.

— Насколько мне помнится, трюк был необычный. В то время Иза еще выступала с мотоциклом. Меня — я играл сыщика — послали в погоню. Перед нею закрывался шлагбаум и медленно двигался товарный состав... длинные металлические вагоны, по бокам которых зияли открытые раздвижные двери. Представляешь?

Зачарованный, он наклоняет голову.

— Так вот, она вылетает... Тормозить слишком поздно... Врезается в шлагбаум, взлетает, пролетает через проходящий перед нею вагон, затем летит кубарем.

— Она?.. Вы хотите сказать, что...

Он заикается. Сжимает ладони. Я небрежно замечаю:

— Посмотреть на нее — хрупкая, грациозная, кто бы мог подумать, что... И, представь себе, она была отчаяннее меня. Трюки выделывала — с ума сойти.

Я не торопясь набиваю трубку. Наконец он спрашивает:

— А дядя в курсе?

— О, в самых общих чертах. Уж не мне об этом докладывать. Ему не нужно все знать.

— Почему?

— Потому что он намеревается... Послушай, милый Марсель, уж не притворяешься ли ты? Будто ты не знаешь, что он хочет на ней жениться.

Он встает, отталкивает кресло. Главное, чтобы яд подействовал. Не вмешиваться... Остаться в стороне... Он делает несколько шагов. Останавливается. Снова начинает ходить. Замирает перед фотографией Изы, медленно меняется выражение лица.

— Знаю. Вы-то согласны? — выдавливают он.

— О, я теперь не в счет.

— А она?.. Она согласна?.. Впрочем, мне плевать. Это ее дело.



Спасует? Откажется? Смирится? Пора прибрать его к рукам.

— Буду откровенным с тобой, Марсель. Ты ведь славный парень. От этого проекта я не более в восторге, чем ты. Я не ревную, нет. Не о том речь. Только я нахожу, что твой дядя, пожалуй, слишком пользуется ситуацией. Иза беззащитна. Я тоже бессилён. Мы зависим от него. В его власти выгнать нас на улицу.

На этот раз Марсель не сдерживается:

— Пусть попробует!

— Сам подумай, старина. Представь, что ты открыто принимаешь нашу сторону. Что помешает тогда ему воспользоваться случаем, чтобы покончить с вашей неделимой собственностью, затеять раздел?... Я говорю наобум, так как не слишком разбираюсь во всех этих делах.— В общих же чертах ты понимаешь, что я хочу сказать.

Он останавливается передо мной, смотрит растерянно.

— Он бы не посмел.

— Возможно. Но я полагаю, что право на это у него есть. Тогда или ты не будешь мешать, и Иза станет госпожой Фроман, а я... Мне даже страшно подумать... Или же ты попробуешь воспротивиться этому плану. Но у него есть способы держать тебя на расстоянии. Он прет напролом. Раздавит и тебя, и меня.

Мальш Марсель артачится. Топает ногой.

— Вы плохо меня знаете,— едва не кричит он.

— Сядь, давай пораскинем умом. Ты заявишь ему, неважно как, что ты против его женитьбы. Он спросит, почему. И что же ты ему ответишь?

Марсель отворачивается. Не знает, куда глаза девать.

— Допустим, я скажу, что над нами будут смеяться, что она ему в дочери годится... Найду, что сказать.

— А ты знаешь, что он тебе вlepит прямо в глаза?... Что ты тоже влюблен в Изу, и он просит тебя убраться с дороги, не мозолить ему глаза.

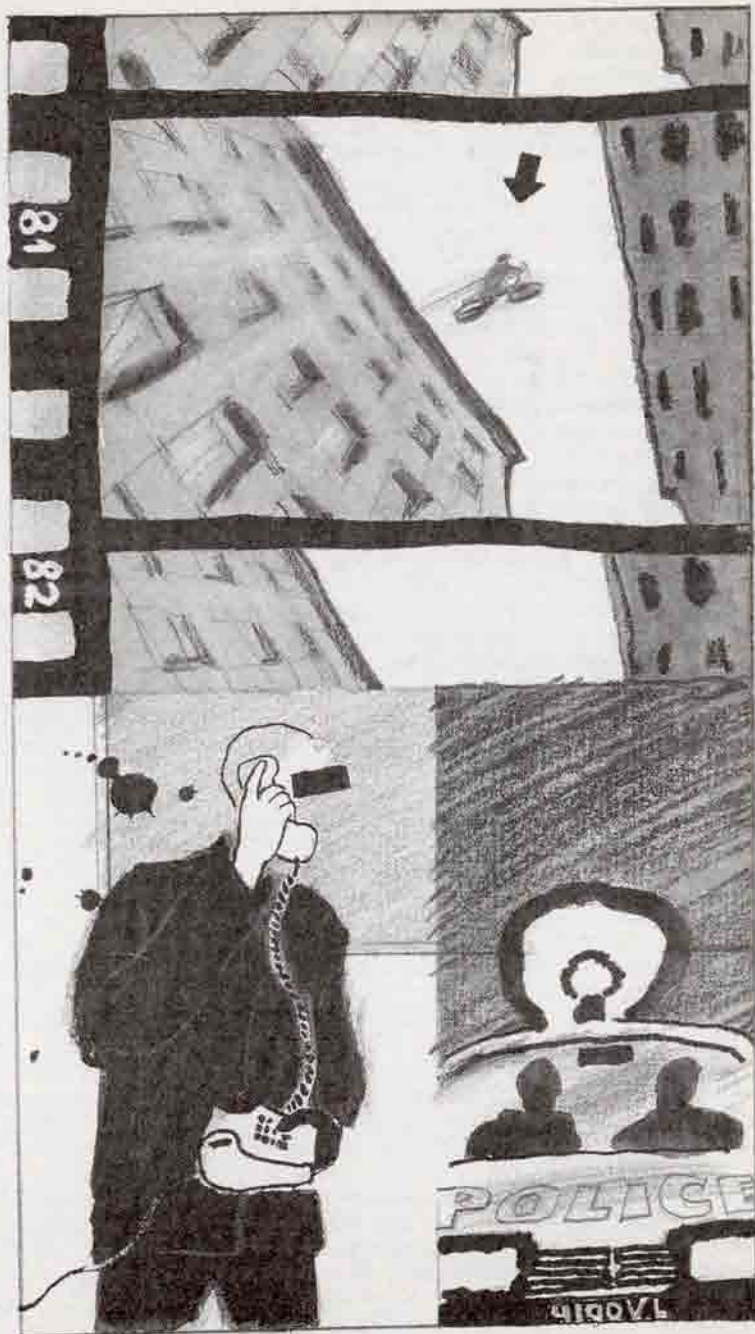
Молчание. Как никогда, я готов рисковать шкурой, и товарищески похлопываю его по колену:

— Заметь, это естественно, Иза — существо, в которое влюбляются помимо своей воли. Более того. Если бы ты ее любил, я был бы рад за нее. Уверяю тебя... О, не понимаю, почему я никак не договорю то, что начал... Когда Иза говорит мне о тебе...

А ведь нетрудно быть палачом! Я делаю вид, что подыскиваю слова, а он тем временем умирает от тоски.— Знаешь, она мне часто говорит о тебе. «Если бы Марсель был один, если бы не было его матери, я думаю, он мог бы мне помочь».

— Помолчите,— шепчет он.— Все смешалось... Простите меня.

Стоит в нерешительности. Вдруг, словно за ним гонятся, выскакивает из комнаты. Я же чувствую огромную усталость. Все это напоминает мне о тех далеких днях, когда вместе с Изой я отправлялся проверять машины и экипировку... *Чемпионат мира*, трамплин, устремленный в небо. Все было в полной готовности, и именно тогда я неизменно испытывал одну и ту же



минутную слабость. Сущий пустяк... на сердце набегало облачко — ощущение бессилия, загнанности...

Беру трубку и тихонько звоню Изе.

— Алло... Ты одна? Этот болван только что вышел от меня. Я ловко подбросил ему кусок... что, в сущности, он тебе нравится, но его дядя собирается на тебе жениться.

— Что? Ты так ему и сказал?

— Надо было. Люблю держать в руках и порох, и искру. Но пока нет контакта, ничего ведь не произойдет.

— Что ты еще такое замышляешь?

— О, проще простого! Марсель не в состоянии скрывать своих чувств. Фроман это быстро поймет. И поторопит события, чтобы поставить и сестру, и племянника перед свершившимся фактом. Но я ведь тебе уже об этом говорил.

— Бедный Марсель! Он не сделал тебе ничего плохого.

Мне хочется ей крикнуть: «Он любит тебя! И ты полагаешь, что он не сделал мне ничего плохого?!» Делаю вид, что беззаботно хихикаю.

— Он учится жить, — замечаю я. — Хорошенький подарочек, не правда ли? Ну а я, допустим, позволю себе маленький трюк — и никакого риска. Подожди, не вешай трубку. Надо, чтобы ты была в курсе. И, по правде говоря, если бы ты была милой, очень милой с этим юношей, ты бы мне помогла. Мне ведь не так просто раздувать огонь из камеры-одиночки. Кстати, вы завтракаете по-прежнему все втроем?

— Вчетвером. Старуха тоже спускается ко второму завтраку.

— Тем лучше. Она, наверное, на одном конце стола, а братец — на другом. Ты сидишь напротив Марселя. Значит, надо быть полюбознее, улыбнуться, что ли, пойти чуть-чуть дальше, чем того требует обстановка... Я прямо-таки отсюда вижу, как старуха в ярости выстреливает глазами во Фромана... Понимаешь, что значат эти взгляды: «И я должна все это терпеть под своей крышей!». Не сомневаюсь, этот кретин жмет ей ножку под столом». Ты же — сама невинность — как ни в чем не бывало передаешь то налево, то направо корзиночку с хлебом или графин.

Иза не выдерживает, прыскает со смеху. Мы опять соучастники. Смеемся в одной тональности, как в дуэте. Нам не нужны рукопожатия. Поцелуй тоже.

— Попробую, — обещает она. — Они такие противные. Будь осторожен.

О да! Я осторожен! Более того, я настороже. Вот уже два дня, как не видел Марселя. Минутная встреча с Изой. Она шепчет мне: «Все в порядке!» Я прогуливаюсь по парку в одиночестве, костыли привязаны к коляске, как весла к борту лодки. По телевизору я видел, как навозные жуки без устали толкают свой навозный шарик. Я, навозный жук, со слепым упорством обкапываю свою ношу вокруг партнеров, над которыми порхают легкокрылые бабочки. Все питает мою злобу. Даже воздух, которым я дышу. Возвращаюсь к себе, чтобы написать очередную страницу. И вдруг — о чудо — стук в дверь: это Фроман, а я-то собирался вздремнуть после завтрака. Весьма сердечно настроен



этот Фроман. Обаятельная улыбка барышника. «Надеюсь, я не помешал?» — куртуазный вздор. Садится в кресло.

— Я как раз занимаюсь делом, которое мне весьма дорого, — с ходу начинает он. — Иза вам, должно быть, говорила... что я намерен на ней жениться?

— О, вскользь... Но мне не показалось, что это серьезно.

— Серьезнее не бывает. Доказательства? Она почти что дала согласие. И поэтому я здесь. Испытывающий взгляд в мою сторону сквозь полуопущенные веки. В этой игре в покер я никого не боюсь.

— Скорее всего это добрая новость, — роняю я наконец. — Бедная Иза. Я так часто думаю о ее будущем... А вы уверены, что делаете это не из милосердия?

Он разглядывает меня. Откровенно ошеломлен. Слово «милосердие» в моих устах по его адресу... Неужели я глупее, чем он предполагал? Я улыбаюсь. Он улыбается. Два старинных друга, каждый ценит деликатность другого. Он продолжает:

— Я хочу сделать ее счастливой... а тем самым и вас.

— Спасибо.

— Поэтому я намерен изменить свое завещание в ее пользу... Солидный вклад, можно сказать, капитал, который обезопасит вас обоих.

— Обезопасит от чего именно?

Он понял, что я хотел сказать: обезопасить от кого именно? Делает неопределенный жест, означающий пространство за пределами стен, туманный горизонт.

— Никто не властен над будущим. Я могу умереть. Разумеется, мои близкие не должны остаться потерпевшей стороной.

— Иза не позволила бы, — заметил я. — Она абсолютно бескорыстна. Я даже не знаю, примет ли она сделку, о которой вы думаете.

— Она колеблется, — признался он. — Однако мои обещания стоят того, чтобы она подумала. Я не утверждаю, что она будет богата в будущем, но даю вам слово, что ей не придется жаловаться.

Он берет с камина пепельницу и сбрасывает длинный цилиндрок пепла. Затем меняет тон, становится «господином президентом».

— Я рассчитываю на вас, — рубит он. Уговорите ее. Я не люблю проводочек.

Сигарой указывает на мои уложенные рядом, укрытые пледом ноги, как на театральные аксессуары.

— Я полагаю, что был с вами корректен. Еще одно слово. Мне известно, что вы часто встречаетесь с Марселем. Лучше пореже! Пореже! Марсель — глупец, избалованный матерью. Бросьте это!

Снова обаятельнейшая улыбка. Властно жмет руку.

— Если вам что-либо понадобится, самое главное — не стесняйтесь.

Дружеский жест с порога. Он оставляет облако сигарного дыма и бешенство в моей душе. События, однако, ускоряют свой ход. Пора начать ими управлять. До самого вечера я до тонкостей отработываю свой план, после обеда вызываю Изу.

— Ты можешь зайти? Есть разговор...

Она хороша, причесана изумительно, серьги, которые я никогда раньше не видел, придают таинственный блеск ее глазам. Она видит, что я смотрю на них, порывается их снять.

— Не беспокойся,— говорю я.— Это не подарки, скорее награда за мужество перед лицом врага.

Игривый тон мгновенно помогает звучать в унисон. Я вежливо подойти ближе к кровати и резюмирую разговор с Фроманом.

— Что я должна делать? — спрашивает она.

— Соглашайся. Но в то же время начинай подогревать Шамбона... совсем невинно... как молодая женщина, в скором будущем родственница... А родственные отношения допускают маленькие вольности. «Добрый день, Марсель». Невинный поцелуй утром. «Спокойной ночи, Марсель». Поцелуй вечером... чуть-чуть нежнее — ведь старухи рядом нет, Фроман вроде бы не обращает внимания. На самом деле он все видит и перевернет все вверх дном, чтобы ускорить брак. А когда вы поженитесь, придумай что угодно, чтобы он удалил Марселя. Надо все пустить в ход, вплоть до того, чтобы внушить ему, что этот кретин Марсель тебя преследует. В каком-нибудь филиале непременно найдется подходящее место. Мне необходимо, чтобы Шамбон терзался некоторое время, тем более, что ты будешь ему позванивать, невиннейшим образом, под предлогом проводить, как жизнь. Мне надо, чтобы он сох по тебе. Я тоже буду ему позванивать. О его возвращении позаботимся, когда он дойдет до кондиции.

— Ты сошел с ума,— шепчет она.

— А, господин комиссар! Клянусь, я не соскучился, нет. Однако вспоминал, как вы там проживаете.

Дрё аккуратно кладет на спинку стула плащ, кашне, шляпу — он педант — и садится перед Ришаром, который сам с собою играет в шахматы.

— Как видите,— начинает он,— делаю вид, что продолжаю следствие для госпожи де Шамбон.

— Опять! Так эта комедия еще не скоро кончится?

— Дело в том, что в ее соображениях есть определенная логика. Для нее сомнений нет: брата убили. В таком случае, кто?

— Вот именно, кто? — повторяет Ришар.

— Ваш конь,— замечает Дрё.— Я бы пошел. Вы позволите?

Он передвигает фигуру на доске.

— Bravo,— соглашается Ришар.— Так вернемся к госпоже де Шамбон. Может, она с приветом?

— Может, и с приветом, только хитрюга. Ее последнее открытие... о, уверяю вас, чего-нибудь да стоит!.. Представьте себе, она снимает трубку, но не для того, чтобы звонить мне,— я для нее мелкая сошка,— а для того, чтобы побеседовать с начальством, которое не решается послать ее ко всем чертям.

— Так что это за последнее открытие?

— Она вбила себе в голову, что в Братскую помощь звонил не ее брат.

Ришар задумчиво скребет подбородок черным слонком.

— Не понимаю.

— Что тут непонятного? Очень даже понятно. И вовсе не глупо. В самом деле, человек из *Братской помощи* слышал голос, но ведь он не знает, какой именно голос у Фромана. Это мог быть чей угодно голос.

— Вы хотите сказать, что...

— Не я хочу сказать. Она!.. Она хочет сказать, что ее брата могли убить, а потом позвонить от его имени.

— Придуманно ловко,— допускает он.— Один такой ход, и мне шах и мат.

— Каким образом?

— Ну конечно! Если все происходило так, как она предполагает, преступление было преднамеренным. Трудно представить себе таинственного убийцу, вошедшего через застекленную дверь и сымпровизировавшего подобную сложную мизансцену. Следовательно, преступник — кто-то из проживающих в замке. Но Иза была у друзей, Шамбон в кино... Остается... да, черт возьми... остаюсь я... Она клонит именно к этому, старая кляча.

— Вы быстро соображаете,— замечает Дрѐ.

— Представьте, я знаю, сколько будет дважды два, и знаю, что она меня терпеть не может. И вот доказательство.

— О, доказательство! Вы явно торопитесь!— Комиссар полиции по горло сыт ее домыслами, но городские власти рядом, и комиссару очень хотелось бы положить конец разговорам о деле Фромана.— Моя задача состоит в том, чтобы управлять старой дамой, сказав ей примерно следующее: «Нам это тоже приходило в голову, но только не надо, чтобы преступник о чем-нибудь догадывался. В настоящее время мы разыскиваем магнитофонную запись голоса господина Фромана. Когда мы найдем кусок пленки (а он ведь часто выступал), мы дадим его прослушать сотруднику *Братской помощи*».

— Вы серьезно?

— Ну а как же! Просто надо выиграть время.

Ришар жадно затягивается.

— Заметьте,— говорит он.— Все это мне абсолютно безразлично. Даже скорее забавно. На вашем месте я согласился бы с версией преступления.

— Э, тихонько! Ни звука, ни слова. Будем помалкивать. Это, кстати, в ваших интересах.

Он надевает плащ, кашне, слегка надвигает набок шляпу, протягивает палец к шахматной доске.

— Продолжайте играть. Белый конь, да... против черного слона.

— Из вас вышел бы хороший партнер,— замечает Ришар.

Не могло быть и речи о том, чтобы я присутствовал на бракосочетании. Я был тем, кого следовало прятать,— бывший ярмарочный паяц, калека, соперник и жертва в одном лице. На некоторое время следовало стусеваться, не подавать признаков жизни. Садовник приносил мне еду, словно заключенному. Шамбон навещал тайком, впопыхах, все более и более возбуждаясь.

— В конце концов,— кричал он,— сделайте что-нибудь, черт



возьми! Вы ведь еще имеете на нее какое-то влияние. Запретите ей принимать предложение дяди. Это чудовищно! Вы-то прекрасно понимаете, что он ее покупает. Если бы я был на вашем месте...

— Ты бы его убил? — подсказывал я.

Он смотрел на меня растерянно, однажды даже заплакал.

— Да, я люблю ее. Вы правы... Ничего не могу с собой поделать. Я словно не жил до сих пор. Вот вы, Ришар, вы когда-нибудь любили?

— Мне кажется, да.

— И вы уже не помните, что с вами было?

— Нет. Знаешь, все идиоты одинаковы.

— А теперь вы выздоровели.

— Я не выздоровел, я умер.

Шамбон скривился.

— С вами невозможно серьезно разговаривать. Вы не хотите мне помочь?

— Все очень просто, малыши Марсель. Давай его уколошим. Нет, я не шучу.

Вот что значит играть по-крупному. Надо дать рыбке попасться на крючок, а потом уж дергать леску. Шамбон ускользал. Мне оставалось ждать. Два или три дня спустя он сообщил, что у него с Фроманом была бурная сцена.

— Я категорически отказался присутствовать на церемонии. Сказал ему, что он выставляет себя на посмешище перед всем городом, а Иза по его милости выглядит интриганкой — ничего себе пара! В общем, наорал на него так, что он стал мне угрожать. «Если ты сию минуту не замолчишь, я дам тебе пощечину». Так и сказал. Но если бы он меня ударил, я бы избил его в ту же секунду, клянусь вам. Что он о себе возомнил?

— А что мать?

— В кои-то веки на моей стороне.

— Ты доволен?

— Когда выговоришься, легче на душе.

— Согласен! Но что это меняет? А? Ты бы признался Изе, что без ума от нее, — как знать, может, в последний момент она и отказала бы Фроману.

Молчание. Я нахожу эту минуту столь же упоительной, как и те лучшие мгновения, которые выпадали на мою долю. Шамбон бледен как смерть. Он взвешивает все «за» и «против» по привычке примерного бухгалтера. Наконец решается:

— Вы не могли бы поговорить с ней?

— Ты что, смеешься?

— Ничуть. Только начните. А потом... потом... думаю, я выпутался бы. Впрочем, нет. Все кончено. Вы правы. Я слишком долго медлил.

Он уходит, как и пришел, бормоча что-то себе под нос, в совершенной растерянности. Я тут же вызываю Изу, кратко пересказываю разговор, по крайней мере то, что ей положено знать.

— У него земля уходит из-под ног. Не удивляйся, если он выкинет какую-нибудь глупость.

— Например?

— Например... бросится к твоим ногам. Он из таких. Или будет умолять, чтобы ты не выходила за Фромана. Я не хотел бы теперь огласки. Рановато. Ты уверена, что можешь подогреть его страсть, не доводя дело до скандала?

— Трудновато,— говорит она.— Теперь, когда Шарль обеспечил наше будущее.

Она смотрит на меня озабоченно.

— Послушай, Ришар. Ты хотел, чтобы я стала женой Шарля. Меня от этого воротит. Не настаивай, чтобы в довершение всего я подогривала желания несчастного Марселя. Это было бы слишком мерзко.

— Нет, не надо его возбуждать. Всего лишь выглядеть снисходительной. Не отталкивать, если угодно. Когда он попытается поцеловать тебя, мило пожюри его. Дай понять, что он опоздал, что его место занято. Ясно?... Жури, но любя. После свадьбы... Позднее... можно подготовить развод...

Она впервые чувствует, что я хитрю, притворяюсь, а потому встревожена. Я спешу добавить:

— Не забывай, Фроман уже дважды разводился. В третий — раз плюнуть. Как только он заметит, что ты не пылаешь страстью...

— Ришар!

— Прости. Я называю вещи своими именами. Но в конце концов прав я или нет? Племянника он пошлет ко всем чертям, а заодно и нас.

— Ты представляешь, какие сцены мне придется выносить?

— Я буду рядом.

— Поклянись, что отдаешь себе отчет в том, что делаешь?

Я хладнокровно клянусь, зная, что лгу ей. Ласкаю кончиками пальцев ее щеку. Она пришла бы в ужас, если бы только заподозрила, что я затеваю.

— Ну, не бойся! Иди к нему, к этому проклятому Фроману. Не такое уж он чудовище.

И все же, помимо моей воли, нетерпение и тревога... Какая пытка! Бывало, я не только мог создавать событие, но и конструировать его в мельчайших деталях, доводить до состояния отлаженного механизма.

Но Шамбон?... Солома, намешанная в металл. Непостоянный, кидаящийся в крайности. Хуже мальчишки. А если, к несчастью, он и впрямь начнет интересоваться Изу? Грубые страсти вокруг нее! Страсти, которые я поощрял, почти что зажег собственноручно... Иза — это Иза, сердце мое, душа моя. Но в конце концов ее покинул демон подвижничества. Впервые она узнала, что такое покой, комфорт и, пусть лишь наощупь, богатство... Шамбон тут как тут, готов все бросить к ее ногам. Глупец. Ничтожество. Трус. Я уже мало что значу. Иза всего-навсего женщина. Когда я убью Фромана... в том-то и дело: этому ничтожеству я даю зеленую улицу... Вот почему мне нужно ее соучастие в преступлении... это единственный способ отнять у него Изу. В каком же дерьме я увяз! Из-за мелкого тщеславия!

Ладно. Продолжаю свой бортовой журнал. Прошло несколько

дней. Немало дней. День свадьбы приближался. Что же дальше? Пустота. Иза нервничает. Шамбон все больше и больше выводит меня из себя. Нашел, с кем говорить о своей любви! Мы кружимся вокруг этой нездоровой страсти, как студенты-медики вокруг патологии беременности. А Иза? Она примеряет наряды. По горло занята приготовлениями к светской церемонии. Пытается утаить от меня свою непристойную радость, а сама так и светится. Я сам пожелал все это. А теперь локти кусаю. И вот канун свадьбы. Записываю.

Иза ворвалась как вихрь. Приоткрывает дверь:

— Готово! Марсель...

— Что? Объясни ради бога.

— Марсель... Чуть меня не задушил. Целовал силой! А Шарль рядом в комнате. Мог нас застать.

— Надеюсь, ты его отбрила?

— Не посмела. Бедный мальчик! Он никогда ни с кем не целовался. «Я не виноват, что люблю вас!»

— И тебя все еще волнует это обстоятельство?

— Согласись, что... Постой. После приема мы отправимся на остров Олерон.

— Как?! Это не предусмотрено программой!

— Нет. Я даже не знала, что у Шарля там вилла. Он хочет провести там дней десять.

Я тихонько набиваю трубку, чтобы дать унять сердце:

— Вот видишь, я не делаю из этого драмы.

Она перебегает комнату, молча прижимает меня к себе и исчезает. Мне остается только напиться и впасть в спасительное пьяное забытие. Начну сию же минуту...

С этого момента в моих воспоминаниях — туман. Жермен приносил мне коньяк: «Вам не следовало бы столько пить. Вот заболите, а я буду виноват». Зато время летело с изумительной быстротой. Шамбон заходил ко мне, когда мог. И не долго думая, последовал моему примеру... После пары рюмок он гарцевал на грани лирического опьянения.

— Она любит меня! — кричал он. — Она все мне обещала. Я скрывал от вас. Представьте, я целовал ее, а она, знаете, что она мне сказала? Она мне сказала: «Потом».

(Мерзавец! Ничтожество! Лгун!)

— И тем не менее она жена другого.

— Да, если угодно. Но любит она меня — Иза, красавица... За Изабеллу!

Он поднимал рюмку, опрокидывал ее одним махом, откашливался, затем растягивался на моей кровати.

— Расскажите мне об Изе... У нее был мотоцикл?

— Да. Красный «кавасаки». Она стояла на седле, затем ловила веревочную лестницу, сброшенную с вертолета.

— Представляю... как воздушная гимнастка... С ума сойти!

— О! Это пустяки. Вообрази только, однажды она сделала одиннадцать кульбитов в «фольксвагене»... Надо резко затормозить на скорости 80 километров в час, затем поворот, а дальше все идет само собой... только уж тряхнет тебя, будь здоров! Она немного повредила себе левое запястье.. До сих пор шрам.



— Не может быть,— бормотал он.

— Что не может быть?

— Да то, что она меня любит. Меня!

Без всякого перехода он ударился в меланхолию, и дело доходило чуть ли не до слез. Я подливал ему в рюмку...

— Ты уверен, что она сказала «потом»?..

Он оживал, жадно хватал рюмку.

— Уверен. Но сначала она поцеловала меня сама.

— Но, может, «потом» означает, что она подождет, пока не овдовеет?

— О, клянусь тебе, ей недолго ждать.

Он задумывался о насилии, на которое был неспособен. Я же, будучи у меня и не было иных забот, как помочь ему, говорит:

— Мне пришла в голову одна мысль. А что, если твой дядя покончит с собой?

Кажется, немислимо произносить подобные вещи хладнокровно. Но в алкогольном угаре дело представлялось мне вполне реальным, тем более что я уже долго обдумывал его. Шамбон был не в состоянии рассуждать на эту тему. Более того, моя идея показалась ему блестящей. Он шумно высказал свое одобрение.

— Только, чур, надо, чтобы это было похоже на настоящее самоубийство. По неизвестной причине твой дядя мог бы выстрелить в себя из револьвера: это выглядело бы правдоподобно.

— У тебя есть револьвер? — спрашивал Шамбон.

— Конечно. Когда я играл в гангстеров, я был вооружен. Где-то там... Автоматическое оружие бельгийского производства. Могло бы пригодиться. Но было бы лучше, если бы револьвер принадлежал твоему дяде.

— А у него как раз есть... Валяется где-то в ящике в библиотеке. Это все знают. Идемте со мной — покажу.

Вот так, пока Фроман с Изой гуляли по пляжам острова Олерон, мой план принял конкретные очертания и начал будоражить воображение Шамбона. В его сопровождении я впервые посетил личные апартаменты Фромана, его кабинет, библиотеку. Ковыляя на костылях, я все высматривал, запоминал подробности: как расставлена мебель, расположение дверей, выходящих в парк.

— Вот видишь, достаточно застать его врасплох, и можно застрелить в упор. Кроме того, мне пришло в голову еще кое-что. Идея недурна, но подожди немножко... Прежде всего револьвер.

Это был старый военный револьвер в довольно хорошем состоянии. Я его разобрал, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Барабан действовал хорошо.

— А ну-ка, попробуй.

Шамбон отпрянул, словно я протянул ему змею.

— Нет, я не смогу,— пробормотал он.

— А если это сделаю я, хватит у тебя смелости говорить по телефону?

— Думаю, что да. Но зачем?

Там, в кабинете Фромана, я и рассказал Шамбону о задуман-

ном. По мере того, как я говорил, план все более и более прояснялся, и вскоре мы оба были возбуждены настолько, что, появившись старик в то самое мгновение, мы бы его пристукнули.

— Гениально! — повторял Шамбон.

Он был сильно под парами и воспринимал мой план как некую великолепную мистификацию. Возражения должны были появиться позднее. Я перезарядил оружие и долго вытирал его, прежде чем снова положить в ящик.

— Ты меня понял, — обратился я к Шамбону. — Риска никакого, при условии, что ты будешь держаться с матерью как подобает. Но все полетит к чертям, если такой недоверчивый человек, как она, что-нибудь заподозрит. Тогда — тюрьма.

Словечко попало в точку. Шамбон рухнул в кресло.

— Хочешь запугать меня, — прошептал он.

Пользуясь его смятением, я продолжал:

— Выбирай... тюрьма или Иза.

На его жалкой физиономии легко было проследить перипетии борьбы, разыгравшейся в его сознании. Я не сомневался в успехе. Мало-помалу к нему вернулась уверенность, на мой взгляд, даже излишняя.

— Мать ничего не узнает, — торжественно заявил он.

— Опустит голову под кран — так будет вернее.

Незадолго до полуночи он позвонил мне.

— Трюк ваш хорош. Только во многих деталях концы с концами не сходятся.

Этот кризис я предвидел; знал, что Шамбон, как только отрезвев, придет в ужас и будет изыскивать способы отступления. Я был готов идти до конца. В особенности я настаивал на том моменте, который более всего терзал Шамбона. Его роль сводилась к сущей мелочи: поговорить по телефону или, точнее, пересказать согласованный заранее текст, а затем дотащить тело до письменного стола. Фроман грузен, но расстояние было невелико — всего несколько метров, так как я, без сомнения, убил бы его в коридоре. Когда именно?

— Все это мы спокойно отрепетируем, — сказал я. — Как на сцене. А теперь постарайся заснуть и оставь меня в покое.

...Вскоре супруги Фроман вернулись, и внешне жизнь в замке пошла своим чередом. За исключением одной детали. Только деталь ли это? Иза отошла от меня. Перестала быть моим двойником. Испытывала неловкость. Я не встречался больше с ней взглядом. Это было равносильно потере смысла жизни. Тогда зачем ждать? Пришло время свести счеты. Некоторое время я медлил. По возвращении Изы я опасался какой-нибудь вспышки, из-за которой все могло осложниться. Пока я искал решение, приходилось давить на Шамбона. Но это было так же трудно, как регулировать огонь, на котором стоит кастрюля с молоком. Он навещал меня все реже. Я видел, что он что-то замышляет, и пытался расспросить его.

— Да нет же, — протестовал он. — Всем на меня наплевать. Иза меня избегает. Дядя даже не смотрит в мою сторону. Но это не значит, что я сдаю позиции.

— Ладно. Тогда давай работать.



И мы повторяли текст, который он должен был наболтать дежурному по *Братской помощи*. Это был забавный экзерсис.

Иногда подобие ужаса сводило ему рот. Я отдавал себе отчет в том, что доведу его до депрессии. Последующие события показали, что я был прав. Однажды вечером Шамбон позвонил мне и сказал, что он все обдумал и решил уехать из Анжу. Директор отделения в Нанте подавал в отставку. Почему бы не занять его место? «Раз уж здесь все против меня!» — добавил он.

Его отъезд означал катастрофу. Вдали от Изы он кончит тем, что будет иметь на нее зуб, и все обернется против нас. Он заговорит. Выболтает все Фроману. Чтобы отомстить, повысит свои акции. Тут-то заранее все было ясно. Я был прижат к стенке. О нюансах говорить уже не приходилось. Надо было действовать решительно. Я ему выложил все начистоту. Он слушал меня с видом упряма, полный решимости не уступить.

— Ты не разбираешься в женщинах, бедный мой Марсель. Попытайся понять, что Иза не может стать твоей. Дело не в осторожности, а в деликатности.

— Правильно. Именно поэтому будет лучше, если я уеду.

— И тебя мало волнует, что ты сделаешь ее несчастной? Протри глаза, идиот. Она же любит тебя и не простит, если ты уедешь. Твой дядя не способен сделать ее счастливой.

Так я плел одну пошлость за другой. Все средства были хороши. Мало-помалу он смягчился. Я воспользовался этим.

— Если бы ты мог подождать несколько месяцев, твой дядя покончил бы с собой. Это немного удивило бы тех, кто его знал, но ведь такое случается, не так ли? Если же он убьет себя сейчас, через несколько недель после свадьбы, тут уж, поверь, шуму будет много. Все перевернут вверх дном.

Он зло посмотрел на меня.

— Но вы же сами сказали, что нам нечего бояться.

— Я и сейчас это говорю. Но ты заставляешь покончить с ним, не мешкая. Что ж, я готов... Ты-то выступишь перед полицией... и перед матерью?.. Ее я боюсь больше всего.

— Эко дело, — бросил он. — Я лгу ей с самого детства. Немножко больше, немножко меньше!

— В таком случае дай мне два-три дня на размышление, надо обмозговать каждую деталь, и мы попробуем.

Станный малый! Он пожал мне руку, с виду успокоившись и даже повеселев, словно мы договорились съездить на рыбалку. Я начал обдумывать дело в мельчайших подробностях. В субботу Фроман собирался присутствовать на каких-то политических собраниях, так как кампания муниципальных выборов уже была запущена.

Возвращался он поздно, ставил машину в гараж и, прежде чем отправиться спать, на минуту заходил в кабинет. Следовало напасть на него в гараже. Затем дотащить тело до кабинета, а это уже вопрос инсценировки. Оставалась проблема алиби. Это несложно. Я устрою так, чтобы Иза отправилась играть в бридж. Шамбон пойдет в кино, на четырнадцать тридцать, — надо непременно сохранить билет. Он вернется в замок на своей «пе-



жо-604», но оставит ее несколько поодаль. Затем, когда все кончится, он снова сядет в машину и к одиннадцати появится у ворот. Жермен будет свидетелем. Что касается меня, то, одурманенный каким-нибудь снотворным, я стану слеп и глух, к тому же увечье ставит меня вне подозрений.

Я снова и снова анализировал каждую мелочь, мысленно проигрывая всю мизансцену, и был абсолютно уверен в себе. Только Шамбон оставался слабым звеном. Но любовь заменит ему мужество. Вперед! Фроман был обречен.

— Это опять вы, комиссар! Нет, я вовсе не сетую на ваши визиты. Входите. Я просто удивляюсь. Значит, следствие не закончено?

Дрё без приглашения плюхнулся в кресло, тем временем Ришар на костылях доковылял до коляски, в которую уселся довольно ловко.

— Как вам удастся сохранять форму? — спросил Дрё.

— Немного гимнастики каждое утро, и очень строгий режим. И потом я ведь крепкий.

— Это заметно.

Комиссар задумался, затем спросил:

— Вам приходилось разговаривать со старой дамой?

Ришар расхохотался.

— Конечно, нет. С меня хватает и того, что иногда я вижу ее в парке, выслушиваю ее сына, когда ему охота со мною откровенничать. Брр... Знаете, комиссар, я веду очень уединенный образ жизни.

— Хотелось бы этому верить, — прошептал Дрё. — Сейчас она сочиняет целый роман. Я узнал кое-что любопытное. Много лет назад господин де Шамбон, ее муж, погиб на охоте в результате несчастного случая. Неосторожный прыжок через изгородь... случайный выстрел... короче говоря... Марсель был еще совсем ребенком. Мать воспитала его так, словно ему тоже уготована смерть от несчастного случая. Можете себе вообразить. Ваша сестра, наверное, рассказывала вам все это.

— В самых общих чертах. Старуха нас не интересует.

— Зато вы ее чертовски интересуете, — воскликнул Дрё. — Она мирно царила в душе своего сына и брата, и вдруг сваливаетесь вы, более чуждые для ее мирка, чем марсиане. Что же происходит? Брат ее влюбляется в вашу сестру до такой степени, что женится на ней. А сын, я чуть было не сказал, влюбляется в вас, в общем, вы меня понимаете. Вы околдовали этого молодого человека.

Дрё тихонько засмеялся.

— Зорро на костылях, — вставил Ришар.

— Извините. Поверьте, что... Ладно. Я точен в определениях, не правда ли? Тем временем господин Фроман кончает с собой как раз тогда, когда намеревается пересмотреть свое завещание. Старая дама понимает, что ее сын, возможно, подстрекаемый вами, кружится вокруг вдовы. Неужели я преувеличиваю?

— Немножко преувеличиваете, впрочем, ладно. Вы только что говорили о романе, который она сочиняет.

— Да, говорил. Она убеждена, что ее брата убили. Но ей пришлось признать, что ваша сестра и Марсель де Шамбон вне подозрений. Так вот, ей пришло в голову, что некто вошел через парк и инсценировал самоубийство, в частности, переговорив с человеком из *Братской помощи*... А посему поиски, которые я вел, ни к чему не приведут, что и следовало ожидать. Теперь у нее другая версия. Она предполагает, что у вас сохранились кое-какие связи с прежними друзьями, головорезами вроде вас, которым вы поручили действовать... Постойте! Еще она думает, что теперь и она в опасности...

— Из-за меня?

— Разумеется. Кстати, она мне разъяснила ваш замысел. Все очень просто. Вы умертвите ее с помощью какого-нибудь фокуса, которому вы научились, снимаясь в кино, и наложите лапу на ее состояние и замок. Урезонивать ее бесполезно. Она в полной панике. Именно поэтому я здесь. Надо сделать вид, что мы принимаем всерьез ее бредни. В какой-то степени мы даже обязаны это сделать, так как не все ее разговоры — плод воображения. Например, поместье не охраняется. Сюда можно проникнуть беспрепятственно. Привратники не в счет. Кто берет на себя труд запирает двери по вечерам?

— Жермен. Он делает что-то вроде обхода, но ведь отверстий в заборе сколько угодно!

— Вот видите! Кстати, вот еще что: о ваших бывших друзьях. Вы, наверное, даете им о себе знать время от времени?

— Нет, я порвал со своей прежней жизнью.

— Совершенно?

— Почти. Я не хочу никого стеснять. Но если вернуться к сумасшедшей старухе, то ее мысли весьма забавны и довольно логичны.

— Шамбон часто вас навещает. Его мать утверждает, что он постоянно торчит у вас и вы его спиваете. От него якобы пахнет алкоголем, когда он поднимается поцеловать ее перед сном. Могу добавить такую деталь: он начал пить незадолго до смерти своего дяди.

— Ладно,— добродушно произнес Ришар.— Признаюсь вам во всем. Мы старые соучастники — Марсель и я. Мы кокнули папашу Фромана, если тетушке это доставит удовольствие.

— Вы правильно делаете, что смеетесь,— заметил Дрё.— Противно, что она постоянно названивает и плетет всякую чушь. Клуб мамаш, как говорит мой заместитель, в восторге от этого, зато начальство в раздражении. Послушайте, скажу вам откровенно: а не могли бы вы уехать с сестрой на некоторое время?

Ришар подмигнул.

— До окончания выборов.

Дрё быстро поднялся.

— Представьте себе, да. Как вы умеете быть неприятным!

— Это что, приказ... сверху?

— Никким образом. Это мой совет. Дружеский. В ваших же интересах.

— Я отвечу. Плевать мне на общественное мнение. Я остал-



ся без ног. Значит, я — пожизненный зритель и нахожу, что игра стоит свеч. Не время покидать место.

Дрё искал, что бы ответить, и не находил. Затем в ярости вышел. Набивая трубку, Ришар прошептал: «Подумать только, нет ничего святого. Пострадавший — это я, месье».

Среда. Еще три дня. Даже меньше. Я дожидаюсь середины дня. В это время Фроман обычно заезжает на завод: мне это известно от Шамбона. Я снимаю телефонную трубку.

— Алло... Можно попросить господина Фромана?

— Простите, по какому вопросу?

— По личному и срочно.

— Не вешайте трубку.

Молчание. Гулко стучит сердце. Когда-то я был хладнокровнее... Вдруг голос Фромана — властный и уже раздраженный.

— Да... Кто это?

— Господин Фроман?

— Да, слушаю.

— Вам следовало бы лучше следить за своей женой. Ее часто видят с другом.

Сразу вешаю трубку. Насколько я знаю Фромана, он в ярости. Бедняга! Весь вечер будет распалать эту ярость, но не позволит ей выплеснуться наружу. Пока что. Ему, конечно, известно, что племянник занят его женой несколько больше, чем требуется. Известно с некоторых пор. Но теперь скандал становится публичным. Надо резать по живому. Он и отрежет. Завтра четверг. А может, пятница. Без звука. Без пустых угроз. Что он может сделать? Не надо забывать, что если он ударит по Шамбону, тем самым ударит по собственной сестре. Итак, удалит Шамбона? Отправить его в один из филиалов? Этого мало. Если Шамбон и Иза захотят встречаться, расстояние для них не помеха. И потом, почему бы ему сваливать все только на Шамбона? Почему не на саму Изу и — рикошетом — не на меня? Он может вернуться к распоряжениям, принятым в нашу пользу, или прогнать нас. Или же сказать Изе: «Если ты будешь встречаться с Марселем, я выставлю твоего брата за дверь».

Я закрываю глаза и испытываю лишь минутное мозговое возбуждение. Нервы мои также убил Фроман. Неминуемо надвигается грязная семейная ссора. Кстати, какое мне дело до этого? Главное в моем замысле — чтобы дядя сцепился с племянником, чтобы робкие поползновения Шамбона превратились в некий безумный огонь, чтобы им владело одно желание: устранить препятствие. Теперь одно из двух: либо он изо всех сил станет помогать мне убрать Фромана, и тогда мы — Иза и я — хозяева положения. Либо он рухнет, и Фроман уничтожит нас вторично — и меня, и Изу. Вот так-то!

Четверг. В два часа звонок Изы. Так и есть. Вспышка все-таки произошла. Но не взрыв. Скорее, внутреннее извержение. Фроман выглядел внешне спокойным, хладнокровным. За кофе он миролюбиво сказал племяннику: «Ну и подонок же ты!» А затем Изе: «Для шлюх у меня почасовая ставка». Затем он продиктовал свои условия. Шамбон отправится в ссылку, в Гаврское



бюро — с запрещением трогаться с места. Изу ждет заточение в замке. Средства будут урезаны, назначена встреча с нотариусом. Зачем? Тайна. Теперь обо мне: под предлогом реабилитации после травмы меня, кажется, отправят в приют. Короче, гнев мелкого буржуа, которому наставили рога. А что старуха? Ее он еще не поставил в известность. Итак, мой телефонный звонок сразил всех наповал. Иза буквально в ужасе. Почва ускользает из-под ног. В ее воображении мы уже отверженные, нищие. Она во всем обвиняет меня. Я же преспокойно ожидаю Шамбона. События мне повинуются. Если я и проигрываю по части эмоций, то выигрываю в холодной трезвости.

Фроман не изменит своего распорядка дня, дабы подчеркнуть, что домашние неприятности не в силах поколебать безмятежность его духа. В глазах всего света он должен оставаться господином Президентом. Значит, как обычно, он отправится на цементный завод, Шамбону же там появляться запрещено. Он ринется сюда, чтобы разыграть взбунтовавшегося хвостуна.

И действительно, через некоторое время Шамбон вваливается ко мне в крайнем возбуждении. Даже не дает рта открыть. Говорит... Говорит... Ходит взад-вперед, пихает ногой ковер. Однако, вопреки моим ожиданиям, злится он главным образом на свою мать. Старуха, кажется, на стороне Фромана.

— Нам остается поставить крест на неделимости имущества! — кричит он. — В таком случае придется продать *Ля Колиньер*, и мы еще посмотрим, кому от этого будет хуже. Интересно, что я буду делать в Гавре? Иза подаст на развод, я подожду ее там, и баста. Он воображает, что может диктовать нам, как жить!

Чертов Шамбон! Все еще носится с разводом, все еще пытается увильнуть от последней, решительной стычки с Фроманом. А ведь он знает, что стрелять-то буду я, и ему нечего бояться. Все норовит улизнуть, а разыгрывает благородного влюбленного, готового на любые жертвы. Меня так и подмывает двинуть ему костылем в физиономию. Но я слушаю, покачивая головой, будто подакиваю. Когда же наконец он плюхается в кресло прямо передо мной, я невозмутимо заявляю:

— Бедный мой Марсель, ты становишься идиотом. Я изучил возможность развода. Если бы тут были шансы на успех, за нее следовало бы ухватиться. Ведь не от хорошей жизни я дошел до мысли избавиться от твоего дяди. Это единственное средство освободиться от тирана, из-за которого жизнь становится невыносимой.

Слово «тиран» ему явно нравится. Мне нетрудно доказать, что Фроман благодаря своим связям манипулировал бы адвокатами, судьей и всеми, кто был бы занят бракоразводным процессом. Он сделал бы все, чтобы довести Изу до нищеты.

— Да и тебя разорил бы, глазом не моргнув.

— Моя мать богата, — возражает Шамбон.

— А кто управляет ее состоянием?... А? Опять он. Согласись, ты в его руках. Послезавтра вечером все провернем. Он должен присутствовать на собрании ветеранов войны, даже газеты об этом пишут. Но это ненадолго, к десяти часам вернется. Иза

отправится в гости к Луазелям. Ты знаешь, что нужно делать. Когда приедет полиция, в замке будут только двое: твоя мать — в левом крыле, и я — в правом. Где сейчас Фроман?

— Уехал.

— Так давай, за дело. Я покажу тебе, как действовать. Толкай коляску.

Он попробовал возразить в последний раз.

— А тело? Как перетащить его в кабинет?

— Положим на мою коляску. Ты будешь толкать — я за тобой.

Видно, как он трусит, но повинуется. Мы направляемся в гараж, который сообщается с кухней через маленькую дверь. Вход в гараж открывается с помощью фотозлемента. Ворота наподобие подъемного моста, причем сбоку образуются теневые участки, где можно отлично спрятаться. Я объясняю Шамбону, как буду действовать. Неотвратимость действия некоторым образом согревает меня, и приходится делать усилия, чтобы скрыть волнение.

— Кровь,— замечает Шамбон.— Он будет истекать кровью на цементном полу... сами понимаете.

— И это предусмотрено,— бросаю я небрежно.— Прежде всего пуля в сердце почти не вызывает кровотечения, а потом на всякий случай мы захватим одеяло, расстелем его на моей коляске. Есть еще вопросы?

Опустив голову, Шамбон молча доставляет меня в мою комнату.

— Револьвер возьмем в субботу, в последний момент. Не забудь перчатки, так как тебе придется заняться револьвером, я уже объяснял тебе — парафиновый тест. Полиция должна обнаружить только его отпечатки и следы пороха на коже.

— Вы в самом деле думаете, что это необходимо?

— Но я объяснял, черт возьми! Из-за парафинового теста. Для полиции это будет доказательством самоубийства... Что еще, старина? Это не вернет мне ноги, но мы все вздохнем свободно. Дай-ка бутылку.

Мы выпили по рюмочке, и к Шамбону вернулись краски. Он еще не перестал кидаться в крайности — от возбуждения к унынию, но, уходя от меня, снова воспрял духом. А пятнице, казалось, не было конца. Иза в полном отчаянии сидела взаперти в своей комнате. Я хотел было ее приободрить, объяснить, что стараюсь ради ее же освобождения. Я страдал, но в то же время, признаюсь, был доволен собой. Нет, я не конченный тип. И вот доказательство! В субботу время тянулось тягостно. Я был предельно сосредоточен, словно вызубривал урок. Стояла дивная погода, воздух был наполнен ароматом цветов, щебетали птицы. Фроман позавтракал в замке, до четырех часов работал в своем кабинете, затем сел за руль «ситроена» и уехал. Вскоре появился Шамбон, внешне спокойный, только пальцы что-то без конца теребили. Чтобы развлечь его, я рассказал несколько забавных случаев из жизни каскадеров. Результат оказался поразительным. Он больше не дергался, лишь рот шевелился одновременно с моим. Мне пришлось встряхнуть его.



— Иди-ка в кино да постарайся не потерять билет. Я буду ждать тебя с семи вечера.

Я расслабился, даже поспал немного. Шамбон вернулся, как договорились. Мы съели по бутерброду, почти что весело поболтали. Я старался вести себя так, словно дело шло не о преступлении, а об эффектном трюке воздушных акробатов, которых ждут аплодисменты. Наступил вечер. Без четверти десять все тщательно перепроверили: револьвер (я его заранее украдкой вытащил и тщательно протер), перчатки, одеяло. Я показал Шамбону, как согнуть палец убитого на спусковом крючке.

— К тому же я буду рядом, в коридоре. Ну, пошли.

Я сел в коляску, и мы бесшумно проследовали по огромным коридорам до самого гаража. Время от времени я зажигал электрический фонарик, но тусклый свет темнеющего неба проникал в высокие окна галереи. Гараж, как и ожидалось, был пуст. Я нашел самое укромное место и прошептал:

— Теперь ты можешь вернуться на кухню. Я сам справлюсь.

Не тут-то было. Он тоже решил остаться. Ждать пришлось недолго. Внезапно ворота медленно качнулись и поползли, фары осветили дальнюю стенку. Рука в перчатке намочла, но я твердо сжмал револьвер. Машина медленно двинулась вперед, затем остановилась, и Фроман выключил фары. Я развернул коляску в темноте и подался вперед.

— Господин Фроман?

— Что?

От неожиданности он обернулся. Я протянул руку, почти что дотронувшись до него, и выстрелил, кажется, без малейшей ненависти. Просто это нужно было сделать. От точного попадания Фроман стукнулся о кузов и стал медленно сползать, как в плохом фильме. Я осветил его фонариком. Робко подошел Шамбон.

— Он мертв?

— Как видишь. Помоги мне.

Я вытащил костыли и, с позволения сказать, встал. Подтащить тело на мое место было не так-то просто, но Шамбону в пароксизме ликования, смешанного с ужасом, это удалось.

— Одной рукой толкай, другой поддерживай,— посоветовал я.— Не вздумай уронить по дороге.

Странный кортеж тронулся. Резиновые шины, костыли с резиновыми наконечниками, каучуковые подошвы. Сдерживаемое дыхание. Он остановил коляску напротив кабинета Фромана, и я, в свою очередь, придержал тело. Все остальное, в сущности, было чрезвычайно просто.

По телефону он говорил безупречно, с той долей эмоции, которая как раз была необходима. Затем он ловко, без малейшего отвращения, обхватил труп. Словом, делал абсолютно все, что требовалось. Последний взгляд на сцену. Занавес.

Зато сразу после того, как мы вернулись в мою комнату, он сильно ослаб и едва не потерял сознание. Тут, признаюсь, я слегка запаниковал. У меня было совсем мало времени, чтобы привести его в чувство. Шамбону следовало снова сесть за руль и вернуться в замок как ни в чем не бывало, будто из кино.



К счастью, в силу профессиональной необходимости я научился оказывать первую помощь. Массаж, алкоголь, нашатырь... а также слова — не надо забывать, как нужны комплименты, лесть, вся мягкость и кротость, на которые только способен язык, дабы восстановить ослабевшее самообладание. Он пришел в себя и с гордостью улыбнулся.

— Вставай... Иди... Говори... Кстати, Жермен едва взглянет на тебя, когда будет открывать ворота. А потом, когда прибудет полиция, ты имеешь полное право изобразить потрясение. Bravo, старина. Надо продержаться еще час, но самое страшное уже позади.

Он пригладил волосы, осмотрел себя в последний раз и уехал.

Я поправил одеяло — на нем не было ни пятнышка, — сел в кресло, поставил рядом костыли, как уставший после боя солдат ставит ружье. С нежностью смотрел я на свои мертвые ноги. Долго поглаживал их.

Вот теперь я чувствую себя инвалидом. Фроман умер — и словно большой любви пришел конец. Еще совсем недавно, едва проснувшись поутру, я думал о нем. Из этих мыслей складывалась жестокая радость моих долгих дней. Я хитрил с ним. Мысленно разговаривал. Провоцировал. Оскорблял, когда, передвигаясь на костылях, задевал за мебель. Более того, он был верным спутником моих ночей, когда тоска по утраченному не давала мне уснуть. Я не говорил об этом Изе, но часто у меня болела спина, и я лежал, вытянувшись на постели, полный бессилия перед будущим. Я тщательно изучал его лицо, которое знал наизусть, как географическую карту: толстый нос, усыпанный черными точками, глубокие морщины, которые с двух сторон будто поддерживали веки, наполовину скрывающие глаза, как вечно опущенные шторы. Мы смотрели друг на друга, и в конце концов мне становилось невмоготу, настолько запечатлелся живым его образ в моей памяти. Как, бывало, давным-давно я дурачился, разрисовывая портреты в школьных учебниках, так и теперь я украшал его чудовищными усами, пышными бакенбардами, наподобие сахарного беэе. Гнал его прочь. Ставил к стенке. Грозил расстрелом. Орал на него. Приятные минуты мести! Само собой, в порядке компенсации позволяю себе слегка отыграться. Например, обедаю в столовой вместе с Изой и Шамбоном. Когда хочу, иду в библиотеку. Устраиваюсь с книгой в салоне, разваливаюсь в кресле новопреставленного господина Президента. Воображаю, что это мой замок, однако всюду, как деревянная лошадка за ребенком, за мной волочится тоска. Иза тоже угрюма. Она обязана носить траур, посещать кладбище, отвечать на соболезнования, подписывать всевозможные бумажки. Выборы на носу, и она принимает друзей Фромана, которые просят ее участвовать вместо покойного в различных комитетах, фигурировать в списке, который тот должен был возглавлять. Она делает вид, что погружена в неутешную горе, что вызывает недоверчивые взгляды.

Я уж не говорю о Шамбоне. Тот похудел. Ходит боком, словно постоянно оглядывается, не идет ли кто за ним. И пьет, чтобы приободриться. Он не на шутку меня беспокоит. На заводе он —



объект скрытой травли. Натякается на надписи: «Шамбон — дурак» или «Шамбон — зануда». Классический номер.

— На кого я похож? Что я им такого сделал, а? — возмущается он.

— Чепуха, старина. Они издеваются над тобой ради удовольствия раздавать затрецины.

— Затрецины — мне! Да если бы они знали, что я... то есть вы и я...

— Замолчи, идиот. Забудь об этом.

— А Иза?.. Она знает?.. Вы ей рассказали?

— Никогда в жизни.

— А как бы она реагировала, если бы знала?

— Поговорим о чем-нибудь другом.

Разумеется, Иза ничего не знает. Может быть, я и мог бы рассказать ей обо всем, так как уверен в ее преданности, но что-то меня удерживает. Угрызения совести, сомнения, злопамятство... Она была его женой. Пусть так! Как и я, она плывет по течению. Кстати, визиты комиссара начинают ее беспокоить. *Ла Колиньер* по-прежнему помойка, в центре — сумасшедшая старуха, продолжающая обвинять всех на свете. Чего я особенно боюсь, так это того, что Шамбон, которому осточертеют упреки, брякнет: «Ну хватит, согласен, это я его убил!» В присутствии матери этот болван способен приписать убийство себе, лишь бы доказать, что он не такая рохля, как она думает. Ему страшно, и в то же время он испытывает огромное самодовольство; становится фамиллярным со мной, без стука входит в мою комнату, начинает иронически высказываться по поводу трюков каскадеров, расскас о которых некогда заставлял его трепетать.

Я бы охотно придушил его. Кстати, он начинает ускользать от меня. Если бы я мог предвидеть, что комедия, разыгранная в кабинете Фромана, вызовет такие перемены в его поведении, не знаю, стал бы я убивать старика. Может, я и не справедлив. Но было бы куда спокойнее, если бы он согласился уехать в Гавр, как намеревался. А может, есть средство заставить его уехать? Это средство в руках Изы. Но нет. Только не это! И вот я снова поглощен сложной махинацией. Едва ли не в восторге от новой интриги. Бедная моя голова! Хоть бы она выручила меня на этот раз!

— Вы меня не ждали, господин Монтано?

— О, я всегда вас жду. Добро пожаловать! Чем обязан? Опять старая дама?.. Рюмочку портвейна, комиссар?

— Только быстро. Вы ведь знаете, мне не положено. Конечно, старая дама.

— Угощайтесь и присядьте хоть на минуту, бог ты мой!

Комиссар, хоть и утверждает, что торопится, на самом деле никуда не спешит.

— Уверяю вас, она задала нам загадку, бедняжка. Я уж начинаю сожалеть, что расстался с марсельскими бандитами. В ее распоряжении целая агентурная сеть из приятельниц, более или менее дряхлых старух вроде нее, которые целыми днями висят на телефоне. Болтают, Плетут, что взбредет в голо-



ву. Главным образом, злословят. Но весь этот мирок тесно связан с сыновьями, зятьями, друзьями, кузенами. Слухи распространяются со скоростью телеграфа, и вот уже кумушки нашептывают друг другу, что Фроман не покончил с собой.

— Да что вы говорите? Подумать только! — вставляет Монтано. — Впрочем, я здесь как улитка в своей раковине — до меня молва не доходит. Значит, сумасшедшая старуха твердит свое?

— Упорнее, чем когда-либо, — подтверждает Дрё. — Ей припила в голову одна деталь, которую она теперь раздувает. Зря вы живете, как устрица, вам все-таки следовало бы знать, что накануне смерти у Фромана с женой и племянником произошла бурная сцена. Он рассказал о ней сестре. Она утверждает, что передает слова брата почти точно: «Через неделю я тут очищу помещение». На следующий день он умер.

— Она только сегодня об этом вспомнила?

— В ее возрасте с памятью туговато.

— А вам не кажется, что она фантазирует?

— Может быть. Однако достаточно печати и телевидению распусть эту новость, как на нас свалится миленькая политическая кампания. Когда я говорю «на нас», я, разумеется, имею в виду себя. По словам старой дамы, Фроман якобы был извещен об отношениях господина де Шамбона с вашей сестрой... словом, вы меня понимаете?

— Фроман мертв, а старуха свихнулась, — миролюбиво говорит Монтано.

— Но эта сцена действительно имела место?

— Я бы сказал — небольшая стычка между двумя мужчинами, которые не любили друг друга.

— Ваша сестра и господин де Шамбон не в... Словом, между ними ничего нет?

— Вот и вы полагаете, что мы, шуты, на все способны, — отрезает Монтано. — Иза — безупречная вдова, даю вам слово. Хотите знать мое мнение?

— Будьте любезны.

— Так вот, это у Фромана делишки не клеились. Его цементное предприятие не слишком-то процветает. В политическом плане он был мишенью для нападок. Старуха постоянно настраивала его против нас. А что, если один из противников внушил ему мысль, что все на свете его обманывали... а? Вы так не думаете?

Дрё встает и машинально потирает поясницу.

— То, что думаю я, не имеет значения. Важно то, что думают другие.

Он рассеянно листает валявшийся на кровати журнал, на мгновение останавливает взгляд на роскошных японских мотоциклах.

— Признайтесь, вам этого не хватает.

— Немного.

— Чем же вы занимаетесь день-деньской?

— Ничем. А для этого требуется большая выучка.

— Странный малый, — бормочет Дрё. — У вас, конечно, есть собственное мнение насчет этого таинственного самоубийства.

Но вы предпочитаете держать его при себе. Я не тороплюсь. Как-нибудь вы поделитесь со мною своими соображениями.

В самом деле, нужна недюжинная выучка, чтобы привыкнуть к роли зрителя. В журналах я вычитал, что инвалиды объединяются ради того, чтобы жить, как другие. Они правы, если, по крайней мере, им удастся устраиваться самостоятельно. Но я! Ведь я уже был человеком, слившимся с двумя колесами; они были живыми, быстрыми, были неотъемлемой частью моего существа, моим продолжением. Мотоцикл — не протез. Теперь я прикован к этой абсурдной коляске, которую должен тащить, энергично разворачивая плечи. Представьте себе раненую чайку, ковьялющую, как утка на птичьем дворе. В конце концов я знаю, чего хочу. Потому и ухожу в подполье. Я не приемлю свое увечье. Воспринимаю его как гнусное и чудовищное наказание. Свет мне не мил. Пусть он обходится без меня. Пусть убивают, пусть режут друг друга где угодно. Меня это мало трогает, так как я навеки принадлежу к раздавленным, увечным, безногим отбросам. Даже если Дрё докопается до истины, что из этого? Меня бросят в тюрьму? Смешно. Я уже в тюрьме. В передвижной тюрьме, из которой не убежишь. Я ворошу воспоминания, драгоценные образы, вижу толпы детей, которые протягивают мне клочок бумаги, ручку. Эти возвраты в прошлое могут длиться долго. Остаются также мелкие сплетни Жермена, когда он приносит мне еду, перестилает постель, убирает в комнате. Он знает, что его болтовня доставляет мне удовольствие. Рассказывает о том, что творится в городе, о происшествиях, инцидентах во время избирательной кампании, а также о старухе, которую торжественно зовет «госпожа графиня», о том, что она невыносима, у нее собачий характер и ее приятельницы ничуть не лучше.

— Ее часто навещают?

— Почти что ежедневно, от четырех до шести. Дамочки с пекинсами, чай с бисквитами... Жермен здесь, Жермен там... Будто я Фигаро.

Я перезаряжаю свою маленькую внутреннюю кинокамеру. Чай, старые дамы... Судачат об «этой интриганке», об «этом безногом». Неизвестно, откуда они взялись... О, в конце концов полиция докопается до истины.

Я открываю глаза. Моя комната, фотографии, трубка, кiset на камине — неизменный декорум моего существования. Да. Требуется большая выучка, чтобы переносить все это. К счастью, до Шамбона рукой подать. А Шамбон — нескончаемый нытик, чванливый, постоянно оглядывающийся на самого себя и на то, какой эффект он производит. Он входит, закуривает легкую сигару (как ему это не идет!).

— Признайтесь, она на меня сердится.

Он имеет в виду Изу. Еще недавно Шамбон довольствовался намеками, сохранял определенную сдержанность. А потом мало-помалу стал поверять мне свои волнения, и именно эта жажда признания, желание привлечь к себе внимание, разыгрывать роль персонажа во власти чувств, чтобы исподтишка стать хо-

зяном положения, делает его столь опасным. В определенном смысле он хуже своего дяди.

— О, я вижу, что сердится.

— Да нет же! Она устала, вот и все. А ты не можешь оставить ее в покое.

— Но я молчу.

— Да. И притом — смертная тоска в глазах, услужливость униженного любовника.

— Я люблю ее, Ришар.

Еще один шаг к сближению. До сих пор он не смел меня так называть. Теперь он обращается ко мне как к шурину. Я отворачиваюсь.

— Слушай, Марсель. Давай начистоту. У тебя никогда не было любовниц?

Выразительный и стыдливый взгляд исподлобья.

— Ну, отвечай.

— Нет, — шепчет он. — Это меня не интересовало.

— О, о! Не рассказывай мне сказки. Но тем не менее сразу видно, что ты ничего не смыслишь в женщинах.

— Ну знаете, это уж слишком!

— Иза заслуживает уважения. Ты не сводишь с нее глаз, как улитка с капустного листа. А она, представь себе, в трауре.

Он зло смеется.

— Она не была в трауре, когда позволила себя обнять.

«А вот за это, любезный, ты мне заплатишь», — думаю я, но продолжаю, не моргнув глазом:

— В течение какого-то времени она себе не принадлежит, тебе следует это понимать. Позднее...

Он хватается за слово.

— Вы думаете, позднее? Но что значит позднее? Через месяц, два?

Внезапно он с яростью бросает окурок в камин.

— Не думайте, что я буду ждать два месяца. Этот вид оскорбленной вдовы — не выйдет! Вы оба смеетесь надо мной!

Он шумно дышит. От веснушек лицо кажется изъеденным молью.

— Если уж на то пошло, мне довольно сказать одно слово...

Резким толчком я швыряю коляску, хватаю его за руку.

— А ну-ка, повтори... я хочу его услышать, это слово!

Он пытается вырваться. Ему страшно. Еще немного, и он поднимет локоть, чтобы защитить лицо.

— Нет, нет... Я неудачно выразился. Я хотел сказать... если я сделаю ей предложение... может, она этого ждет.

Краски возвращаются к нему, и, чувствуя себя снова в выгодном положении, он тихонько разжимает мои пальцы, мило улыбается. Привычной улыбкой избалованного ребенка.

— Ну и силища же у вас!

Затем мрачно продолжает, словно страдая оттого, что напрасно навлек на себя подозрения:

— Она вышла замуж за дядю. Но почему не за меня?.. Много ли мне надо? Немножко любви, и только. Я положил к ее ногам...



Он разводит руками, будто пытается измерить свое самоотречение, но в конце концов отказывается от этого намерения.

— Все, все. Покой... безопасность... здоровье. Вот именно здоровье, и все для того, чтобы получить от ворот поворот.

— Бедняга,— бросаю я.— Пойди успокойся... Ты же понимаешь, что я не могу рассказать ей, что произошло в кабинете твоего дяди.

— Я стал бы ей противен?

— Нисколько. Она бы дрожала от страха за тебя, за меня, за всех нас.

Лицо его светлеет.

— Что может быть прекраснее,— подхватывает он восторженно.

— Осторожно, Марсель. Бывают моменты, когда ты хуже ребенка. Думай о ней в первую очередь. Пойми же, эта внезапная смерть потрясла ее. И помолчи. Перестань кружить вокруг да около. А потом посмотрим... Я кое о чем подумал.

Он садится на одну ягодицу, наклоняется ко мне, устремляет жадный взор, словно я намереваюсь рассказывать ему о новом трюке.

— Нет,— говорю я,— не теперь. Дай созреть.— И добавляю в порыве внезапного вдохновения: — Ты и не догадываешься, почему она тебя избегает и кажется такой грустной. Угрызения совести, бедняжка Марсель. Даже мне она ничего не сказала. Но я-то хорошо ее знаю. Она вбила себе в голову, что твой дядя убил себя из-за нее и из-за тебя. И эта мысль невыносима.

Пораженный этим признанием, Шамбон качает головой, стискивает ладони.

— Да, да,— шепчет он.— Об этом я и не подумал. Она чувствует свою вину.

— Вот именно. Дядю твоего она, конечно, не любила. Да только самоубийство для хрупкой натуры — удар. Уверен: она считает, что сейчас ты со своим любовным пылом просто бессердечен.

Он уже больше не пыжится. Он подавлен. А я продолжаю:

— Сиди спокойно. Перестань изображать из себя конспиратора, у которого будто на лбу написано: «Если бы я пожелал заговорить!» Ты слушаешь меня?

Нет. Он не слушает. Встает. Вздвонован до слез.

— Я все ей скажу. Тем хуже для меня.

— Боже, какая бестолочь! Сядь и подумай. Допустим, ты пойдешь и выложишь ей всю правду. А что дальше? Нужно будет идти до конца, выдать себя полиции, а заодно уж и меня. Потому что она потребует именно этого. С ее честностью другого выхода нет.

Его бьет нервная дрожь. Он пытается закурить еще одну сигару, чтобы успокоиться, и мне приходится подносить ему зажигалку.

— Должен же быть выход,— говорит он.— Но, честно говоря, я не вижу его. Только что вы думали...

— Совершенно верно. Я думал об одной идее твоей матушки, может, тут есть смысл покопаться.

— Так. А в чем дело?

— Пока что рано говорить. Повторяю, подобные вещи нельзя импровизировать. Теперь иди. Ты меня утомляешь.

Он уходит. Все еще не может успокоиться. Достаточно взглянуть на него, чтобы понять, что он что-то скрывает. Вынашивает какой-то тайный замысел. Я чертовски злюсь на себя. Будто не мог в одиночку отправить Фромана на тот свет. И вот из-за этого кретина великолепное здание, построенное мною, того и гляди, рухнет. Ведь совершенно очевидно, он не выдержит. Зачем ему непременно являться в полицию с повинной? Почему бы, напротив, не сказать Изе: «Если вы мне не уступите, я заговорю». Предлог для шантажа беспроигрышный. Правда, требующий характера. Однако бывает, и трусы стоят смельчаков.

Я растягиваюсь на постели. Болит спина, болит поясница. Это располагает к размышлению. Выборы через неделю. Пусть они пройдут. Мне нужно, чтобы меня не коснулась та странная лихорадка, которая охватила телевидение, радио, газеты и добралась даже до моего убежища. Не мешает усвоить факт: отныне Шамбон — источник опасности. К тому же я не допущу, чтобы он лапал Изу своими грязными руками. Нет, выбирать мне не приходится. Но я предвижу весьма тернистый путь. Сначала надо подготовить Изу, что не слишком трудно, так как ей я открываю истину, саму жизнь. Милая Иза!

Сейчас она придет, как обычно приходит по вечерам, с тех пор как умер Фроман. Удостоверится, что у меня все под рукой — ночник, каталка, костыли. Побудет со мной, и я наконец смогу ощутить ее трепет, ее присутствие, ее руки, проворные, нежные, источающие аромат. Я ничего ей не скажу, лишь попрошу: «Посиди со мной. Поговорим о Марселе».

Она начнет протестовать:

— О нет! Неужели и здесь нельзя без него обойтись?

В ней столько огня, и я так люблю, когда глаза ее сверкают гневом.

— Иза, мне кажется, мы сможем удалить Марселя, если ты мне поможешь. Он без ума от тебя, но не знает, как привлечь твое внимание. Что ты хочешь? Это его натура. Надо, чтобы на него смотрели, были полны им. Наверное, он всегда мечтал стать чьим-нибудь идиолом. А ты в его собственном доме относишься к нему, как к постороннему.

Иза недовольна. Неужели я на стороне Шамбона? Успокойся, малыш! То, что происходит, — моя вина. Ведь я сам после смерти Фромана сказал тебе: брось этого идиота. Но я ошибся. Я полагал, что он у меня в руках. А он воображал, что ты его любишь. Так вот... Теперь он готов на все, лишь бы ты ему досталась. Потерял голову.

Я пытаюсь засмеяться, но вижу тревогу в ее глазах.

— Вот так, — говорю я. — Он одновременно и злодей, и жертва. Этот мальчик — персонаж из мелодрамы. Но он способен погубить нас. Одним словом, его надо срочно обуздать.

— Каким образом?

Милая моя Изочка! Смотрит мне в рот точно так же, как этот мерзкий Шамбон. Надо думать, я неплохо говорю.



— Как? Да очень просто. Слушай меня внимательно. Мы с ним сочиним две-три полные угрозы анонимки по адресу Фромана, а ты эти анонимки найдешь, разбирая бумаги в кабинете мужа.

— Ничего не понимаю.

— Все просто. Ты их покажешь Шамбону, и при этом будешь выглядеть, как и полагается, взволнованной. Еще бы! Фроману угрожали. Вот почему он застрелился... Но если шантажировали его, то почему бы теперь не шантажировать его семью? И ты воскликнешь: «Марсель, вы ведь тоже в опасности». Он немедленно включится в игру. Скажет покорно: «Ну конечно, и мне угрожают. Кто-то звонит по телефону. Только какое мне дело? Чего ради я стану защищаться? Я слишком мало дорожу жизнью». А ты ответишь: «Гадкий вы человек! Будто вы не знаете, что вас любят!»

Мы хохочем — привыкли дурачиться, как дети. Правда, Иза быстро спохватывается.

— Если я это произнесу, разве его удержишь!

— Да не в этом дело! Ну, конечно, он с ума сойдет от радости. Выглядеть жертвой в глазах любимой женщины — какова роль! Ну, а если в этот самый момент, желая дать понять, что ты нежно заботишься о нем, ты посоветуешь ему держаться некоторое время подальше, например, уехать в Гавр, он не посмеет отказаться.

— А если откажется?

— Если откажется?

Я открываю глаза. Я один. Ну разумеется, он откажется. Я хорошо рассчитал. План готов. С такими, как он, нечего церемониться...

Затая с анонимками пришла Шамбону по душе. Ему никогда не приходилось их писать, и он мысленно наслаждался такой возможностью. Без малейшего риска обретаешь власть, а такое может разжечь сладострастие мученика и мучителя одновременно.

Я чновъ возымел над ним влияние. Такой простой способ прослыть героем в глазах Изы — едва ли не гениальный. Роль убийцы он сыграл также недурно. Однако пришлось бы признать, что он был всего лишь подручным палача. Его помощником. Чуть ли не слугой. Зато теперь! Быть тем, кого выслеживают, в кого целятся. Ему приходилось читать в газетах признания убийц. Само собой, никто не помышляет о том, чтобы не сводить с него глаз, писать заметки о его привычках, выбирать наиболее удобный для убийства момент. Но можно сделать так, словно... Можно сыграть. Как только я подам ему сигнал, он влезет в шкуру персонажа, жизнь которого висит на волоске. Естественно, если бы Иза проявила к нему хотя бы какой-то интерес, он не стал бы подставлять себя под пулю. Был бы осторожен. О, какие волнующие мгновения его ждут! Какие разговоры с глазу на глаз! Я убежден, он помышляет о самых изысканных эмоциях, что не мешает ему соразмерять все трудности затеянного. Я знал раньше таких трусливых хвастунов,



которые без конца выдвигали возражения, прежде чем действовать. Иза! Почему бы ей не могла прийти в голову мысль привести в порядок бумаги покойного? И почему бы эта идея не пришла так поздно? Что она надеялась найти? И почему?

— Слушай, Марсель, если ты смалодушничаеть...— говорю я. Оскорбление нестерпимое.

— Помилуйте, вы ведь меня знаете. Я тоже могу нападать. Но вы же сами научили меня предусмотрительности. Совершенно естественно, что я задаю вопросы.

— Хорошо. Вот первый ответ. Ничего удивительного, что супруга, едва оправившись от удара, пытается, хотя бы немного, узнать о прошлом усопшего. Поставь себя на ее место. Кстати, я ей подброшу эту мысль. А вот второй ответ. Траур она носит не так уж давно. Вполне нормально, что ее любознательность пробуждается именно теперь. Третий ответ: ее все еще преследует мысль об этом самоубийстве. Может, она надеется обнаружить какое-нибудь письмо, черновик.

— А кто будет писать анонимные письма? Только не я! Мой почерк слишком легко узнать, даже если я постараюсь его изменить.

— Надо вырезать буквы из газет.

— Почему вы думаете, что Иза наткнется на них?

— Надо скомкать письма, как будто Фроман собирался их выбросить, спрятать в какой-нибудь ящик письменного стола среди ненужных вещей, и Иза обязательно откопает.

— Сколько понадобится писем?

— Два-три. Больше не нужно. Иза должна понять, что раньше были и другие.

— Что именно надо говорить?

— Какой же ты зануда, старина. Скажешь, что тебя оскорбляют по телефону.

— Как, например?

— Допустим, обзывают грязным капиталистом... Как видишь, подпустить чуть-чуть политики, и Иза может подумать, что Фроман застрелился по причинам, связанным с выборами.

— Да, но ведь я никакой не кандидат.

— Несчастный... Как же ты меня бесишь! Ты компаньон покойного, живешь в замке *Ля Колиньер*, землевладелец, на заводе тебе достается. Сам увидишь, как Иза побледнеет, можешь мне верить. Она скажет: «Марсель, я так ругаю себя за свой эгоизм». А ты...

Он прерывает меня.

— Да, да. Что будет дальше, я сам знаю. Не беспокойтесь.

— Пропустим первый тур выборов. Мне как раз хватит времени, чтобы подготовить почву, поделиться с Изой своими сомнениями. Ведь это факт: действительно стреляли в расклейщиков афиш, действительно подожгли дежурку. Жаль, мне только сейчас пришло в голову, что Фроман мог стать жертвою тайной кампании запугивания. И Иза клонет на эту удочку. Давай, малыш Марсель,— дело в шляпе. Только поосторожней с матерью. А перед Изой старайся выглядеть озабоченным, рассеянным, будто трудно скрыть, что у тебя серьезные неприятности.

Итак, на какое-то время я спокоен. Завтра «сестренка» выведет меня в парк, как это она нередко делает, чтобы дать Жермену убрать и проветрить комнату.

Я объясняю ей, каким образом мы сможем выжить Шамбона. Она считает, что я здорово все придумал. Однако Шамбон будет писать, звонить, ломать комедию, изображая несчастного, чахнувшего от любви, а затем вернется. Что тогда?

— Посмотрим,— говорю я.— Тогда много воды утечет. Придется поработать.

Она бросает на меня выразительный взгляд. Но я великолепно владею своим лицом. Остается только закончить разработку сценария с обнаружением писем, а также с вырезками из газет. Чепуха.

Шамбон подключается ко мне. Приносит газеты, журналы. В печати только и разговоров, что о результатах первого тура. Левые... Правые... Баллотировка... У сторонников Фромана не слишком выгодное положение. «Плевать на это, Марсель, правда ведь?» Он поддакивает. В данный момент важно только одно: составить краткий убийственный текст.

— Что ты предлагаешь?

Шамбон трет щеки, глаза, думает. «Последнее предупреждение»,— начинает он.

Я шумно одобряю:

— Прекрасно. Это доказывает, что твоему дяде не давали покоя.

Он улыбается и продолжает:

— «Убирайся с дороги, или тобой займутся».— Сразу же поправляется: «Сволочь, убирайся с дороги... и т. д.». Со «сволочью» лучше, правда?

— Согласен. Сразу можно догадаться, что твой дядя замарал себя в каких-то темных делишках. Блестяще!

Он пыжится, кретин. Выхваляется. С каким удовольствием я расквасил бы ему морду!

— Ты подал мне идею, Марселик. Сейчас мы состряпаем второе письмо. Пстой... По-моему, так: «Хватит махинаций... Убирайся, иначе...»

Он вежливо качает головой:

— Мне нравится «махинации». Но можно было бы добавить: «Сволочь!»

— Ладно. Если ты настаиваешь.

Когда я расскажу Изе об этой сцене, она умрет со смеху. А теперь — за ножницы.

Шамбон тащит два листа белой бумаги, клей и начинает раскладывать вырезанные слова, сидя на ковре, как мальчишка, сочиняющий головоломку.

Затем складывает каждый лист вчетверо.

— Без конверта и без даты,— говорит он.— Но, судя по тексту, буквы старые. Можно ли нас подловить?

Согласен. Опасности ни малейшей. Надо выглянуть в коридор. Мы одни. Входим в кабинет Фромана. Я хотел было смять оба письма, но, подумав, решил, что лучше сунуть их в папку, в которой собраны статьи самого Фромана.

— Вы думаете, она найдет их? — спрашивает он.

— Без сомнения.

В следующий понедельник — полнейший провал. Сторонники Фромана потерпели поражение.

— Однако его последняя статья была просто отличной, он сам читал мне черновик.

— Я не в курсе, — говорит Иза.

— Как! Разве вы не читали?

— И я не читал. Нельзя ли посмотреть? — замечаю я.

— Не знаю, куда он ее подевал, — продолжает Шамбон.

— А я знаю, — вставляет Иза. — У него ведь досе на все случаи жизни. Для счетов и накладных. По банковским делам — всего пять или шесть. Не сомневаюсь, что и по выборам тоже. Надо будет всем этим заняться, если у меня хватит мужества.

— Может, хотите, чтобы я поискал? — предлагает Шамбон.

— О, нет, вы не найдете! Лучше уж я сама. Мой бедный друг предпочел бы, конечно, меня.

Глухое рыдание. Сокрушенный взгляд Шамбона. Он встает, чтобы предложить ей руку. Мы пересекаем двор. Момент подходящий. Если этот кретин, Шамбон, подыграет нам, а Иза будет на высоте, мы освободимся от него в любом случае. Иза останавливается напротив кабинета.

— Посмотрим. Личные дела он хранил слева.

Она открывает ящик. Я подаю Шамбону знак, чтобы он пригнулся. Иза достает папку, читает этикетку: «ВЫБОРЫ». Подвигает Шамбону, усаживается в кресло.

— Поищите сами. Мне так странно, что я здесь.

Шамбон смотрит на меня растерянно, словно актер на сцене. Вытаскивает несколько машинописных листков и вдруг вскрикивает:

— Что это такое?

Дрожащей рукой он держит оба письма, и я-то знаю, что он не притворяется. Протягивает их Изе. Та, неподражаемая в роли неутешной вдовы, медленно читает: «Сволочь, кончай грязные делишки. Убирайся». Подносит руку к горлу: «Не может быть!» Будто желая помочь ей, я беру второе письмо и четко произношу слова: «Сволочь, убирайся с дороги, или придется тобой заняться».

Гробовое молчание. Затем Иза испускает мучительный вздох и заламывает руки.

— Так вот оно что: ему давно угрожали, — говорю я. — Вот почему у него так испортился характер. И он устроил вам сцену незадолго до смерти.

— В голове не укладывается, — шепчет Иза. — От меня он ничего не скрывал.

Я наступаю на ногу Шамбону, подаю ему знак действовать.

— Милая Иза, — говорит он. — Если у мужчины, которому угрожают, есть гордость, он предпочитает молчать.

Надо признаться, тон верный. Если бы ставка не была столь велика, я бы от души позабавился.

Иза с удивлением смотрит на него.



— Вы были в курсе?

Шамбон делает вид, что хранит секрет, который ему не терпится выболтать.

— Ну говорите же.

— Зачем? Однажды он сказал мне, что получает письма.

А мне звонят.

— Как? Вам угрожали, Марсель?

— И до сих пор угрожают.

— Но почему? Почему?

— Вот именно. Мне это неизвестно. Никаких темных делишек, никаких сплетен никогда не было.

Иза встает, делает шаг по направлению к Шамбону.

— Марсель, я ругаю себя... Ваше отношение ко мне казалось неуместным. Я не понимала, что...

Я удаляюсь к двери. Теперь надо предоставить событиям идти своим чередом. На Шамбона можно положиться. Он говорит взволнованно:

— Не исключено, что дни мои сочтены. В любой момент можно получить пулю в лоб. Со смерти дяди не проходило дня, чтобы я не боялся.

Он забыл, что я все еще здесь. Берет руку Изы, подносит ее к губам.

— Я не цепляюсь за жизнь, поскольку безразличен вам,— продолжает он.

Иза ловит мой взгляд. Дает понять, что сцена становится ей в тягость. И все же отвечает:

— Нет, Марсель, вы не умрете, вы найдете убежище.

— Это не имеет значения.

— Вы хотите огорчить меня.

— Значит, вы хоть немного дорожите мною?

Он ведь такой, Шамбон, прилипчивый. Занудный. Не отвяжется. Я не выдерживаю, вмешиваюсь:

— Марсель, старина, тебе надо было нас предупредить. И давно тебе угрожают?

— С тех пор, как умер дядя. Грозятся убить. Мне не хотелось бы разделить его участь.

— Конечно, Марсель, конечно. Но сейчас не время.

И вдруг он выкидывает номер, о котором мне не проронил ни звука: достает из кармана футляр, открывает его. Кольцо с крупным бриллиантом. Иза пятится.

— Марсель, вы с ума сошли!

— Нет,— говорит он.— Просто, если со мной что-нибудь случится, я буду счастлив при мысли, что этот сувенир у вас.

Вот ведь как провел меня. Не исключено даже, что он понял, почему я хотел его удалить. Бросает на меня через плечо иронический взгляд. Впрочем, нет. Вряд ли он настолько хитер. Иза в полном замешательстве.

— Очень мило с вашей стороны,— говорит она.

— Примите,— настаивает он.— Это не обручальное кольцо. Я не посмел бы. Это всего лишь маленький подарок на память обо мне.

На лице его появляется жалкая улыбка обреченного.

— Поживем — увидим. Во всяком случае, я не собираюсь уезжать. Ничего не бойтесь, Иза.

Он решительно сует ей в руку футляр и подвигает к себе телефон.

— Что вы собираетесь делать? — спрашивает она.

— Звонить в полицию, черт возьми. Если бы мой дядя предупредил полицию, он, конечно, не умер бы. Я хочу жить ради вас, Иза, или, по крайней мере, попытаться. Алло... Марсель де Шамбон. Мне хотелось бы поговорить с комиссаром Дрё... Алло? Ах, занят... Не откажите в любезности передать ему, что я хотел бы увидеться с ним как можно скорее — в деле Фромана появился новый факт... Как? Да, мы его ждем. Благодарю вас.

Все произошло так быстро, что я не успел вмешаться. Тем не менее не теряю самообладания. По-прежнему контролирую положение.

— Дрё сейчас приедет, — говорит Шамбон. — Я попрошу его защиты.

— Вашей матери известно... что это за телефонные звонки? — спрашивает Иза.

— О, нет! Дядя даже рта не открывал по поводу этих писем. Не буду же я первый поднимать шум.

— А почему вы до сих пор не поставили комиссариат в известность?

Он колеблется. Я спешу подсказать ему:

— У Марселя не было доказательств.

Он пускается в разглагольствования.

— Верно. Ведь писем в качестве улики нет. Телефонные звонки следов не оставляют. Комиссар мог не принять мои слова всерьез.

— И все же, — замечает Иза, — нам было бы спокойнее, если бы вы на время уехали. Из-за выборов страсти разгорелись, но все утрясется.

— Не уверен, — возражает он. — И потом почему я должен бежать?.. Послушайте меня, Иза.

Он увлекает ее в коридор и что-то шепчет на ухо. Теперь уж мне нечего миндальничать... Не исключено, что я оставил бы ему шанс на спасение. Но теперь это невозможно. Иза в конце концов пошлет его к черту, а он, вне себя от ярости, все выболтает. Этот идиот еще и псих в придачу. Есть ведь такие сумасшедшие, которые не колеблясь пойдут на самоубийство и других за собой потащат. Один номер с кольцом чего стоит! Ну и подписал себе смертный приговор! Слышу, как во двор въезжает машина.

— А вот и комиссар, — восклицает Иза. — Пойду встречу его.

Она оставляет Шамбона, а тот направляется ко мне, сияя во весь рот.

— Я, кажется, был на высоте. Комиссар не откажет мне выделить кого-нибудь из своих людей для охраны замка. А у Изы вернется вкус к жизни. Я позабочусь о ней, вот увидите.

Я привык владеть собой. Руки, сжимая костыли, не дрожат. Я выстреливаю в него взглядом, но улыбаюсь в ответ.

— Ты был великолепен. Остается убедить Дрё.

Комиссар уже на пороге, сразу видно — торопится, раздражен.

— Что еще случилось? — спрашивает он довольно грубо.

— Посмотрите, что мы тут нашли, — начинает Шамбон. Он протягивает ему оба письма — Дрё довольно одного взгляда.

— Ну и что?

Шамбон в смущении.

— Они лежали в папке. Там... Не хотите ли взглянуть?

Дрё пожимает плечами.

— У меня на письменном столе гора таких писем, — говорит он. — Если все принимать всерьез!

— Но мне тоже угрожают, — протестует Шамбон.

— Вам пишут?

— Нет. Звонят.

— И что же вам говорят?

— Например, что прикончат меня... что я стою не больше своего дяди. В таком роде.

— Это все?

— Разве этого мало?

— Любезный мой господин, вы даже представить себе не можете, скольким людям угрожают по телефону или в письмах в это самое время, которое мы только что пережили. Дело в том, что подобные глупости остаются без последствий, уверяю вас.

— Вы забываете, что моего дядю довели до самоубийства.

Наш Шамбон смертельно уязвлен. А Дрё все это кажется забавным.

— Не надо драматизировать, — говорит он. — Пока что мне известно одно: никто вашего дядю не доводил до самоубийства. А вот вам доказательство. Господин Фроман не придавал никакого значения этим письмам; он никогда не обращался по этому поводу в суд.

— Зато я подам жалобу в суд, — восклицает Шамбон. — Я прошу, чтобы мой телефон подключили к прослушиванию.

— Это ваше право, месье.

— Я требую также, чтобы поместье взяли под охрану.

Комиссар смотрит на меня и на Изу так, словно призывает в свидетели, затем сует оба письма в карман.

— Вы многого хотите. Во-первых, у меня не хватает сотрудников. И кроме того, кое о чем вы забываете... Вам известны результаты выборов? Ваши друзья потерпели поражение. Извините за откровенность, но в вышестоящих инстанциях полагают, что делу господина Фромана уделено достаточно внимания.

— Президента Фромана, — поправляет в ярости Шамбон.

— Пусть так. Президента Фромана.

— Это преступление! — бросает Шамбон.

— Банальное самоубийство, — невозмутимо возражает Дрё.

— Так вы ничего не будете предпринимать?.. И если в меня выстрелят, умоете руки?

— Никто в вас стрелять не будет, — уверяет Дрё. — А сейчас, если позволите... У меня много работы.

Он раскланивается со всеми и делает шаг к выходу.



— Вы пожалеете, господин комиссар,— кричит вслед Шамбон.— У нас есть поддержка.

— Рад за вас.

Дрё уходит. Иза провожает его. Шамбон, вне себя от ярости, возвращается в кабинет.

— Номер не пройдет,— орет он.— Плевать я хотел на этого кретина.

— Успокойся, Марсель.

— О, вам-то что?!

— Ей-богу, ты и в самом деле веришь, что тебе угрожают. Эй, проснись! Ты что, забыл, что все это липа? Мы ведь хотели всего-навсего обмануть Изу.

Он растерян. Трет пальцами глаза.

— Я сам не знаю, на каком я свете,— бормочет он.— У меня нет ни малейшего желания хоронить себя в Гавре или где-нибудь еще. Что вы скажете?

— Ну, конечно. Мне нужно немного времени. Ты не должен показывать, что возмущен выходкой комиссара. Надо быть выше этого. Осторожно, вот и она.

Иза входит в кабинет. Протягивает футляр Шамбону.

— Мы все немножко потеряли голову,— говорит она.— Это очень мило с вашей стороны, Марсель, но я не могу принять.

— Прощу вас.

Движением век я даю ей понять, что все это не имеет больше значения. Она не знает, куда я клоню, но повинуетя и, разгрыбая смущение, взволнованно говорит:

— Спасибо, Марсель. При одном условии. Берегите себя.

Открывает футляр, еще раз любуется драгоценностью.

— Безумие!

— Да нет,— отвечает Шамбон.— Вы рассуждаете, как моя мать, милая Иза. Так вот, мне надоело благоразумие. Если бы вы знали, что я уже сделал для вас!.. Спросите брата.

Он не сдерживает себя. Берет ее за руку.

— Хватит болтать всякую ерунду, малыш Марсель. Раз уж Дрё тебя бросил, примем собственные меры. Жду тебя у себя.

— Послушайте Ришара,— говорит Иза.— Он осторожен.

— Согласен. До скорого... Иза, я счастлив,— он посылает ей воздушный поцелуй.

— Оставь, не сердись,— шепчет Иза.

Наконец-то мы одни.

— Ты что-нибудь придумал?

Тот же вопрос, что и у него.

— Конечно, но мне потребуется немного времени.

На самом деле, все давным-давно продумано. Я знаю, где моя пушка. Рядом с подшивкой рецензий и биноклем — реликвиими прошлого. Я всегда хранил его в исправности. Когда-то в фильмах о гангстерах из него стреляли только холостыми патронами. А я думал: «Как жаль! Великолепное оружие и будто в наморднике». Что ж, на этот раз мы вместе поиграем с огнем. До сих пор выигрывал всегда я, а не Дрё. Комиссар, вам до меня никогда не добраться.

Я поджидаю Шамбона и ищу в глубине шкафа пистолет.

Натыкаюсь на мотоциклетные краги. Боже, а я и забыл о них. Даже присел — нервная судорога скрутила живот. Сколько украденной радости, безвозвратно утерянного счастья! Я задыхаюсь. Когда входит Шамбон, он видит, что я держу на коленях краги и нежно, как кошку, глажу их.

— Что это — игра? Что это?

— Сам видишь. Возьми, поддержи.

Он недоверчиво берет их в руки.

— Я вот тут разбирался и наткнулся на них. Они кое-что значат для меня... Возьми их себе. Ты даришь бриллианты. Я дарю, что могу. Ладно, не будем об этом говорить.

Он благоговейно ставит краги у спинки кровати и раскуривает свою жуткую сигару. Я, как всегда, трубку. Потом продолжаю:

— Ты заметил, он не бросил письма в корзинку. Положил в карман.

— Ну и что?

— А вот что. По-моему, он собирается сдать их на экспертизу. Уверен, что обнаружит отпечатки пальцев. Он только притворился, что смеется над нами, на самом деле, он дотошный, этот тип. Может, я ошибаюсь, но почти уверен, что он не воспринял эти угрозы легкомысленно. Только чего ты добиваешься? Чтобы он прослушивал твои телефонные разговоры? У него нет на это права. Не так-то просто установить подслушивающее устройство. Он предпочел нас грубо одернуть, чтобы вернее успокоить.

— Пожалуй, — бормочет Шамбон. — Но в результате твоя сестра уже не принимает меня всерьез.

— Отнюдь. Конечно, если мы будем сидеть сложа руки, Иза решит, что наши страхи были преувеличенными.

— И отшатнется от меня, — заключает он.

— Ты дашь мне закончить?.. Нужно, чтобы она испытывала по отношению к тебе нечто вроде признательности, понимаешь? А пока что она разрывается между своими угрызениями совести и любовью, в которой не признается. Я-то ее знаю. Она уже разволновалась, когда подумала, что тебе угрожает опасность. Оценила твою преданность. Потянулась к тебе. Но пока она чувствует только пробуждение любви. Чтобы любовь расцвела, тебе действительно должна угрожать опасность. Если она настоящему испугается за тебя, — твоя победа.

Он слушает меня с таким вниманием и добродушием, что мне стыдно. Будто я собираюсь убить безумное, страшное, непредсказуемое, но в то же время преданное животное.

— Что вы предлагаете? — спрашивает он. — Чтобы я подстроил нечто вроде покушения на самого себя?

— Вот именно.

Сработало.

— Я не очень понимаю, — продолжает он. — Что за покушение? Кто будет на меня покушаться?

— Не спеши. Начнем с того, согласен ли ты со мной? Я ведь не собираюсь подталкивать тебя. Ты сам решаешь.

— Я люблю Изу, — говорит он.

Дурак. Это он меня толкает. Я умолкаю, чтобы не спеша раскурить трубку. Преимущество трубки в том, что она то и дело

гаснет, и если вы умеете раскуривать ее не спеша, можно дать себе время все обдумать, разобраться, принять наилучшее решение.

— Оставим Изу,— предлагаю я.— Как думаешь, ты можешь поработать в кабинете дяди?

— Почему бы нет?

— Будет ли выглядеть естественным, что ты притащишь с собой досье, какие-нибудь незаконченные дела?

— Я ни перед кем не обязан отчитываться. А потому...

— Но все вокруг должно быть в ажуре. У тебя есть секретарша?

— Конечно.

— Ты ей сможешь сказать, например: «Оставьте эти бумаги, я посмотрю их дома»? Что-нибудь в таком духе?

— Разумеется. А что вы задумали?

— Подожди. Скажи, есть ли в заводском управлении секретные материалы?.. Например, какие-нибудь досье с грифом «Совершенно секретно»?

Он смотрит на меня, как собака, замороженная мячом, который ей вот-вот бросят.

— «Строго секретно» — такого, может, и нет. Но есть текущая корреспонденция с голландской группой, которую мы уже давно интересуем.

— О, прекрасно! Ты принесешь сюда корреспонденцию.

Он, того гляди, подпрыгнет от возбуждения.

— Говорите яснее.

— Иди в гардероб. На самой верхней полке найдешь синий чемоданчик.

Он повинуется. Стоит мне напустить туману, как он уже в моих руках.

— Нашел?

— Да.

— Давай сюда... Или, пожалуй, положи-ка его на стол и сам открой.

— Зачем?

— Давай, открывай. Найдешь предмет, завернутый в слегка засаленную замшу. Довольно тяжелый. Догадываешься?

Он суетится и внезапно замирает.

— Можешь взять его в руки. Он не кусается.

Он неловко берет мой револьвер довоенного образца, рассматривает его с завистью и изумлением. Я продолжаю:

— 38. S. W. Специальный. Пять выстрелов. Целиком из стали. Вес: пятьсот тридцать восемь граммов. Не заряжен, но, поверь, когда он выстрелит, будет не до шуток.

Он осторожно заворачивает оружие.

— Вот из этой штуки я и буду в тебя стрелять. Не бойся! Я притворюсь. Слушай меня внимательно. Сейчас — главное. Детали обсудим потом. Скажем, в один прекрасный день, около десяти вечера, ты будешь работать в кабинете. И вдруг услышишь шум за балконной дверью. Каким-то предметом начнут взламывать ставень. Ты не вооружен. Бежать? Об этом не может быть и речи. Ты не трус. Ты бросаешься к телефону, вызываешь



Дрё: конечно, он дома. Тем временем воры фомкой открывают замок. Ты зовешь комиссара на помощь. Некто из-за балконной двери замечает это, теряет хладнокровие, всаживает две-три пули, не задев тебя, и спешит скрыться.

— Неплохо,— восхищенно замечает Шамбон.

— Затем на всех парах примчится Дрё. Ты покажешь им взломанный ставень, и Дрё обнаружит пару пуль в панели. На этот раз сомневаться не приходится. Дело Фромана вспыхнет с новой силой. Общественное мнение сразу же на вашей стороне. Будь уверен, бедный мой Марсель, отбою не будет от людей, прессы, телевидения...

— Выпугаюсь,— утверждает он решительно.

— А Иза!.. Ей нравятся мужественные мужчины... Она жила среди них. Человек, встречающий опасность лицом к лицу, вызывающий полицию с риском для жизни... словом, это человек ее породы. Главное,— и ты уж не забудь сказать,— ты зовешь на помощь не ради себя, а ради матери, ради Изы, ради меня.

— Потрясающе,— шепчет он.— Потрясающе... А вы?

— Я... со мной нет проблем. Мне вполне хватит времени, чтобы успеть добраться до своей комнаты. Придется меня будить, чтобы сообщить о случившемся.

— Да, да,— соглашается он.— Дайте мне немного подумать. А револьвер?

— Он снова будет в чемоданчике, а чемоданчик — на полке.

— А почему воры убегут, не взяв ничего?

— Да потому, что они увидят, как ты звонишь, и поймут, что ты зовешь на помощь. В конце концов выводы — дело полиции.

— Согласен. Пожалуй. Но не кажется ли вам, что будет более естественно, если они смоются, не стреляя.

— Разумеется. Вот это-то и будет непонятно Дрё. Это остервенение... Подумай-ка... Таким образом возникнет связь между самоубийством Фромана и попыткой покушения. Знаешь, о чем он подумает? Что речь идет о промышленном шпионаже. Ты, конечно, помалкивай. А в присутствии Изы не отрицай... Поверь мне... Не нужно много времени, чтобы ты стал для нее большим человеком... Есть возражения?

— Что я скажу комиссару?.. Ведь надо выглядеть насмерть испуганным.

— Верно... Ну, может, не насмерть, но весьма взволнованным. Это нетрудно. Вспомни, как ты облапошил типа из *Братской помощи*. Ты прекрасно умеешь ломать комедию, когда захочешь. И потом, не забывай, что я выстрелю, пока ты будешь звонить. Дрё услышит выстрелы, и этого будет достаточно, чтобы убедить его.

— Короче говоря, все произойдет, как с моим дядей.

— Ну да, почти.

От смертельной тревоги его прошибает пот. Он вытирает лоб и глаза платочком из верхнего кармана, представляет сцену, слышит выстрелы. В то же время чувствует, что, быть может, не посмеет больше... То, что он сделал уже один раз, не осмелится сделать во второй. Прикидывает, осторожничает.

— Это уж слишком, вы не находите? — говорит он наконец. — Промышленный шпионаж в производстве цемента... Если бы мы еще работали в электронике.

Широким жестом я отметаю возражение.

— Неважно. Пусть Дрё думает что угодно. Он собственными ушами услышит выстрелы, это первое. Убедится, что ставень был взломан, это второе. И третье: вытащит две пули из стены позади письменного стола. Вывод: при покушении ты чудом уцелел. А теперь что тебе не нравится?

— Ничего... Ничего...

— Страх перед скандалом, признайся.

— Мать — такое хрупкое существо.

— Ладно. Хватит.

— Да нет, не в этом дело.

Он мысленно оценивает меня. Чувствует себя несчастным, не знает, на что решиться.

— Тебе бы хотелось быть уверенным в отношении Изы, не так ли?

— Да... Вот именно! Какие гарантии, что... — он почти кричит.

— Если бы ты не прерывал меня на каждом шагу... Можешь быть уверен, я все предусмотрел. Так вот... Начнем сначала... Тебе угрожают. Ты не можешь положиться на полицию. Рядом с тобой женщина, которая начинает дрожать от страха. Совершенно естественно, что влюбленный по уши мужчина, который вынужден, кстати, ожидать худшего... Как бы он поступил?... Какой высший жест бескорыстия, а?... Не понимаешь?

— Нет, — жалко мямлит Шамбон.

— Ну, напрягись! Если он готов отдать жизнь, может ли он отдать что-то другое?

— Состояние?

— А долго же ты думал. Состояние — да, но в каком виде?

— Завещание?

Дружески хлопаю его по колену.

— Разумеется, завещание. Заметь, это чистая формальность. Зато, когда Иза узнает, что ты сделал для нее... Щедрость всегда вызывает признательность и любовь... Тебе останется только заключить ее в свои объятия... Нет?... Еще что-то не нравится? Тебя пугает слово «завещание»?

Нетерпеливый жест.

— Это вы уладите... Хотя... не так-то просто...

Вот мерзавец! Держится за свою кубышку. Пока надо приторяться, он согласен. Анонимные письма — будьте любезны. Кольцо — пустяки. Но как только дело доходит до письменного обязательства, тут уж извините: стоит на земле обеими ногами.

— Вы не знакомы с мэтром Бертайоном? — продолжает Шамбон. — Когда он...

Я резко прерываю его:

— Завещание — это прекрасно. Но никто тебя не неволит.

— С чего я должен начать?

— С документов, которые надо принести с завода. Скажем,

неделя на подготовку. Жермена надо предупредить, что в кабинете будет допоздна гореть свет. Изу, само собой, надо окружить всяческим вниманием, с матерью не валяй дурака.

Он подсакивает. Мне нравится злить его грубыми словечками — мое влияние на него вернее.

— Действовать надо в субботу вечером, как тогда, с дядей. Самое удобное время. Дрё, конечно, будет дома. Надо отрепетировать. Все будет гораздо проще, чем в прошлый раз.

Он жмет мне руку. «Чао!» — бросает этот дурень, желая показать, что начинает играть всерьез. Честное слово, таких, как он, ненавижу всей душой.

Наконец я один. Звонок Изы. «У меня мигрень, но все в порядке», — говорю ей. Что касается завещания... Нет. Не надо перебарщивать.

В который раз я изучаю все, что нагородил. Ни к чему не придерешься. В истории с самоубийством комар носу не подточит. Конечно, при желании можно утверждать, что все в этой драме странно. Кстати, Дрё ведь не дурак, а смирился. К анонимкам подкопаться трудно. Я бы даже сказал, анонимки подтверждают версию самоубийства. Разного рода предположения, домыслы, все эти психологические штучки, которые начнутся после смерти Шамбона, — здесь я бессилен. Однако от того факта, что ставень и застекленная дверь были взломаны и что Шамбон убит, никуда не денешься. Снова неумолимые факты... Одни вытекают из других.

Поздно. Глотаю снотворное. Еще минута, и мне будет снится, как я взлетаю с трамплина и рассекаю пространство. Несчастный!

На следующий день достаю клещи для выдергивания гвоздей. Чего-чего, а всякого барахла в замке хватает. Затем короткий визит к Изе. Как хороша! Чуть встревожена — чувствует, что я от нее что-то скрываю.

— К чему все это приведет? — спрашивает она. — Ты выглядишь все хуже и хуже.

Я беру ее правую руку.

— Кольцо?.. Тебе нужно его носить. Понимаю, что противно. Мне тоже. Но теперь ты знаешь Шамбона. Как всегда, кидается в крайности. Или заносится, или пресмыкается. Вечно ему надо исповедоваться. Или ради хвастовства, или ради самоуничижения. Так ты осторожно им управляй... Действовать предоставь мне. Согласна?

Она прислоняется ко мне. Долго стоим, не шелохнувшись. Когда она уходит, остается ее аромат, запах ее духов, ее тень — пища моего воображения. Надолго погружаюсь в мечты. Когда все кончится, мы подыщем себе другое жилье, настоящее убежище — теплое, уютное. С *Ля Колиньер* будет покончено. Тут слишком просторно. Слишком переполнено дурными воспоминаниями. Быть может, вырвавшись из плена моего бунта, я попытаюсь смешаться с другими, стать тем мимолетным прохожим, которого не замечает никто. А пока я направляю свою коляску в кабинет Фромана. Застекленная дверь открыта. Я изучаю ставни. Вечером их закрывают на металлический стержень по-



воротом ручки. Запор простой и малоэффективный. Достаточно просунуть металлическую пластинку под шпингалет и посильнее надавить. Дерево треснет, дальше надо повернуть задвижку. Затем выбить стекло, и вы у цели. Работы на несколько минут. Но шуму будет много. Поразмыслив, я остаюсь доволен. Дрё услышит все собственными ушами. Я пройду через парк на костылях. До своей комнаты доберусь по коридору. Это мое второе преступление без единой улики. Мой последний трюк каскадера. Остается подготовить Шамбона.

Мы начинаем в кабинете Фромана в тот же вечер, после того как все улеглись. Он внимателен и встревожен. То и дело почесывается. Суетится.

— Долго разговаривать нет нужды,— говорю я ему.— Я постучу в ставни, а ты вызовешь комиссара. То и другое одновременно. Если, к несчастью, его не окажется дома, повесишь трубку. Я услышу и не буду продолжать. Отложим все до завтра. А теперь посмотри на меня. Я не кричу. Я слишком взволнован. Но говорю очень быстро, нервно... Господин комиссар... Говорит Шамбон... Из *Ля Колиньер*... Вы слышите их?.. Там несколько человек... Со стороны парка... Взламывают застекленную дверь... Приезжайте скорее... Мне нечем защищаться... Затем ты передохнешь... Дрё воспользуется этим, чтобы вставить слово... Ты сделаешь вид, что не понимаешь, так как слишком испуган. Будешь то и дело повторять: «Что?.. Что?..» А затем умолять: «Сделайте же что-нибудь... меня убьют...» Я разобью стекло и дважды выстрелю в стену... Ты выпустишь телефонную трубку, будто падаешь в обморок... Дрё к тому моменту уже выедет. Тебе останется только ждать. Нетрудно, правда?

271

Он смотрит на меня испытующе.

— Ты не согласен?

— Да... то есть я думаю, что получится, но...

— Но что?

— Я предпочел бы стрелять сам.

Я притворяюсь, будто не понимаю.

— Ты хочешь... Это усложнит дело. Тебе придется выпустить телефонную трубку, подбежать к двери, выстрелить...

Вижу, что сцену можно прекрасно разыграть так, как он предлагает. Если я заупрямлюсь, смутное подозрение, которое заставляет его осторожничать, вмиг окрепнет. Какая гарантия, что я буду целиться в стену? Но я умею обходить неожиданные препятствия.

— Как хочешь. Мне лично все равно. Самое главное, действовать молниеносно.

Проходит секунда, полная напряжения, тайных мыслей. Мы смотрим друг другу прямо в глаза, изучаем друг друга, как два игрока в покер. Если он мне скажет: «Зачем тебе револьвер? Я сам его принесу, прежде чем звонить»,— все пропало. Гоню эту мысль. Он говорит первый:

— Ладно. Я быстро.

Я невинно улыбаюсь и добавляю:

— Все будет в порядке, старик. Доверься мне.

Он сияет. Любит, когда я называю его «старик». Труднейший рубеж позади. Я продолжаю:

— Твоя очередь... Нет, стой у письменного стола. Я буду на пороге. Без пауз. Начинай: «Господин комиссар... Говорит Шамбон».

Он сразу находит верный тон. Актер от рождения, он поразительно органичен. Когда говорит: «Они в парке... Взламывают дверь», — даже дышит прерывисто. «Боже, я пропал... Если бы у меня было оружие... Ничего... ничего... Помогите, комиссар!» Я его останавливаю.

— Отлично. Нет нужды заучивать текст наизусть. Достаточно импровизации. Жаль, что ты не пошел по актерской части.

— Я неплохо защищаюсь, — скромно признает он. И тут же добавляет в порыве мелочного критиканства: — Концы с концами не сходятся. Смотрите... Шпингалет не так-то легко оторвать. Как это вам удастся?

— Да я его развинчу на три четверти еще днем... Это пустяки.

С ним всегда надо разговаривать повелительным тоном. Я оставляю костыль, кладу ему руку на плечо и говорю увлеченно:

— А теперь за дело.

Я притворился спящим, когда услышал стук в дверь. Крикнул, подавив зевок:

— Что надо?.. Кто там?

— Инспектор Гарнье.

— В такое время, инспектор! Ведь за полночь.

— Поторопитесь.

— Хорошо, хорошо. Сейчас.

Нарочно натолкнулся на столик, с шумом рассыпав стопку журналов. Выругался. Когда открывал дверь, лицо мое выглядело злым.

— Что случилось?

— Умер господин Шамбон. Его только что убили.

— Как?.. Марсель?

— Да. В кабинете дяди. Вас ждет комиссар.

Я изобразил потрясение, продолжая застегивать пижаму. Инспектор выкатил мою коляску. Помог мне сесть.

— Придется поторопиться. Вы ничего не слышали? — сказал он.

— Нет. Почему вы спрашиваете?

— В него всадили две пули, а среди ночи два выстрела трудно не услышать.

— Я сплю со снотворным, как вы знаете. Когда это случилось?

— Около одиннадцати часов.

— Сестре сказали?

— Нет еще.

Он был явно не в духе, отвечал резко.

— Напрасно комиссар не принял всерьез эти угрозы, — заметил я. — Вы в курсе?

— Разумеется.

— Племянник отправился вслед за дядей. Согласитесь, это черт знает что.

Дрё был в кабинете — руки в карманах, шляпа сдвинута на затылок, — осматривал труп. Взглянул на меня устало.

— Вот так работа, — прошептал он. — Две пули в упор, и это...

Подбородком указал на взломанную дверь и осколки стекла.

— Я все слышал. Беднягу убили в тот момент, когда он разбирал бумаги на письменном столе. Он позвонил мне буквально в панике. Напрасно я кричал ему: «Бегите!.. Что поделаешь!..»

Сцену я знал в мельчайших подробностях, но старательно разыгрывал изумление, смешанное с ужасом.

— Их было несколько?

— Да, думаю, да.

— Они что-нибудь украли?

— Вряд ли. Они должны были услышать шум... Совершенно очевидно, им помешали и пришлось срочно смыться.

— Профессионалы?

— Сам хотел бы знать.

— Мое мнение: они пришли убрать его, — сказал инспектор за моей спиной.

— Подойдите, — приказал Дрё и помог мне опереться на костыли.

— Видите... Он стоял лицом к убийцам... Можете ли вы спокойно, хладнокровно смотреть на его лицо?

— Попробую.

Я наклонился, глядя на тело Шамбона. Во мне шевельнулось подобие жалости и отвращения. К нему? К самому себе? Какая разница?

— Видите, на его лице застыло вовсе не выражение ужаса, — продолжал Дрё. — Я не забыл, как звучал его голос в трубке. Как у смертельно испуганного человека. И что я вижу? Лицо умиротворенное. Я бы даже сказал: смерть с иронией на устах. Что скажете?

Он был прав. Бедняга Шамбон, стараясь превзойти самого себя, хотел выглядеть мужественным, и это выражение застыло на его обычно подвижном лице. До последнего мгновения он пугал мои карты.

— О, если хотите, — заметил я. — Не так-то просто сказать что-либо определенное.

Я выстрелил в ту минуту, когда он повернулся ко мне с обычной самодовольной улыбкой. И вот он лежал на спине, навеки удовлетворенный и снисходительный. Я отпрянул.

— Он был убит наповал, — продолжал Дрё. — Судебно-медицинская экспертиза даст свое заключение, но мне и так все ясно. Когда вы видели его в последний раз?

— В полдень. Мы вместе позавтракали. Мне не показалось, что он сколько-нибудь озабочен. После кофе он поднялся к матери... Госпожа де Шамбон знает?

— Сейчас узнает. Успеет, бедная женщина. Когда врач



и эксперты уедут, я займусь ею и вашей сестрой. Мне хотелось бы незамедлительно знать, что он вам рассказывал со времени нашей последней встречи. Ведь у вас были самые добрые отношения, не правда ли?

— И да, и нет. С какой-то точки зрения, мы были товарищами — и даже очень. С другой стороны, как бы настороже друг с другом. Если говорить откровенно, он ухаживал за Изой, а мне это не очень нравилось.

— Представьте себе, я в этом не сомневался. Весьма интересно, весьма! — воскликнул Дрё.

Он несколько раз покачал головой, словно поздравляя себя, затем, услышав шум в коридоре, слегка меня оттолкнул.

— Это моя бригада. Подождите в библиотеке, мы продолжим беседу.

— Мне ничего не известно, комиссар. Я не очень представляю, чем могу быть вам полезен.

— Напротив... может, хотите курить?... Гарнье, сходи за его трубкой... Садитесь рядом и не волнуйтесь. Через пять минут я подойду к вам.

Я доковылял до библиотеки. Тревожиться было незачем, но, несмотря ни на что, я был настороже.

Люди из судебно-медицинской экспертизы вели себя в кабинете шумно, переговаривались во весь голос, словно не замечая убитого. Я узнал врача, расслышал слова: «Крупного калибра... Прямое попадание в сердце». Гарнье принес мне мою трубку и табак. Я чувствовал слабость, словно выполнил рискованный акробатический трюк. Однако все, казалось, было в порядке. Все меры предосторожности приняты. Клещи положил на место, предварительно их вытерев. На гравии аллеи костыли не оставили следов. Наконец, обе анонимки выглядели достаточно недвусмысленными. Разумеется, у Дрё были подозрения. До такой степени драма выглядит инсценированной... даже две драмы... и почти одинаковые... и каждый раз свидетель с телефонной трубкой в руке... Кто угодно заподозрил бы неладное, тем более Дрё!.. Однако ни одну деталь нельзя вменить мне в вину. Мать Шамбона возопит, пустит в ход связи. И что дальше? Ее сын имел право влюбиться в Изу. Под Изу нельзя подкопаться, ведь я предусмотрительно подсказал Шамбону: «Они в парке... Взламывают дверь...» Они! Злоумышленники, взломщики, подонки — откуда Изе знать о них! О, таинственные смерти в замке взбаламутят любителей сплетен. Но мы не станем долго ждать, чтобы переселиться куда-нибудь подальше.

Я ничего не боялся. Люди шумно сновали взад-вперед, ходили по парку. Пришел потрясенный Жермен.

— Какое горе! Что такое мы сделали Господу?

— Вы ничего не слышали?

— Ничего. Всю ночь у меня под ухом грохочут грузовики. Если прислушиваться к звукам, я бы не спал ночами напролет. Нас разбудил звонок комиссара. Я хотел предупредить госпожу и вашу сестру. Честно говоря, я совсем потерял голову. Молодой человек, приехавший с комиссаром, велел мне сидеть спокойно: нас, мол, позовут, когда понадобится. Теперь-то я вижу, если мы тут останемся, нас всех прирежут.

— Полно, полно, Жермен! Успокойтесь. Вы же участник Сопротивления!

— Это куда лучше! Честное слово! Не хотите ли рюмочку?

— Спасибо... Они тут надолго?

— А, эти-то!.. Сразу видно, им не приходится заниматься уборкой. Вы думаете, их интересует покойный? Как бы не так! Они крутятся вокруг да около, перешагивают через него, словно это не христианин, а животное. Возмутительно! Бедный мой господин! Такой конец!

В коридоре показался Дрё.

— Жермен... будьте добры... подойдите, пожалуйста! — И, обращаясь ко мне: — Я сейчас вернусь.

Снова шарканье ног. Голоса. «Отодвинь кресло... Через дверь, так удобнее». Звон разбитой фарфоровой статуэтки. «Осторожнее! Черт!» Шум удаляется. Слышно только скольжение, легкий скрип выдвигаемого ящика, щелчок снятой телефонной трубки. Это Дрё шнырит повсюду, вынюхивает. Слышу только его тихий голос.

Вдруг меня охватывает страх... так.. ни с того ни с сего. Лоб и руки покрылись испариной. И это я, столько раз стрелявший во врагов, которые хотели моей смерти... но то была липа... судороги, подкакивания; через минуту они уже вставали и хохотали от души. А тут Шамбон! Его распирало от самодовольства, но ведь он был чист, как дитя! Увы, не киношная смерть! Подкашиваются колени. Конец. Смертельная бледность. Как у тех бедолаг, которых расстреливают по всему свету. Фроман — еще куда ни шло. Этот был мерзавцем. Но Шамбон — всего лишь избалованный мальчишка. Двое мертвецов — такова цена моих ног. Вдруг я понял, что теперь не перестану допрашивать самого себя.

Дрё кашлянул, заговорил сам с собой, передвигая какой-то предмет. Затем вышел из кабинета и тихо толкнул дверь в библиотеку.

— Прошу прощения, что заставил ждать. Служба! — сказал Дрё, схватил стул и уселся напротив меня.

— Прежде чем мы двинемся дальше, мне думается, можно прояснить кое-какие моменты. Между двумя делами имеется странное сходство.

— Вы находите? — говорю я. — Какое же сходство между самоубийством и убийством?

Он любезно улыбается, он внимателен, приветлив, будто в соседней комнате никого не убивали, будто не наступил уже второй час ночи, будто...

— Хорошо, — говорю я с досадой. — Что вы от меня хотите? Повторяю: я спал. Я ничего не знаю. Разумеется, как все, как вы, например, я знал, что Шамбону кто-то угрожает, но не придавал этому большего значения, чем вы, комиссар. Ведь вы считали, что никакой опасности нет, не так ли? И не было оснований для беспокойства.

Почему он улыбается? Чем это он так доволен? Вот сунул руку в карман... и достал бумажник.

— Давайте поговорим об этих письмах,— говорит Дрё.— Весьма, знаете ли, интересные письма. Более интересные, чем вы думаете.

Он разворачивает, аккуратно разглаживает их ладонью, затем читает вполголоса с видимым наслаждением:

— «Последнее предупреждение. Сволочь, убирайся с дороги или тобой займутся... хватит махинаций, сволочь. Убирайся, иначе...» Письма в результате экспертизы, проведенной моими коллегами и мной, изрядно помялись и пообтрепались.

— Да, местами отстает клей,— отвечаю я.

— Совершенно верно. Смотрите, вот здесь, например.

Он ловко отделяет кусочек бумаги и протягивает мне.

— Видите? Здесь слово «дороги».

— Вижу. И что?

— Так вот, на обратной стороне что-то напечатано, все эти кусочки вырезаны из газет. Предположим, что вырезка сделана на четвертой странице. Это место, таким образом, неизбежно соответствует какому-то элементу текста на третьей странице. Правильно?

— Совершенно верно.

— Теперь смотрите. Слово «дороги», допустим, взято с оборотной стороны, что же мы прочтем на лицевой?

— Читаю: разное. Так важно, чтобы я прочел слово «разное»?

— Нет. Это простой эксперимент. Но его можно расширить.

Он приподнимает ногтем уголок малюсенького квадрата и ленько отклеивает его.

— Извините. Я не слишком доверяю работе моего помощника. В лаборатории все изучили и с лицевой, и с обратной стороны. Затем я попросил, чтобы все осторожно приклеили на прежнее место, лишь бы только держалось. Дело в том, что я хотел попросить вас порассуждать так же, как я.

Начинаю чувствовать дурноту. Не понимаю, куда он клонит. Дрё тем временем продолжает:

— Это — слово «предупреждение». Переверните его. Смелее, не бойтесь.

Пожимаю плечами.

— На обороте может быть все что угодно.

— И что же вы обнаружили?

— Баллотировка. Бред.

— Ну нет!.. Теперь давайте тщательнейшим образом отклеим буквы, из которых составлены письма.

— Что же вы хотите обнаружить?.. Священный текст на обороте?

— Это было бы слишком,— улыбается Дрё.— Но за неимением свяznego текста можно наткнуться на существенную мелочь.

— Послушайте, комиссар. Чего ради я буду играть с вами в какие-то игры? Может, по-вашему, это и увлекательно, только вся ваша лапша ни к чему.

Глазом не моргнул! Знает, что мое раздражение в значительной степени наигранное.

— Вы правы,— соглашается он.— Давайте проще.

Он переворачивает и раскладывает по порядку кусочки бумаги, затем сообщает результат: список... Друар.



— Друар — кандидат по проблемам экологии. 8225... бюро... А! Вот это самое важное. Выражение «займутся»... Мы точно знаем, откуда это. «Фигаро», из того номера, который вышел на следующий день после первого тура голосования. Читаю с обратной стороны: «избрано 11 402 человека»... И так далее. Когда же эти результаты могли быть опубликованы?.. На следующий день после первого тура. Вы слушаете меня?

Я натянута как струна, чувствую, вот-вот последует жесткий удар, и, хотя не знаю еще, в чем дело, не намерен сдаваться.

— Вы помните, когда умер президент Фроман? — продолжает Дрё.

— Не скажу точно, но примерно числа пятнадцатого прошлого месяца, в субботу.

— Следовательно,— вопрошает Дрё глубокомысленно.— Следовательно?.. Посчитайте-ка. Как раз за три недели до выборов.

На этот раз меня словно крючком поддели за подбородок. Я парализован. В голове рассыпаются обрывки мыслей. Надо было соображать... Загнан в угол. Сам виноват! Виноват! Виноват! Столько ухищрений, и вот тебе... Болван! Только держаться! Не подавать виду!

Понемногу мне удается овладеть собой. На моем лице написан все тот же вежливый интерес, но я как бы начинаю скучать. Дрё зорко следит за мной и продолжает свой маленький эксперимент.

— Вот что из этого следует,— говорит он.— Президент умер задолго до получения писем с угрозами, когда ему предлагали убраться с дороги. Может, теперь вы понимаете, что из этого следует?.. Нет?.. Должен честно признаться, что вначале я тоже не понял. Сказал только: «Мертвым не угрожают». И только потом сообразил, что, вероятно, кто-то хотел подбросить доказательства необъяснимого самоубийства.

Он пристально наблюдает за мной, но все еще с видом чиновника, которому словно неловко высказывать собственное мнение.

— Это первая ошибка,— говорит он.

Я пытаюсь пронизировать:

— Почему первая?.. Есть и другие?

— На ум сразу же приходит вторая. Вы ведь согласны, что анонимные письма — липа, не правда ли? Они понадобились для того, чтобы кого-то обмануть. Кого? Меня?.. Но для меня следствие было закрыто. И факты установлены.. В таком случае, кого именно эти письма должны были ввести в заблуждение? Подумайте-ка. Кто должен был наткнуться на них?.. Ваша сестра Изабелла.

На этот раз я взрываюсь:

— Соблаговолите оставить ее в покое.

Дрё успокаивает меня жестом.

— Не надо гневаться,— говорит он.— Я нашел конец нити. Разматываю клубок. Вот и все. Дело выведенного яйца не стоит. Ваша сестра терялась в догадках, отчего умер ее муж, и ей подбросили ответ. Он умер, потому что его заставили умереть.

— Однако...

— Подождите. Не прерывайте меня. Кто мог составить эти письма?.. О, вы знаете, ответ тут однозначен. Не кто иной, как господин де Шамбон.

— Это мог бы сделать и я, раз уж вы до такого додумались. Обвиняйте меня! — вскипел я.

— Тише! Не будем терять из виду главное. Если бы можно было принимать эти анонимки всерьез, они поразительным образом ослабили бы версию самоубийства. Вспомните фразу: «Убирайся, иначе...» «Иначе» означает: тебе крышка. В чьих же интересах было внушить вашей сестре, что ее мужа могли убить? Я поставлю, если угодно, вопрос по-другому: кому выгодно было освободить ее от угрызений совести, сомнений, быть может?.. Кто утверждал, что ему тоже угрожают? Теперь вы понимаете. Опять-таки господин де Шамбон.

— Он? Ради какой корысти?

— Господин Монтано.— Дрё говорит вполне добродушно.— Не прикидывайтесь непонимающим. Он добился бы таким образом внимания, интереса, симпатии, даже привязанности со стороны персоны, которая не вечно носила бы траур. Господин де Шамбон ровно ничем не рисковал, так как автором угроз был именно он. Выигрывал же он все. Давайте начистоту. Неужели вы не догадывались, что он был влюблен в вашу сестру?

Стоило ли отрицать? Однако я ограничиваюсь одним словом:

— Продолжайте.

— Продолжение следует с неумолимой логикой. Поскольку господин де Шамбон знал, что ему никто не угрожал, зачем ему понадобилось придумывать сегодняшнюю комедию?

— Какую комедию?

Дрё удобно усаживается в кресле напротив меня.

— Забавный вы человек,— ворчит он.— Вы что, забыли сцену? Господин де Шамбон звонил мне, пока взламывали дверь. Следовательно, в комнате их было двое. Он и тот, другой. Ему нечего было бояться. Другой был его сообщником. Обо всем они договорились заранее.

Он с ликующим видом стучит о подлокотник кресла.

— Подумать только, я бы ни о чем не догадался, если бы эти кусочки бумаги были покрепче приклеены!

Слишком часто я был на волосок от смерти, чтобы теперь признаться во всем, как мелкий ворюшка, потерявший самообладание.

— То есть вы полагаете, что у бедняги Шамбона был сообщник? — говорю я.

Глаза Дрё блестят. Не исключено, что он уже давно знает, в чем дело. Он наклоняется и фамильярно шлепает меня по мертвому колену.

— Сообщник был с самого начала. Между нами говоря, о Шамбоне не скажешь: ума палата. Вы представляете его в качестве организатора всей этой аферы? Нет. Никогда в жизни. Зато другой... Этот номер с псевдоубийством — ловко придумано.

Раз уж мы теперь играем в кошки-мышки, не мешает это делать с блеском.



— Так вы считаете, — говорю я, — самоубийство Фромана на самом деле было убийством?

— Помилуйте, вы же сами знаете. Малый из *Братской помощи* услышал незнакомый тихий голос: «Я покончу с собой. Я живу в *Ля Колиньер*». Но ведь звонить мог кто угодно. Шамбон... Вы... Кстати, такая мысль промелькнула у меня в голове.

— Сознайтесь, — прерываю я его, — вы были бы в восторге, если бы это был я.

— Э-э-э! — тянет он озорно, глаза же по-прежнему выдают цепкое внимание. — Если у господина де Шамбона кишка тонка, то у вас, напротив... Кому бы пришло в голову требовать от вас алиби в вашем-то положении?.. Вы катаетесь взад-вперед... Например, в упор стреляете в президента Фромана... Остальное — игрушки для того, кто когда-то снимался в кино. Всего лишь профессионально разыграть сценарий с участием господина де Шамбона.

Я прерываю его, пытаюсь высмеять:

— Затем я устраиваю убийство бедняги Марселя. Ради какой корысти, скажите на милость?

— Ради обеспеченности.

Произнесенное слово как камень, брошенный в воду: воцаряется тишина. Вывернуться невозможно.

— Обеспеченности, — повторяет Дрё. — Материальной обеспеченности, моральной гарантии. Смерть президента Фромана спасла от нужды вас и вашу сестру. Смерть господина де Шамбона исключает шантаж. Мне неизвестно, какие чувства питал он к вашей сестре. Все это предстоит выяснить позднее. Достаточно заметить, он мог принудить ее вступить с ним в брак, для вас же это было недопустимо... Господин Монтано, я не враг вам. Посмотрите мне прямо в глаза... как мужчина мужчине. Ваша сестра для вас — все на свете. Особенно с тех пор, как произошла катастрофа. Разве я не прав? То, что вы свели счеты с президентом Фроманом, понять можно. Он отнял у вас все. Его женитьба! Представляю, чего вам это стоило.

— Нет, этого никто не может представить, — возражаю я.

— Затем на вашем пути встал другой несчастный идиот. И держал вас в своей власти, так как помог инсценировать самоубийство президента.

Что ж, свершилось. Все сказано. Все кончено. Мне стало даже легко.

— Ну как? — спрашивает Дрё.

— Согласен... Я убил обоих. Но клянусь вам, Иза ни о чем не подозревала.

— В самом деле ни о чем?.. С этим довольно трудно согласиться.

— Послушайте, комиссар. Мы с нею занимались таким ремеслом, где взаимное доверие — вопрос жизни и смерти. Понимаете?.. Мне вопросов не задают. Для нее я — носитель истины. Она невинна.

Дрё задумчиво качает головой.



— Можно вам и поверить, но все-таки нужны доказательства,— тихо говорит он.

Итак, добрались до конца. Мгновенно оцениваю обстановку. Чем я рискую? Будь я один, получил бы небольшой срок. К такому калеке, как я, закон не слишком строг. Но Иза захочет выручить меня, взяв всю вину на себя. А Дрё с его слащавыми замашками с удовольствием ее утопит. Захочет загладить собственные промахи.

— Я вам все расскажу,— предлагаю я.

— Именно. Расскажите-ка мне все.

Это дарует мне несколько часов жизни. Он не подумал о револьвере. Прощай, Иза. Ты выкрутишься одна. Ты ведь не забыла наши трюки. Не забыла взгляды, которыми мы обменялись в момент, когда опускали забрало шлема. «Люблю тебя и выиграю». На этот раз я проиграл. Но я люблю тебя, Иза. Люблю тебя.

*Робкая, нерешительная, не смея сесть, она смотрела по сторонам. Секретарша указала ей на кресло.*

— Господин директор сейчас придет.

*Книги, афиши — повсюду... Издательство Данжо... Премия читателей... Премия Медичи...*

— Прошу прощения,— сказал директор. Уже на пороге он давал понять своим видом, что спешит.— Давайте поговорим о деле. Вы догадываетесь, почему мы вас пригласили?

Он сел за письменный стол, достал рукопись из папки и положил перед собой.

— Узнаете?... «Последний трюк каскадера». Ну как же... Вот и подпись: Жорж Ансен. Господин Ансен не смог прийти?

— Нет,— прошептала она.— Брат умер.

— О, какое несчастье. Давно?

— Уже более двух месяцев назад.

— А! Мне так хотелось задать вам несколько вопросов.

Он открыл рукопись, полистал ее, задумался.

— Вы, конечно, хорошо знаете текст?

— Я его перепечатывала и правила.

— Прекрасно. Значит, я могу с вами говорить. Сразу хотел бы сказать: эта рукопись интересует нас. Она неровная. Не всегда легко следить за действием из-за ломаной композиции... Из настоящего, так сказать, времени действие вдруг переходит в прошедшее... Между нами говоря, обратные кадры — устаревший прием.

Он смеется.

— Грех молодости. Совершенно очевидно, это первое произведение. Дальше. Хотелось бы также отметить другие мелкие недостатки. Например, рассказчик связывает свою историю с последними муниципальными выборами. Это — его право. Но в таком случае ему следовало бы соблюдать большую точность в датировке. Точности же здесь не хватает. Теперь, обратите внимание, еще одна очень наивная деталь. Всем известно, что на билетах в кинотеатр проставлен номер. Следовательно, невоз-

можно, предъявив билет на послеполуденный сеанс, доказать алиби на вечер. Но вы, быть может, могли бы это поправить... Нет? Вижу, что вы на этом не настаиваете... Знаете, ведь это всего лишь детективный роман... Поймите меня правильно. Если бы господин Ансен был сейчас здесь, он, конечно, не отказался бы. Кем он был по профессии?

— У него не было профессии.

— Ах, вот как... В таком случае... это псевдодобийство по телефону?

— Плод фантазии.

— Эти трюки каскадера?

— С восьмилетнего возраста брат жил в стальном корсете. Он страдал полиомиелитом.

— Простите меня. Это просто невероятно!

— Он не мог даже сесть на велосипед.

— Да что вы говорите!.. Сколько же ему было лет?

— Двадцать.

— Так. Понимаю. Просто невероятно!

— Я читала ему журналы, книги. Не отходила от него. Нужно было, чтобы кто-нибудь помогал ему жить воображением.

— Но... а вам... сколько вам лет?

— Двадцать четыре.

— Гм! И откуда только он взял эти персонажи?

— Они ведь существуют. Герой по имени Марсель де Шамбон — это наш старший брат. Президент — наш дядя.

— А комиссар полиции?

— Наш отец.

— Кто он по профессии?

— Он был налоговым инспектором. В прошлом году умер от инфаркта... Для Жоржа это означало свободу. Вскоре после его смерти он начал писать роман.

— Но... он не мог писать?

— Он диктовал мне. Я чуть-чуть правила, по мере того как дело продвигалось вперед.

— Ну, а ваша мать? О ней не упоминается, если только...

— Она покинула нас очень давно... уехала со скрипачом.

— А! Теперь я лучше понимаю. Но это ужасно. Он сильно страдал?

— Нет. Но почти не спал. В конце, когда рукопись была готова, он сказал мне: «Теперь я могу умереть. Если бы роман вышел в свет, я был бы счастлив». Он умер от отека легких. Бедный мой Жорж. Он так был достоин счастья...

Траур очень шел ей. «Так Иза — это вы. И вы помогли ему свести счеты с жизнью. Быть может, это и ваши счеты», — подумал директор. Он помолчал секунду, затем добавил:

— Вы не замужем... из-за него?

Она не ответила. Он достал из папки бумаги, разложил их перед ней и сказал:

— Проект договора.

Перевод с французского  
ГАЛИНЫ БЕЛЯЕВОЙ.



## 32-я шахматная олимпиада

Под редакцией  
гроссмейстера  
ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

Стартует наша очередная шахматная олимпиада. Приглашаем читателей «Смены» — любителей древней игры принять в ней участие. В ходе заочного соревнования вам предстоит решить шахматные задачи и этюды советских и зарубежных авторов (в том числе и нигде ранее не публиковавшиеся). По установившейся традиции наши конкурсные задания будут состоять только из миниатюр, которые столь популярны у многих шахматистов.

Эта олимпиада проводится в 7 туров, каждый тур состоит из нескольких заданий. За правильное выполнение каждого задания в зависимости от степени его трудности участник соревнования получает от одного до пяти баллов. Максимальная сумма баллов за верное решение всех заданий олимпиады равна 100. В нашем соревновании установлены квалификационные нормы для выполнения и подтверждения спортивных разрядов по шахматам: 32 балла для получения четвертого разряда, 52 балла — третьего, 92 — второго.

Двадцать пять участников, показавших лучшие результаты, будут объявлены победителями олимпиады и награждены дипломами «Смены» и призами.

### КОНКУРС СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ-МИНИАТЮР

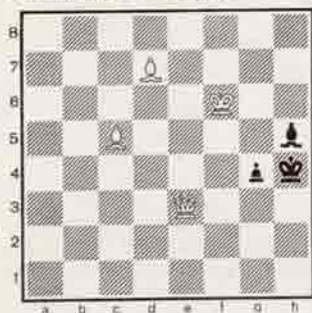
Одновременно с 32-й шахматной олимпиадой журнал «Смена» объявляет всесоюзный конкурс составления задач-миниатюр по двум разделам: **двухходовки** и **трехходовки**. В каждом разделе установлены призы, почетные и похвальные отзывы. Оригинальные (нигде ранее не публиковавшиеся) задачи, изображенные на диаграммах, с полным авторским решением следует выслать в редакцию до **1 июня**. Судья конкурса — международный арбитр **В. Мельниченко**. На конверте необходимо сделать пометку «Конкурс составления миниатюр».

Все присланные композиции примут участие в конкурсе. Рецензии на задачи не даются. Результаты конкурса будут опубликованы в журнале «Смена».



## ПЕРВЫЙ ТУР

### I. Публикуется впервые



Белые: Крf6, Фe3, Сс5, Сd7 (4)  
 Черные: Крh4, Чh5, п. g4 (3)  
**Мат в 2 хода (1 балл)**

### II. Публикуется впервые



Белые: Крс4, Фс2, Сg8, п. h7 (4)  
 Черные: Крh8, Кс3, п. g7 (3)  
**Мат в 3 хода (2 балла)**

### III



Белые: Крb5, Фe5, Се1, п. с7 (4)  
 Черные: Крд7, Кf6, п. d5 (3)  
**Мат в 3 хода (2 балла)**

### IV



Белые: Крh1, Лf8, Кd3, Кg6 (4)  
 Черные: Крг3, пп. g4, g5 (3)  
**Мат в 3 хода (2 балла)**

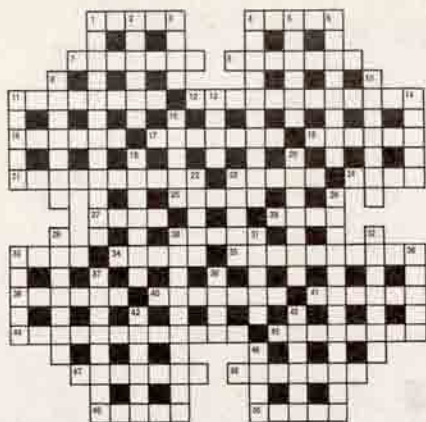
283

Ответы на каждое задание олимпиады следует высылать на отдельной открытке (без конверта!) с пометкой «32-я шахматная олимпиада. I тур». На первой открытке необходимо также указать фамилию, имя и отчество, возраст, профессию, спортивный разряд по шахматам и домашний адрес.

Последний срок отправки открыток (по почтовому штемпелю) — 1 апреля. Ответы, посланные позднее этого срока, не рассматриваются.

## КОНКУРС КРОССВОРДИСТОВ

### Первое задание



Уважаемые читатели!  
Предлагаем вам средней сложности сетку (рисунок), по которой каждый может составить кроссворд, ни в чем не отступая от правил, изложенных в статье «Гимнастика ума» («Смена» № 2 за прошлый год). В частности, на одну букву (в сетке 56 слов) нельзя брать больше 5 слов. Имен собственных не больше 18, а слов с правильным чередованием гласных и согласных — не больше 28.

Суть задания: включить в кроссворд как можно больше слов, свя-

занных с Парижем, одним из самых интересных городов мира, крупным центром мировой культуры.

В кроссворд можно включать любые слова, но очки жюри будет начислять только за слова, связанные с Парижем. При этом за каждое личное имя читатель получит 1 очко, за любое другое имя собственное — 2 и за нарицательное слово — 3 очка. Число очков удваивается, если такое слово связано с жизнью и деятельностью русских людей, явлениями русской культуры, общественной мысли и т. д.

Участнику конкурса надо постараться интересно определять слова. Вот два примера таких определений. Париж — город, телефонный код которого надо набрать, чтобы позвонить из одного города Гвiany в другой. Волошин — русский поэт, которому принадлежат удивительные по красоте слова: «В дождь Париж расцветает, точно серая роза...» Разумеется, эти примеры брать нельзя (кстати, слово «Париж» вообще не надо загадывать, поскольку в противном случае не удастся не нарушить пункт правил: никакое загаданное слово либо однокоренное с ним нигде не должно встречаться в определениях).

Число набранных очков участнику конкурса необходимо подсчитать самому и общую сумму крупно написать на сетке, загаданной словами, и на листке, где показана система подсчета очков, и в шесть столбиков выписаны слова, за которые эти очки начислены. Скажем, читатель сумел включить в кроссворд 30 слов, связанных с Парижем. Среди них — 3 личных имени, 12 других имен собственных и 15 нарицательных слов. При этом 1 личное имя, 5 имен собственных и 7 нарицательных слов связаны с русской жизнью. Значит, этот читатель набрал:

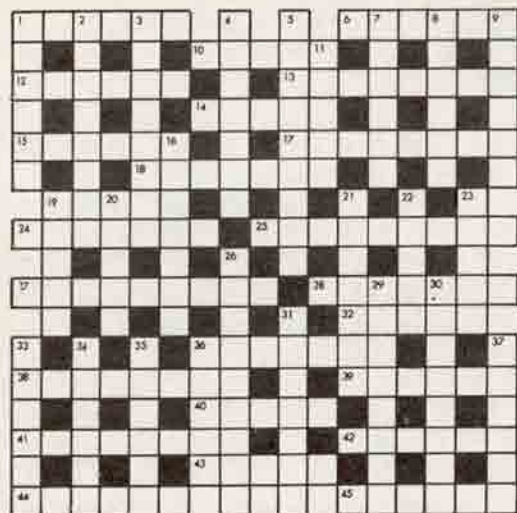
$$2(2 \times 1) + 14(7 \times 2) + 24(8 \times 3) + 2(1 \times 2) + 20(5 \times 4) + 42(7 \times 6) = 104 \text{ очка.}$$

Одну или две лучшие работы мы напечатаем в журнале. Их авторам и еще одному победителю редакция предоставит право напечатать еще очереди на страницах «Смены» по одному обычному кроссворду. Они, а также еще пятеро победителей будут награждены дипломами «Смены».

Это конкурсное задание достаточно сложное. И победят наверняка, как и в любом конкурсе, наиболее требовательные к себе, настойчивые, любознательные. Желаем успехов!

Напоминаем: к каждому определению слов должен быть указан газетный, журнальный или книжный источник. При этом газеты и журналы надо брать только центральные, поскольку местные издания жюри чаще всего недоступны.

Последний день отсылки конкурсных работ — 15 мая. На конверте надо пометить: Конкурс кроссвордистов-90, первое задание.



**По горизонтали:**

1. Бердыш. 6. ...брызги...  
10. Хокку. 11. Олонг. 12. Змеяд. 13. Ярмама. 14. Леер. 17. ...Ааре. 18. Верерт. 19. Кюсле. 24. Соотношение... 25. Чепец.  
27. Сиирт. 28. Приискагель. 32. Дуучи. 33. Шеннок. 36. Неон. 38. Тигр. 39. Ветошка. 41. Кореец. 42. Зооон. 43. Ютика. 44. Маарри. 45. Саамка.

**По вертикали:**

1. Бройль. 2. Рылеев. 3. Ыхне. 4. Коорт. 5. Экаллюминий. 7. Рама. 8. Зевман. 9. Индеец. 12. Заале. 15. Рейтары. 16. Ероол. 20. Оолит. 21. Фееричность. 22. Цейтнот. 23. Шееле. 26. Океев. 29. ...жудец. 30. Уникум. 31. Моореа. 34. Килоом. 35. Гринда. 37. Екеку. 39. Веер. 40. Йота.

**По горизонтали:**

1. Величина, которая у ядра в 100 тысяч раз меньше, чем у всего атома. 6. Самая многочисленная певчая птица Европы. 10. Самодельный предмет гадания у девушек на Руси. 12. Точильный камень косаря. 13. Самая знаменитая в мире подводная лодка, хотя она и создана воображением писателя. 14. Средоточие. 15. Редкий металл. 17. Суть, сущность. 18. Музыкант, играющий на восточной флейте. 19. «Троица» Андрея Рублева (жанр.). 24. Капитан в самом известном романе Теофила Готье. 25. Представитель живущего в Юго-Восточной Азии народа, у которого в кукольном театре сценой служит поверхность воды. 27. Самый большой смычковый музыкальный инструмент. 28. Падеж деятеля в языках типа грузинского. 32. Кустарниковая или древесная медоносная заросль. 36. Культура, зерно которой есть среди письменных знаков Крита 3500-летней давности. 38. Самый крупный в Эстонии остров. 39. Область на юго-западе Бирмы, бывшая до 1785 года самостоятельным государством. 40. Название крупного города на Волге в то время, когда в нем бывал А. Пушкин. 41. Европейская страна, где в 1720 году возник первый в мире яхт-клуб. 42. Любимый вид спорта шахматиста Капабланки. 43. Поделочный камень. 44. Учреждение, где работал шведский химик К. Шееле, уже будучи членом Королевской Академии наук. 45. Романтический балет А. Адана.

**По вертикали:**

1. Великий фламандец, которого Лопе де Вега ставил выше всех художников-современников. 2. Самая древняя, но сохранившаяся до наших дней колесница. 3. Порицание, упрек. 4. Птичья вишня. Живет до ста и более лет. 5. Один из первых просветителей Франции. 7. Хищная птица. 8. Самый спорный роман В. Набокова. 9. Ярчайшая звезда в созвездии Близнецов. 11. Геологическая родина пещер. 16. Французский химик. 19. Музыкальный жанр в Древней Руси. 20. Надувала, обманщик, плут (по В. Далю). 21. Прежнее, еще не высохшее русло реки. 22. Речная рыба. 23. Советский поэт. 26. Жители европейской столицы, виды которой изобразил художник XVIII века Каналетто. 29. Семья знаменитых кременских скрипичных мастеров. 30. Отрывистый лай. 31. Перерыв в театральном представлении. 33. Валаамова ... (молчаливый, покорный человек, внезапно заговоривший, возмущившийся). 34. «Быть или не быть?» (литературный герой). 35. «Зубчатый» овощ. 36. Внутренний дворик в испанских домах. 37. Время жизни, которое в Древнем Риме символизировала богиня Ювента.



# "Звезды"

На эстрадном небосклоне встречаются «кометы» и «звезды». Первые быстро исчезают, не оставив порой и «хвоста» воспоминаний. Вторые задерживаются на годы, а бывает — и на десятилетия.

Новая группа назвалась «Звезды». Весьма смело! Это название придется долго оправдывать, добиваясь успеха. А будет ли он?

Солистка группы Наталья Гулькина уже испытала тяжелое, но приятное и необходимое артисту «бремя славы». В феврале 1986 года ее, занимавшуюся в то время вокалом в джазовой студии Гагаринского района Москвы, и Маргариту Суханкину, студентку консерватории, пригласил неизвестный тогда композитор Андрей Литягин. Был записан альбом, получивший название «Звезды нас ждут». Так начиналась группа «Мираж», которая спустя год станет известной всей стране.

Работа в «Мираже» принесла Наталье популярность. Она стала чувствовать сцену, публику, быстрые перемены ее настроения. Трудно сейчас сказать, как бы сложилась сценическая судьба певицы, если бы не было «Миража». Но в конце 1988 года на сцену московского Дворца спорта «Динамо» выходит возглавляемая Натальей Гулькиной группа с новым репертуаром. Так состоялось рождение «Звезд»: группу назвали по названию первого альбома «Миража».

— Мне кажется, — говорит продюсер коллектива Сергей Лавров, — что музыка «Звезд» сильно отличается от музыки «Миража». У «Звезд» она более сложная, на-

сыщенная, богато аранжированная, хотя усваивается труднее, чем музыка Литягина.

В ноябре прошлого года вышел второй альбом «Звезд», названный «Дискотека» (по первой из девяти его песен), — результат полугодовой работы студии «Гала» Максима Дунаевского.

«Звезды» объехали с гастролями Казахстан, побывали в Сибири, на Дальнем Востоке, на Украине и в Белоруссии. Сегодняшний состав «Звезд» — десять человек, из которых шестеро выходят на сцену.

Клавишник Александр Чижов, выпускник физфака МГУ, фанатик музыки и техники.

Барабанщик Игорь Милованов. Заядлый собачник. Дома — пудель Джесси. Если на прогулке увидит собаку — начинается блиц-интервью: где стрижете, чем кормите?

Гитарист Игорь Иншаков — страстный меломан-коллекционер. По совместительству портной. Именно он шьет костюмы для «Звезд».

Играющие на клавишных Елена Терентьева и Константин Терентьев не муж и жена (Константин Терентьев — супруг Натальи Гулькиной), а брат и сестра. Увлекались конным спортом (Константин — мастер спорта).

И, наконец, Наталья Гулькина — не только вокалистка, но и автор всех текстов группы «Звезды».

Художественное руководство группой осуществляет Константин Терентьев. Композитор первого и второго альбомов «Звезд» — Леонид Величковский, работающий в другой московской группе — «Биоконструктор».

Потенциал у группы есть, следовательно, есть надежда, что «звезды» не погаснут.

**АЛЕКСАНДР СИДОРОВ**

# ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ

(Москва) ВЫПУСК 5

Дорогие читатели! В эфир вышел финальный выпуск нашего телешоу, по результатам которого и будут определены победители 1989 года. Будьте предельно внимательны и объективны, оценивая молодых исполнителей. Напоминаем: высший балл — 5. Оцениваются все без исключения исполнители, названные в талоне-отклике.

---

вокальные данные (ис- полнитель- ское мас- терство)	артистич- ность (уме- ние создать сцениче- ский образ)	репертуар	самобыт- ность
---	--	-----------	-------------------

---

Андрей Мисин  
Надежда Шестак  
Группа «НРГ»  
Группа «На-На»  
Группа «Домино»  
Группа «Скандал»  
Группа  
«Апрельский марш»  
Группа «Планета Икс»  
Саша Айвазов  
Сергей Крылов  
Ольга Кормухина  
Группа «Алло»  
Группа  
«Трудное детство»  
п/р Владимира  
Маркина

287

---

2. Кого из перечисленных исполнителей вы хотели бы видеть в новом году?

---

А теперь несколько слов о себе (обведите соответствующие данные кружком).

3. Ваш пол  
001 — мужчина  
002 — женщина

4. Ваш возраст  
003 — до 20 лет  
004 — от 21 до 25 лет  
005 — от 26 до 30 лет  
006 — от 31 до 40 лет  
007 — от 41 до 50 лет  
008 — старше 50 лет

Где вы живете?

---

**P.S.** Анкету вовсе не обязательно вырезать из журнала. Можно переписать ее от руки или отпечатать на машинке и выслать в редакцию.

# АНАТОМИЯ УЖАСА

ВИДЕОПОЛОСА ЖУРНАЛА «СМЕНА».

Новая видеопрограмма предоставит вам возможность увидеть наиболее интересные фрагменты из самых «шумных» кинолент, а параллельно мы попытаемся осмыслить природу влечения к «ужасному», объяснив потребность в острых ощущениях. В этом нам помогут собеседники, чьи имена заставляют уважительно прислушаться к их мнению: писатель-фантаст А. Стругацкий, философ Ю. Давыдов, доцент Московской духовной семинарии отец Владислав, искусствовед и публицист В. Боров.

Итак, ужасы на любой вкус: взбесившиеся роботы в космосе, на Земле и на других планетах; кошмарные неторопливые Зомби, пожирающие живую плоть; вампир Дракула, влюбленный в прекрасную манекенщицу; маньяк, убивший десяток молодых людей, приехавших отдохнуть в кемпинг; оборотни и вурдалаки, упыри, восставшие из гроба покойники, роботы-убийцы... В общем, страшно, аж жуть!

Но мы не ставим целью стращать зрителей на протяжении трех часов. Программа даст ключ к пониманию природы ужасного, грамматики и мифологии фильмов ужасов. Завершают разговор об «ужасном» фрагменты фильма известного режиссера Стивена Спилберга «Полтергейт, или буйство духов».

Цена кассеты — 300 рублей. Те организации, которые приобретут кассету, имеют право на ее коммерческое использование. Заявку на трехчасовую видеопрограмму «Анатомия ужаса» направляйте по адресу: 101457, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14, редакция журнала «Смена».





ИНДЕКС 70820. 70 коп.

# "БЮСЫ"

«МУЗЫКАЛЬНАЯ АНТЕННА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

